

ЮНОСТЬ

11



ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК

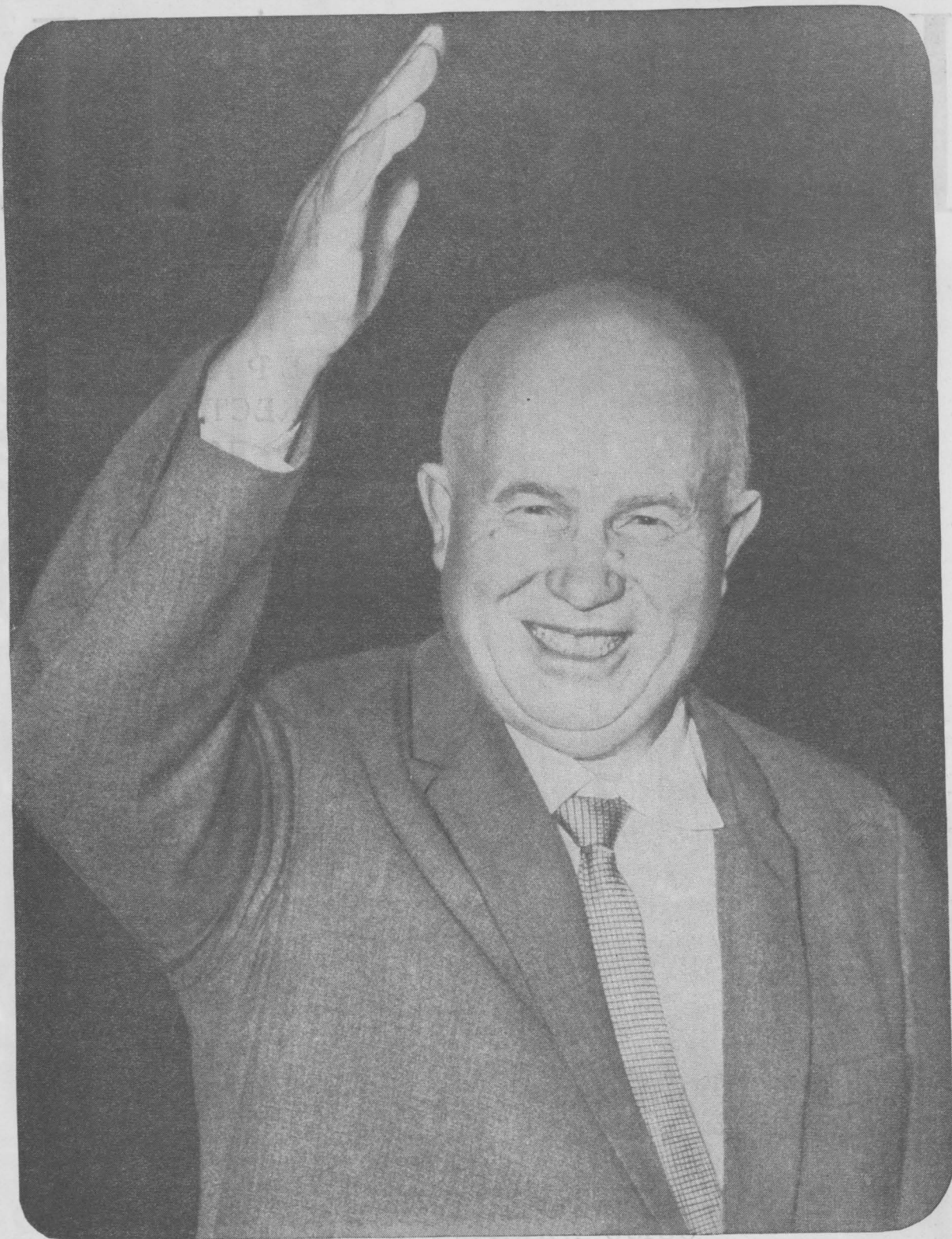
11

НОЯБРЬ • 1960

ГОД ИЗДАНИЯ ШЕСТОЙ

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА». МОСКВА



ANTONIO AZUAGA - OMBUDSMAN

БИТВА ЗА МИР

Молодость нетерпелива. Она горячо, неудержимо стремится вперед. В наши дни кажется, что и история стала нетерпеливой — жизнь открывает все новые ее страницы, невиданные и яркие, незабываемые. Двадцатый век стал истинно веком великих свершений, неслыханного расцвета и торжества человеческого гения, дерзновенно открывшего путь в космос и преобразующего лицо земли. Не в мечтах тех, кого когда-то называли безумцами, а в живой, земной жизни находит свое практическое осуществление идея высшего гуманизма — идея коммунизма, несущего человечеству вечный мир, процветание и счастье.

Идеологи капитализма говорили: история человечества — это война. А коммунисты ныне говорят: есть возможность предотвратить войну, навсегда исключить ее из жизни общества. В мире идет великая битва за мир. И эту битву передовое человечество должно выиграть и выиграет. Но мир не придет без борьбы. И в этой борьбе одно из первых мест должно занимать молодежь: ведь будущее принадлежит ей и тем, кто назовет нынешнюю молодежь своими отцами и дедами. Вспомним проникнутые заботой о молодежи, о грядущих поколениях слова Никиты Сергеевича Хрущева, обращенные к участникам XV сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций: «Давайте же оставим нашим наследникам, нашим сыновьям, внукам и правнукам, давайте оставим им хорошую память о нашем времени. Пусть они ставят в пример людей нашего времени и говорят: когда-то у жителей Земли были трудные, сложнейшие вопросы. И они, собравшись на Ассамблею Объединенных Наций, решили их, смогли решить их во имя лучшего будущего».

Этот призыв был обращен к Генеральной Ассамблее, к международному форуму, где представлены государства с различным социальным устройством. И этот призыв исходил от представителя социалистического государства, могучего Советского Союза, который с момента своего возникновения ведет неустанную борьбу за мир, за мирное сосуществование, который никогда не покорялся диктату капиталистических стран, но не раз заставлял империалистов смиряться — пусть временно — и отказываться от намеченных ими авантюры, направленных на подрыв мира и безопасности народов.

Советский Союз, как и все другие социалистические государства, борется за мир всей силой своего огромного влияния на международное развитие, своим благородным примером неоднократных актов одностороннего разоружения, своей неизменной инициативой, направленной на конструктивное разрешение проблемы разоружения. В течение двадцати пяти дней внимание всего мира было приковано к сессии Генеральной Ассамблеи, где вел борьбу за мир, за всеобщее и полное разоружение посланец советского народа Никита Сергеевич Хрущев. История Организации Объединенных Наций не знала

такого представительного международного форума, каким являлась нынешняя сессия Генеральной Ассамблеи. Это был результат инициативы Советского Союза. И никогда своды стеклянного дворца на Ист-Ривер не слышали такой убедительной, покоряющей своей искренностью, непоколебимой верой в правоту своего дела защиты мира и дружбы между народами, какая звучала в речах, в выступлениях главы Советского правительства. И хотя агрессивным кругам США и их союзникам удалось еще с помощью механического большинства сорвать обсуждение советского предложения о всеобщем и полном разоружении на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи, они сами не чувствуют себя победителями.

Жизнь властно стучится и в двери ООН. Ширится фронт мира в самом лоне Организации Объединенных Наций, которая пополнилась большим отрядом молодых государств, завоевавших свободу и независимость. Свежий ветер мира изгонит постепенно тлетворный дух «холодной войны», внесенный туда агрессивными кругами империалистических государств. И вещие слова Никиты Сергеевича Хрущева о том, что посеяны добрые семена и они дадут богатые всходы, приобрели особое звучание на фоне того сокрушительного поражения, которое понесли империалисты и колонизаторы, когда Генеральная Ассамблея вопреки всем проискам ревнителей «холодной войны» единодушно высказалась за обсуждение на пленарном заседании советского предложения о ликвидации позорной системы колониального режима.

Добрые семена дают богатые всходы. Наша великая эпоха преобразования вселенной, эпоха великих свершений — это блистательные, чудесные всходы, которыми человечество обязано Великой Октябрьской социалистической революции.

Сорок три года назад Великая Октябрьская социалистическая революция положила конец всевластию империализма. Своим пламенным дыханием она зажгла в сердцах народов неугасимый огонь борьбы за свободу, против колониального гнета. Как весеннее солнце, вызвала она к жизни могучее национально-освободительное движение, которое в наши дни разлилось безбрежным морем по просторам Азии и Африки, захватывает страны Латинской Америки, где гордая Куба смело бросила вызов хищным североамериканским монополиям. Нужно ли говорить, что все воспрянувшие к новой жизни народы жаждут мира, ибо только мир и может закрепить завоеванную ими победу. И удивительно ли, что, стремясь к миру, они обращают свои взоры к Советскому Союзу, к великому содружеству социалистических государств!

Первым декретом первой в мире Советской республики был подписанный великим и бессмертным Лениным декрет о мире. Это было знаменем времени нового времени. В жизнь народов, в развитие международных отношений властно вошел но-

вый фактор — постоянно действующий фактор мира. На знамени молодой республики значилось, как значится и сейчас на знамени могучего Советского Союза: мир и дружба между народами. В этом неизменная ленинская основа внешней политики социалистического государства.

Октябрь зажег в сердцах людей труда, простых людей всего мира радость и надежду на светлое будущее. Но в сердца капиталистов, владык капиталистического мира, он вселил ненависть и страх. Этот страх лишил их разума, они попытались бросить вызов истории, они пытаются сделать это и сейчас. Их карта оказалась битой, она будет бита и впредь.

На молодую Советскую республику были обрушены несметные силы империалистической интервенции, сопряженной с силами внутренней контрреволюции. Но народ, взявший власть в свои руки, непобедим. Интервенты, как и контрреволюция, были разгромлены. Капиталистическому миру пришлось — пусть со скрежетом зубным — признать Советскую республику, ее место в сонме государств, составляющих мир. Это была первая историческая победа ленинской политики мирного сосуществования.

Капиталисты не хотели мириться с этой победой. Они все еще лелеяли надежду на разгром и уничтожение первого и единственного тогда социалистического государства. Они мечтали о новом переделе мира, империалистическом переделе, в котором не было бы места социалистическому государству. Западные державы во главе с Соединенными Штатами оставались глухими к настойчивым предостережениям Советского Союза, указывавшего на опасность агрессивной политики германского фашизма и японского милитаризма. Народы западных стран дорого заплатили за безумную, недалекую политику своих правителей, за позор Мюнхена, открывшего путь ко второй мировой войне.

Самое знаменательное и поучительное состояло в том, что именно Советский Союз, именно социалистическое государство оказалось той главной, решающей силой, которая сломала хребет фашистскому зверю. Именно Советский Союз принес освобождение народам Европы, и не только Европы. И нет ничего случайного в том, что в результате второй мировой войны от империалистической системы отпал ряд государств, сбросивших с себя оковы капитализма и вступивших на путь социалистического строительства. Это был неизбежный исторический процесс, которого не хотят или не могут понять заправилы капиталистического мира.

Ныне Советский Союз не единственное социалистическое государство. Рядом с капиталистической системой возникла и утвердилась могучая система социализма, играющая все более и более решающую роль в мировой политике. Наряду с социалистическими странами возник ряд государств, освободившихся от колониальной зависимости. Соотношение сил на мировой арене резко изменилось и продолжает изменяться не в пользу империализма, а в пользу сил мира, демократии и прогресса. Так сложилась благоприятная обстановка для укрепления мира и дружественных отношений между народами на основе принципов мирного сосуществования.

Идея мирного сосуществования все более и более овладевает умами народов, жаждущих мира, уверенности в завтрашнем дне. Под давлением мировой общественности объявили о своей приверженности этой идее правящие круги США и других великих держав Запада. Верный своей последовательной миролюбивой политике, Советский Союз выдвинул предложение о соещании в верхах. Но... веролом-

ная природа империалистов сказалась и здесь. Агрессивные круги США торпедировали совещание на высшем уровне. Всем памятен разбойничий шпионский полет «У-2» и все последующие события: наглые попытки империалистов США возвести в ранг государственной политики гангстерские методы попрания международного права и грубого нарушения суверенитета других государств. Уроки истории не пошли впрок империалистам. Они продолжают политику гонки вооружений и «холодной войны», они вооружают реваншистский западногерманский милитаризм, продолжают лихорадочно строить атомно-ракетные базы, активизируют деятельность агрессивных блоков типа НАТО, СЕАТО и других, продолжают опасное и безумное балансирование на грани войны.

Торпедировав совещание в верхах, перейдя к актам открытой агрессии против Советского Союза, правящие круги США рассчитывали своей провокационной политикой сорвать борьбу СССР и других миролюбивых государств за мир и безопасность народов. Уверенный в своей силе, в правоте своего дела, Советский Союз дал по рукам агрессорам, показал, как бессмысленны и тщетны их попытки нанести ущерб нашей безопасности, зорко охраняемой вооруженными силами нашего народа. Но не прекратил борьбы за мир.

С высокой трибуны Организации Объединенных Наций вновь прозвучал призыв Советского Союза к всеобщему и полному разоружению, как единственному пути упрочить навсегда мир на земле. Этот призыв тем более своевременен, что агрессивные силы империалистов не оставляют своих происков, направленных на то, чтобы вернуть мир к худшим временам «холодной войны», толкнуть его в пучину катастрофической ракетно-атомной войны. И этот призыв не признак слабости, империалисты это отлично знают. «Реальная обстановка в современном мире такова», — говорил Никита Сергеевич Хрущев на сессии Генеральной Ассамблеи, — что силы двух наиболее могущественных держав — Советского Союза и Соединенных Штатов — по меньшей мере равны, а если иметь в виду и другие социалистические страны, а также бывшие колониальные страны, то становится ясным, что на стороне миролюбивых государств не только право и справедливость, но и сила».

В том-то и важнейшая особенность нашей эпохи, что империализм больше не властен над миром. Законы истории, законы общественного развития сильнее законов, которые хотели бы установить в мире денежные мешки. Постоянно действующий фактор мира в наше время — это Советский Союз, вся могучая система социализма, способная дать сокрушительный отпор любой агрессии, это и борьба за мир нейтралистских государств, это воля к миру народов всех стран и континентов, породившая беспрецедентное в истории движение в защиту мира, объединяющее сотни миллионов людей.

Нет, мирные предложения Советского Союза — это не признак слабости, а проявление высшего гуманизма, великого ленинского человеколюбия, воплощение в жизнь идей Октября.

Все ярче и ярче светит солнце Великого Октября над землей. Но все же еще держатся на горизонте грозные тучи, еще стелется по земле ядовитый туман «холодной войны». Эти тучи должны быть рассеяны, этот туман должен растаять! Поэтому, как никогда, должна быть усилена борьба за мир.

Мы идем в авангарде этой борьбы. Ведь коммунизм — это мир и счастье человечества!

Я. ВИКТОРОВ



ДОМИК НА СКАЛЕ

Из рассказов о Владимире Ильиче Ленине

Рисунки В. Трубновича.

Поздний гость

Вальс Сибелиуса звучал празднично, и Фрекен Анна попросила сестру исполнить его еще раз. Был субботний вечер. Сестры отдыхали. Фрекен Анна целую неделю занималась со студентами спряжениями немецких глаголов и теперь вышивала, а Сонни наскучили музыкальные упражнения с учениками, и она еле дождалась субботы, чтобы разучить этот новый вальс.

Обе женщины были уже немолоды: у Фрекен Анны серебрились виски, Фрекен Сонни по утрам тоже с опаской поглядывала в зеркало. Жизнь их прошла без особых тревог и радостей.

В гостиной было тепло и уютно. На фортепьяно и на круглом столе горели свечи. Попугай в клетке, уткнувшись клювом в грудь, покачивался в кольце, белый шпиз дремал у ног Анны.

Трудно было представить, что за стенами маленького домика угрюмо шумят голые деревья и ноябрьский ветер сметает с мокрых скал желтые листья.

Прогромыхал поезд, и свисток паровоза пронизал лес.

Анна принялась сматывать шерсть: когда через станцию Оглюбу проходит вечерний почтовый поезд, значит, пора идти ко сну.

Прозвучали последние аккорды. Сонни опустила руки на колени. Грохот поезда всегда напоминал, что совсем близко, в Гельсингфорсе, в двенадцати километрах отсюда, еще шумно. Там только начинается разъезд из театра. Ах, как давно сестры не были в вечернем Гельсингфорсе!

Но вот что-то нарушило покой в гостиной: шпиз наострил уши и спросонья хрипло тьявкнул, попугай свернул голову набок и сверкнул настороженным глазом...

По каменным плитам дворика кто-то шел. Сестры переглянулись: кто это мог быть в такой поздний час?

В дверь постучали.

Анна взяла со стола тяжелый подсвечник и, загораживая рукой пламя, пошла в переднюю.

— Во имя святой девы, кто это? — спросила она по-шведски.

— Друг госпожи Колан, инженер Петров, — ответил мужской голос с сильным славянским акцентом.

Анна боязливо открыла дверь.

Сонни позади нее молитвенно сложила руки.

Мужчина вошел в переднюю, снял с головы блестящий от дождя котелок и вежливо поклонился.

— Прошу разрешения говорить по-немецки, я не владею ни шведским, ни финским...

Сестры утвердительно закивали головой.

...— Госпожа Колан сообщила, что вы можете сдать мне комнату с полным пансионом, — сказал незнакомец и улыбнулся. И сразу его лицо, мокрое от дождя, помолодело. Лысеющий высокий лоб и усы совсем не старили его, живые темные глаза смотрели мягко и приветливо.

У сестер Винстен отлегло от сердца: все в незнакомце внушало доверие.

— Да, да, госпожа Колан говорила нам о вас. Мы можем отвести вам комнату во флигеле, у нас живут там два студента, но они приходят только ночевать.

Анна пригласила гостя в комнату.

— Как вы нашли дорогу в такой поздний час? — спросила Сонни.

— Госпожа Колан очень подробно описала мне, как пройти от станции к пансиону «Гордабекка». Я мог бы найти ваш пансион с закрытыми глазами.

Сонни хотела еще что-то спросить, но Анна показала глазами на часы и, накинув на плечи пальто, повела нового квартиранта во флигель.

За два дня до этого у сестер побывала госпожа Колан, подруга юности Анны. Теперь она была замужем и жила в финляндской столице. Она попросила сестер Винстен сдать комнату петербургскому интеллигентному человеку, который скрывается от жандармов...

— У господина Петрова приятные манеры, и видно, что он образованный человек, — поделилась с сестрой Анна, вернувшись из флигеля. — Он сказал, что будет целые дни писать и по вечерам выходить на прогулку в лес. Я пригласила его обедать в нашем обществе. Я уверена, что он крайне левый или... как их там называют? — Анна сморщила лоб.

— Ты думаешь, он большевик? — испуганно взглянула на сестру Сонни.

— Возможно. Иначе зачем госпоже Колан нужно было просить никому не рассказывать, что у нас живет петербуржец?

Владимир Ильич — он теперь скрывался от жандармов под фамилией Петрова — осмотрел свое новое жилище. Между окном и кафельной печкой стоял письменный стол, у противоположной стены — узкая кровать, возле нее умывальный столик с большим фаянсовым тазом и кувшином. У стены, напротив двери, диван, заваленный множеством подушечек, и ломберный стол. Окно выходило в сад.

Владимир Ильич вынул из жилетного кармана часы. Был первый час ночи. Пожалуй, можно еще поработать. Он снял пиджак, аккуратно расправил его на вешалке, вынул из саквояжа домашнюю люстрированную куртку, уже порядком поношенную, надел ее и уселся за стол.

Положение в России становится все сложнее: каждый день приносит тревожные вести. Революция потерпела поражение, и перепуганный царь мстит народу. Жандармерия охотится за революционерами и в первую очередь за большевиками. Финляндия еще в прошлом году была для большевиков довольно надежным убежищем, удобной «ближней эмиграцией». Царь не осмеливался нарушить свою клятву — уважать финляндскую конституцию. Но теперь, когда революция задущена, стесняться стало нечего. Жандармерии дан приказ действовать в Финляндии, как у себя дома.

Против большевиков направлены отборные полицейские силы. Приняты все меры к тому, чтобы разыскать Ленина.

Владимир Ильич перелистал страницы книги, отодвинул ее в сторону и, положив обе руки на стол, чуть слышно постучал полусогнутыми пальцами; затем, решительно придвинув тетрадь, начал писать. Надо изучить и осмыслить опыт пережитой революции, подготовить рабочий класс к новым боям.

Впереди еще много работы.

Огонь

В комнате холодно, на подоконнике наросты льда, на улице, видно, сильный мороз.

Печка полна дров — фрекен Анна позаботилась об этом с вечера, — под дровами горка березовой коры, на карнизе изразцовой печки коробка со спичками.

Стоит чиркнуть спичку о коробок и поднести ее к коре, как березовые шкурки, сердито треща, свертываются в тугие катушки, огонь слизывает прозрачную шелуху, цепляется за шероховатую поверхность поленьев и прирастает к ним. И вот уже тут и там на поленьях задрожали, заискрились сизо-желтые цветы огня. Мокрое полено брюзгливо зашипело, запузырилось пеной, огонь проворно отскочил и, вытравившись плашмя под сырым поленом, пополнил заднюю стенку печи...

В комнату выбился горьковатый запах дегтя.

Владимир Ильич прикрыл решетчатую дверцу печки, и огонь забурился, заревел, железная решетка заходила ходуном и отчаянно задрезжалась. Яркие красные угольки вываливались из отверстий решетки, падали на медный поддон и мгновенно покрывались серым пушистым пеплом. Владимир Ильич и не заметил, как дверь в комнату открылась.

— Я так и знала, что ты и тут уговоришь хозяйку доверить тебе печку, — раздался мягкий голос за его спиной.

Владимир Ильич быстро обернулся.

— Надюша! — И протянул обе руки навстречу Надежде Константиновне. — Как я рад, что ты здесь! Я тебя совсем не ждал сегодня.

Владимир Ильич помог Надежде Константиновне снять пальто и пододвинул стулья поближе к печке.

— Садись сюда, милый друг, у тебя совсем холодные руки. Я сейчас попрошу чаю.

С этими словами он вышел. Надежда Константиновна осмотрелась вокруг. У Владимира Ильича опять новое пристанище. Сколько же за последние два года, спасаясь от преследований охранки, избавляясь от шпионов, сменил он квартир, мест ночевки! Она задумалась. Кажется, квартир двадцать, если не больше...

Надежда Константиновна села перед печкой. Огонь освещал ее молодое усталое лицо.

— Ну, как ты? — спросил Владимир Ильич, вернувшись от хозяйки и взглядывая в лицо Надежды Константиновны.

— А тебя по-прежнему мучает бессонница? — вместо ответа спросила она.

— Нет, нет, сплю, как сурок.

— Что-то не верится.

Надежда Константиновна обвела глазами стопки книг, лежавших на столе, на подоконнике, на стульях.

— Откуда же столько книг?

— Большая удача, Надюша. Наладил связь с библиотекой через Владимира Мартыновича. Он милейший человек, работает в городской библиотеке. А рукописи мне перепечатывает барышня из финляндского императорского сената на пишущей машинке и в помещении самого сената. Как тебе это нравится?

Циркуляр действует...

Фрекен Анна принесла чай. Надежда Константиновна устроилась совсем по-домашнему на диванчике и принялась пришивать пуговицу к пиджаку Владимира Ильича. Тем временем он просматривал привезенную Надеждой Константиновной почту и слушал ее рассказ о положении в Питере.

— Товарищи просили передать тебе копию циркуляра департамента полиции. Я, разумеется, с собой его не взяла, но запомнила хорошо. Там много забавного. — Надежда Константиновна отложила в сторону пиджак. — Слушай: циркуляр департамента полиции от 23 июня 1907 года...

— А сейчас декабрь... — замечает Владимир Ильич.

— Не успокаивай меня. Ты догадываешься, о чем циркуляр. Он действует и сегодня, и я уверена, что к нему добавили какой-нибудь другой, еще более грозный. В циркуляре говорится: Владимир Ильич Ульянов, псевдоним — Н. Ленин. Потомственный дворянин. Православный.

— Ну, это как сказать, — пожимает плечами Владимир Ильич.

— Женат. Роста среднего.

— Вот это правильно!

— Бло-о-ондин! — смеется Надежда Константиновна и смотрит на рыжеватые усы Владимира Ильича.

Оба смеются.

— Возраст сорок два — сорок четыре года, — лукаво произносит Надежда Константиновна.

— Вот это возмутительно! Это черт знает что такое! Надюша! Неужели мне можно дать на пять — семь лет больше? А? — притворно возмущается



«Был субботний вечер. Сестры отдыхали» (стр. 5),

Владимир Ильич.— Это они так и сыщикам мои приемы дают и, наверное, добавляют, что глаза у меня небесно-голубые, а кудри вьются хмелем. Вот почему шпики так часто поглядывают на меня с недоумением. Помнишь, я тебе рассказывал, как на Невском сыщик взирал на меня с немимым вопросом: «Вы это или не вы?» Ну-ну, а дальше?

— Дальше? Дальше написано вот что: того Ульянова арестовать, обыскать и препроводить в распоряжение судебного следователя 27-го участка города Санкт-Петербурга.

— Так и написано: «Препроводить...»? Не выйдет! Нет! — Владимир Ильич встал и зашагал по комнате.

— Да, милый друг, как ни противна эта треклятая эмиграция, но надо выбирать в зону недосагаемости. Уезжать немедленно. Я выберусь в Стокгольм и буду ждать тебя там. Рисковать бессмысленно и... даже преступно.

Они занялись обсуждением неотложных дел, которые Надежде Константиновне надлежало закончить в Петербурге.

Замороженное окно в домике на гранитной скале искрилось и мерцало до самого рассвета.

Неправильные глаголы

С тяжелой корзиной, нагруженной провизией, фрекен Анна подошла к газетному киоску на Сенатской площади. Дважды в неделю она приезжает за продуктами в Гельсингфорс. Сегодня вдобавок надо купить газеты инженеру Петрову.

Афиши с заголовками газет наклеены на огромных щитах по обеим сторонам киоска. «Восшествие на престол шведского короля Густава-Адольфа». Анна перекрестилась, она была набожной. «Во Владивостоке двадцать матросов приговорены к смертной казни и двадцать четыре к каторге. В Варшаве к смертной казни приговорено четыре мятежника, в Севастополе приговорено четыре мятежника, в Севастополе приговорено...» Она перевела взгляд на другую афишу. «В Киеве исключено из университета 700 студентов и 1 500 курсисток с женских курсов». «В Кутаиси закрыты все учебные заведения». «В Москве за невзнос платы за обучение исключено 1 398 студентов». «В Московский университет введена полиция». Анна горько усмехнулась: не трудно понять, что означает «невзнос платы».

Наскоро отобрав пачку газет на русском, шведском и немецком языках, фрекен Анна кивнула проезжавшему мимо извозчику. Хотелось скорее оставить эту площадь с бронзовым русским царем на пьедестале, выбраться из города, не видеть этих афиш, отгородиться от всех ужасов. Подумать только, что творится в России!

Когда фрекен Анна вернулась домой, Владимир Ильич уже с нетерпением дожидался ее в гостиной. Он тут же взял у нее газеты и погрузился в чтение. В «Петербургской газете» отчеркнул карандашом сообщение: 23 ноября в Питере бастовало шестьдесят три предприятия с 11 тысячами рабочих. Просматривая кадетскую «Речь», усмехнулся. Любопытно! На станции Келломяки агенты охранного отделения из Петербурга обыскали дачу какого-то Ульянова. «Наверно, решили, что я в Финляндии снимаю дачи на свое имя».

Он бросил «Речь» на стол, но взгляд его задержался на объявлении в широкой рамке. Газета приглашала покупать сочинения Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Владимир Ильич рассмеялся. Вот что значит политика и коммерция. Газета выступает против большевиков, против марксистов и в то же вре-

мя приглашает покупать марксистскую литературу. Ведь за объявления платят деньги, и немалые!

Анна выкладывала из корзины покупки и с недоумением посмотрела на квартиранта.

— Что вас так развеселило, господин Петров?

— Прочитал забавное объявление. Любители наживы дешево продают свои принципы, фрекен Анна.

— О, господин Петров, напротив, все ужасно подорожало, особенно молоко. Городские газеты призывают покупателей устроить бойкот и не покупать молока, пока на него не снизят цены.

В столовую вбежала Сонни: на ней был фартук, в руках кухонный нож. Она была чем-то очень встревожена.

— К нам идет констебль и с ним русский полицейский, — сообщила она срывающимся голосом.

Владимир Ильич быстро встал со стула, подошел к Сонни и притронулся к ее руке.

— Пожалуйста, будьте спокойны! Примите их как следует и поговорите.

— Но я должна пригласить их в комнату.

— Конечно.

— А как же вы?

— О, обо мне не беспокойтесь! Я останусь под защитой фрекен Анны. — Инженер Петров ободряюще улыбнулся.

Сонни, ничего не понимая, вышла в переднюю, чтобы встретить непрошенных гостей, и тут же возвратилась вместе с полицейскими. Она увидела, что квартирант сидит за ученическим столом лицом к окну и, подперев щеку левой рукой, что-то старательно пишет, Анна стоит возле него с раскрытой книгой в руке.

— Это хозяйка пансиона фрекен Винстен, — отрекомендовал констебль Анну русскому полицейскому. — Она учительница немецкого языка, всеми уважаемая барышня. Мы вам не помешаем, фрекен Анна?

— О, нет, — ответила Анна.

Сонни ждала, пока констебль договорится с полицейским — они объяснялись по-русски, — и посматривала на сестру. Анна же в это время не очень уверенно спрашивала у своего ученика неправильные немецкие глаголы.

Инженер Петров отвечал:

— Неправильный глагол ершрекен¹. Ершрекен, ершрак, ершрокен... Но я, фрекен Анна, предпочитаю употреблять этот глагол с отрицанием. Унд зо вир ершракен унс ниht!²

Видно было, что Анна уже овладела собой. Она придирчиво спрашивала ученика, и инженер Петров старательно отвечал.

Русский полицейский переписал фамилии квартирантов, которых назвала Сонни, и два раза уронил карандаш, чтобы получить разглядеть ученика фрекен Анны. Но тот сидел вполборота, не отнимая руки от лица, и что-то говорил по-немецки. Полицейский заметил только лысеющую голову.

— Что это за человек? — спросил он у констебля.

— Финский студент, — ответил тот.

Полицейский осведомился у Сонни, не приходил ли к ним русский по фамилии Ильин или Ульянов, а может быть, Ленин, а возможно даже — полицейский полистал тетрадь — Карпов, мужчина огромной силы и с громовым голосом.

— Нет, нет! — убежденно отвечала Сонни. Человек с таким множеством фамилий к ним не являлся.

Русский полицейский строгим тоном через кон-

¹ Пугаться.

² Итак, мы не испугались!

стебля передал ей, что если такой человек у них появится, они должны немедленно известить констебля. Потом он что-то записал себе в книжку, встал, еще раз бросил взгляд исподлобья на ученика Анны, строго, испытующе посмотрел на Сонни и пошел к выходу.

Проводив их, Сонни вернулась в гостиную и, обессиленная, опустилась на стул. Она чуть не плакала от пережитого волнения.

— Что будет? Что будет? Он так внимательно смотрел на вас, господин Петров, констебль тоже был смущен.

— Все будет отлично, уверяю вас. Вы действительно мужественные женщины, — успокаивал Владимир Ильич встревоженных хозяек.

Последняя остановка

Пассажиры почтового поезда Гельсингфорс — Або, устроившись поудобнее в креслах, дремали под равномерное постукивание колес. Был одиннадцатый час ночи. В купе вместе с Владимиром Ильичем ехали пожилые люди — муж и жена. Муж спал, прикрыв лицо носовым платком, и храпел так звучно, что казалось, в купе разрывают коленкор. Его жена, пожилая, чопорная шведка, слегка толкала мужа в бок и в то же время с озабоченным видом поглядывала на корзины и саквояжи. Потом глаза ее стали все чаще и чаще закрываться, и, привалившись к плечу мужа, она тоже заснула.

Владимир Ильич, сидя в кресле, дремал. Иногда он открывал один глаз и поглядывал на фотографию какого-то собора, висевшую в рамке под стеклом на противоположной стене. Не поворачивая головы к двери, он словно в зеркале видел на блестящей поверхности фотографии отражение прогуливающегося по коридору мужчины. Мужчина был одет в хороший костюм, гладко выбрит. Сальные волосы на голове разваливались на крупные пряди и сползали на лоб. Движения его были неторопливы, но как-то связанные. Изю всех сил он старался выглядеть равнодушным ко всему окружающему и углубленным в свои мысли. Перед каждой остановкой поезда и во время стоянок он проходил мимо застекленной двери купе, где сидел Владимир Ильич, и скользил по его фигуре равнодушным взглядом оловянных глаз. «Шпик, — определил Владимир Ильич, — и, кажется, из питерских, натренированный. Я его даже где-то видел».

Владимир Ильич решил проверить свои предположения. Когда поезд остановился, он надел пальто, шапку и направился к выходу. «Недремлющий» в это время шел по коридору. Увидев своего поднадзорного в пальто, шпик было растерялся, но затем опрометью бросился в свое купе, схватил пальто и, никак не попадая в рукава, опять выскочил в коридор. На площадке он чуть не сбил с ног задержавшегося Владимира Ильича.

Все было ясно.

Будто не замечая, что за ним следят, Владимир Ильич вышел из вагона и прошел в буфет. Беспокойный взгляд шпика следил за ним.

На следующей остановке Владимир Ильич снова вышел прогуляться и больше уже не снимал пальто, тем более что в вагоне заметно похолодало.

На одной из остановок он заметил вторую пару оловянных глаз, которые словно говорили: «Мы за тобой вовсе не следим и не интересуемся». «Пришли подкрепление», — отметил Владимир Ильич.

Теперь сыщики выходили на остановках по очереди.

Поезд прибыл на станцию Литтойнен. Это была по-

следняя остановка, а там уже Або — западная граница княжества Финляндского, тупик Российской империи. Там кончался железнодорожный путь. У города Або река Аура сливалась с водами Ботнического залива. Дальше была только одна дорога — по морю.

На станции Литтойнен Владимир Ильич вышел на перрон и стал прогуливаться точно так, как это он делал на других станциях. Пожалуй, только шагал чуть медленнее и был более задумчив.

Оба шпика ходили теперь за ним по пятам. Еще бы! Не хватало, чтобы поднадзорный ушел из их рук на последней остановке перед Або.

Раздался второй звонок. Владимир Ильич, не торопясь, поднялся в вагон и прошел на свое место.

Третий звонок, свисток — и поезд тронулся.

«Недремлющий» заглянул в купе, уже не таясь и не стесняясь. Владимир Ильич не обратил на него внимания: он погрузился в чтение какой-то книги. Сыщик зашел в купе к своему напарнику.

Оба сидели сейчас друг против друга и, почти стучаясь лбами от толчков поезда, шепотом обсуждали предписанный им план действий. В Або все должно быть подготовлено: агенты охранного отделения заберут людей, которые придут встречать Ульянова, а они — сыщики — схватят его за руки. У вокзала за углом их должна ждать полицейская карета.

Оставались последние версты пути.

В окне вагона мелькали портовые огни Або.

— Я пройду в конец вагона и буду идти сзади него, а ты выходи впереди, — распорядился «Недремлющий». — Да смотри в оба: прозеваешь — голову отрут.

Сыщик прошелся по коридору и бросил взгляд в знакомое купе. Пожилой супруг снимал с полки корзины, баулы, саквояжи. Его жена водрузила себе на голову шляпу и прикалывала ее огромной булавкой к волосам. Супруги загородили собою купе, и «Недремлющий» не смог сразу разглядеть своего поднадзорного. Шпик прошел дальше. Возвращаясь обратно, он опять заглянул в купе и тут обнаружил, что его не видно. Что за оказия? Сыщик, предчувствуя неладное, рванул дверь в купе, грубо отстранил со своего пути супругов и почти ткнулся носом в пустое кресло у окна. К ужасу своему, он понял, что его там тоже нет. У «Недремлющего» выступила холодная испарина. Он тронул руками оконное стекло — стекло было на месте.

Сыщик помчался к себе в купе.

— Его там нет, — только и мог он произнести. Оба сыщика глянули друг на друга остановившимися глазами и ринулись в тамбур. Проход в другой вагон был закрыт, об этом они позаботились еще раньше.

Шпик выглянул с площадки. Мимо мелькали деревья, телеграфные столбы. Холодный ветер со снегом хлестал в лицо.

— Матерь пресвятая богородица, куда же он девался?

Они принялись осматривать все купе, ощупывали кресла, заглядывали в лица пассажиров, отталкивали их, пихали ногами саквояжи и корзины, метались по вагону.

Наконец «Недремлющий» вновь ворвался в знакомое купе.

— Куда девался русский? — крикнул он, задыхаясь. — Вы с ним заодно? — Он готов был избить этого толстого шведа, не понимающего или не желающего понимать по-русски.

— О боже! Что случилось? Что произошло? — восклицала перепуганная дама.

Швед зло смотрел на мечущуюся фигуру. Он догадался, что перед ним был русский сыщик.

«Недремлющий» с досады плюнул на пол и, повернувшись к напарнику, втащил его к себе в купе. Оба смотрели друг на друга ненавидящими глазами.

Курносый паровоз, распушив пары, как усы, пых-тя, подходил к станции Або.

После отъезда

В этот день сестры Винстен, как обычно, сели обедать в два часа. Стол был сервирован по-прежнему, меню было обычное для пятницы: овощной суп, красная рыба с картофельным пюре. Размеренная жизнь в пансионе ничем не нарушалась, но сестрам было необыкновенно грустно.

Вот уже несколько дней, как инженер Петров уехал, и каждый день разговор за обедом почему-то возникает только о нем.

— Помнишь, Анна, как он старательно заучивал шведские слова и никак не мог правильно произнести шю! и как сам смеялся над своим произношением?

— Уж если он смеялся, то смеялся в полный голос, звонко и заразительно. Так могут смеяться только очень хорошие люди, — откликнулась Анна.

— А как хорошо понимал он музыку! Я уверена, что он неплохой музыкант.

— А помнишь неправильные глаголы. Когда я увидела полицейского, у меня от страха похолодели руки, а он говорит: «Унд зо вир ершракен унс ниht» — и глаза стали такими хитрыми-хитрыми и веселыми. У меня и страх пропал.

И они вспоминали, вспоминали без конца.

Сонни в который раз пересказывала сестре тот случай, когда к инженеру Петрову пришел молодой человек в очках. Мужчины приходили к нему и раньше, и молодые и пожилые, но все подолгу задерживались, а этот пробыв несколько минут и ушел. После его ухода инженер Петров сказал, что ему надо съездить по делам в Гельсингфорс. Когда Анна вернулась с покупками из города, инженера Петрова дома уже не было. К ночи он не вернулся, не возвратился и на следующий день. Сестры очень беспокоились, но в сумерках второго дня пришел тот же молодой человек в очках и сказал, что инженер Петров срочно выехал по делам и поручил ему поблагодарить хозяек, расплатиться с ними и забрать его книги.

Наутро сестры убирали комнату инженера Петрова, готовили ее для другого квартиранта. Заглянув за печку, Сонни, к ужасу своему, обнаружила, что квартирант забыл люстриновую куртку, в которой он всегда работал.

Сестры были очень огорчены. Как же теперь вернуть инженеру Петрову его куртку? Сонни предложила дать объявление в газетах, но Анна строго заметила, что Сонни — совсем еще легкомысленное дитя: ведь такое объявление может ему только повредить. Они решили спрятать куртку в сундук. Инженер Петров обнаружит пропажу и придет за курткой сам или кого-нибудь пришлет за нею.

В комнате оставалась огромная гора газет — сестры целый вечер топили печку. Теперь Анна не могла пройти мимо киоска, чтобы не купить газеты. Это стало привычкой. Как-то само собой получилось, что, пока инженер Петров жил в пансионе, жизнь

сестер была заполнена. С ним было беспокойно, но интересно, а теперь спокойная, размеренная жизнь казалась неинтересной и незначительной...

В холодный январский вечер пансион навещил лейтенант финской полиции Пармонен. Он заявил хозяйкам пансиона, что ему поручено расследовать некоторые вопросы, связанные с пребыванием у них «главного русского революционера Ульянова-Ленина», и он протянул сестрам фотоаграфию, на которой они сразу узнали инженера Петрова.

— Знаете ли вы этого человека? — спросил Пармонен.

Сонни широко раскрыла глаза и посмотрела с испугом на Анну. Анна тронула ее за руку и спокойно ответила, что она не помнит, чтобы видела когда-нибудь этого человека.

— Не хитрите, фрекен Анна, — сказал Пармонен. — Нам отлично известно, что Ульянов-Ленин жил у вас в пансионе под именем инженера Петрова.

— А где же он теперь? — спросила Анна.

— За границей. Я должен установить, как ему удалось исчезнуть из поезда, каким путем он выехал за границу, минуя порт Або. Кто помог бежать ему и что вы можете о нем рассказать? 2.

О! Сейчас и Сонни и Анна все понимали, но они не дадут сбить себя с толку.

— Инженер Петров, который жил у нас, был великолепно образован. Он хорошо владел немецким языком и отлично знал спряжения глаголов. Помнишь, Сонни: «Унд зо вир ершракен унс ниht»? — Анна выразительно посмотрела на сестру.

— Да, да, он умел вести себя. Он не закурил бы в нашем доме без разрешения, — как бы между прочим сказала Сонни.

— Он и не курил вовсе, — добавила Анна.

Лейтенант поискал глазами пепельницу и погасил папиросу.

— Когда он разговаривал с человеком, он отдавал в этот момент все свое внимание собеседнику.

— Его интересовали все области науки и искусства...

— Меня это не интересует, — прервал сестер Пармонен. — Мне поручено выяснить, с чьей помощью Ульянов-Ленин скрылся за пределы Российской империи.

— К нашей помощи он не прибежал, — ответила Анна.

— Кто вам его рекомендовал?

— Инженер Петров явился в пансион сам, по объявлению в газете.

— Кто к нему приходил?

— Они не оставляли нам своих визитных карточек, — не без иронии заметила Сонни.

Пармонен принялся объяснять, что сестрам Винстен ничего не угрожает. Их долг — только помочь установить, каким путем Ульянов скрылся за границу.

— Инженер Петров не обсуждал с нами своих планов, он был просто нашим квартирантом, — пояснила Анна лейтенанту.

— Может быть, у вас остались какие-нибудь бумаги, документы или вещи вашего квартиранта? — не унимался Пармонен.

— О, да! — вырвалось у Сонни. — Он оставил...

— Он оставил, — перебила Анна сестру, — очень хорошее о себе воспоминание, господин лейтенант.

2 От автора:

Не доехав одной остановки до Або, Владимир Ильич, чтобы избежать ареста, спрыгнул на ходу с поезда в сугроб и пешком добирался до Або. Оттуда, с опасностью для жизни, он ушел по льду Вотнического залива во вторую эмиграцию. Эти события описаны в рассказе «Сквозь ледяную мглу» (журнал «Юность» № 4 за 1960 год).



ИМЯ МОЕ — ЧЕЛОВЕК

(Из новой книги стихов)

ГИМН КОММУНИЗМУ



Скрепим в борьбе рукопожатья,
Себя отчизне отдадим.
Мы люди, это значит — братья.
Нам коммунизм необходим.

Дадим работу нашим рекам,
На небе звезды победим.
Во имя счастья человека
Нам коммунизм необходим.

Коммунизм — это знамя твое, человек!
Коммунизм — это счастье твое, человек!
Коммунизм — это крылья твои, человек!
Будь же счастлив навек,
ЧЕЛОВЕК!

Мы дети ленинского века,
У нас один святой закон:
Все, все для счастья человека,
Всею хозяин — только он.

За жизнь одну мы десять жизней
С тобой, товарищ, проживем.
Уже живет при коммунизме
Тот, кто достоин жить при нем.

Мы верим в то людское счастье,
Что словно солнце после тьмы,
Мы верим, верим нашей власти,
Всей кровью сердца верим мы!

Ничем той веры не измерить,
Никак ее не сокрушить,
Пока живем, мы будем верить,
Пока мы верим, будем жить!

Коммунизм — это знамя твое, человек!
Коммунизм — это счастье твое, человек!
Коммунизм — это крылья твои, человек!
Будь же счастлив навек,
ЧЕЛОВЕК!

Не в бомбы атомного века,
Не в этот идол-божество —
Я верю в разум человека
И в память верую его.
Нет!
Я не верю в гибель мира.
Кошмар все это, а не быть,
Чтоб завтра не было Шекспира,
Чтоб Пушкин превратился в пыль,
Чтоб от Бетховена ни звука
В тиши крошечной и слепой
И чтобы даже смерть-старуха,
И та б покончила с собой!

ОДИНОЧЕСТВО

Как жена, тишина
одиночества
В этой комнате, мной занимаемой.
Здесь живу я без имени,
Молчаливый и необитаемый.
От всего отчужденный и пристальный,
По ночам я курю с увлечением,
Осенний, как высшую истину,
Добровольным своим заточением.
Нет!
Вы даже себе не представите,
Сколько слов я имею несказанных,
А на пестром платке моей памяти
Сколько встреч, узелками завязанных!

Я верю в разум человека;
В его порыв дружить, любить,
В потребность тихого ночлега,
И в жажду есть, и в жажду пить,
В его науку и в поэзию.
В него! И больше ни в кого!
В простое чувство равновесия —
Инстинкт естественный его.
И пусть враги готовят битву,
Конвейер смерти торопится
Я эту веру, как молитву,
Твержу все время про себя.

Сколько мыслей, действительно стоящих!
Нет!
Вы даже себе не представите...
Я бросаю на стол, как сокровище,
Фестивальный платок моей памяти.
Развевается, переливается,
Открывает он венские улочки,
То внезапно француз появляется,
То шотландец играет на дудочке,
То с каким-то веселым младенчеством
Негритянка в лицо расхохочется...
Эту встречу со всем человечеством
Не зовите моим одиночеством!

Словно сказочный гном-старичок
В одеянье старинном,
В центре Вены

стоит
кабачок,
Дышит запахом винным.

Свечи,
бочки,
решетки окна —
Все здесь недостоверно.
Как попал ты

в наш век,
старина,
В это царство модерна?

Здесь экзотика рыцарских лат,
Как наценка на масло коровье.
Ты хозяином взят напрокат
У далекого средневековья...

А на извести сводчатых стен
Столько древних царапин!
С удивленьем читаю:

«Марк Твен»,
«Штраус»,
«Гоголь»,
«Шалапин».

Их автографы.
Столики их.

Их бифштексы
нам вынесли в дыме,

Их,
остривших,
куривших,
живых, —

Будто чокаюсь с ними!
Будто им сигареты даю.

А напротив
сидит
молчаливо

Здесь окна
пронизаны
морем.

Весь город объемлет оно.
То дремлет,
булыжники моя,

То вдруг
заглушает кино.

Лежит,
бесконечно прямое,

Оно
среди белого дня...

А утром
предчувствие моря

Чуть свет поднимает меня.
Спешу я к утесам и водам.
Забуть неудачи хочу.

Человек,
пьющий
в полдень

свою
Кружку пива.

Он ее удивительно пьет.

Пьет
ее
недвижимо.

Сколько времени пьет?
Может, день,

может, год
Или, может, с времен покорения Рима?

Он сидит,
отрешенный

в бездumье своем,
А фашисты

рейхстаг,
словно факел,
раздули,

Новобранцев
под пули

ведут за окном.

И его самого
ищут

намертво
пули.

И уже его кружка
на самом краю.

Сотрясается столик
от гулкого взрыва.

Но сидит человек,
пьющий

свою
Кружку пива.

Только что эти пули!

Немеет свинец
Перед нынешним ядерным веком.

Так напейся же ты, черт возьми, наконец
И проснись на земле человеком!

МОРЕ

Морским,
исцеляющим йодом

Царапины эти лечу.

И снятся мне строки заглавий,
Поэм,

Ощутимых едва,
И море

шлифует,
как гравий,

Все чувства мои
и слова...

Вернувшись в свою комнатушку,
Где в окна видны катера,

Я море
кладу

под подушку
И слышу его до утра.

БАЛЛАДА О КОЗЕ

Шел балет «Эсмеральда»,
 Плыл воздушный,
 певучий,
 Как рассветное облако
 Всех цветов и созвучий.
 Балерина
 так трепетно
 В этот день танцевала,
 Что подобного чуда
 На земле не бывало.
 Танцевала
 то ласково,
 То печально,
 то грозно.
 И внимала ей публика
 Религиозно.
 Шел балет «Эсмеральда»,
 Плыл воздушный,
 певучий...
 И случился на сцене
 Удивительный случай.
 Появилась коза
 Абсолютно живая,
 Достоверность
 спектаклю всему
 Придавая.
 Появилась коза
 С бороδοю по пояс,
 Как триумф режиссера,
 Как творческий поиск!
 Балерина
 то вьется,
 как пламя,
 То струится
 волшебной слезою,
 Только
 люди
 невольню

Следят за козою.
 Вот коза
 подскочила,
 На суфлерскую будку полезла.
 Кто-то вдруг засмеялся,
 Где-то скригнуло кресло.
 Балерина танцует.
 И легкость движений небесна.
 Только
 людям
 следить
 За козой интересно.
 И коза победила,
 Коза победила,
 Потому что на сцене
 В тот миг наследила.
 Это был поединок
 Перед зрительным залом,
 Поединок
 искусства
 С веселым скандалом;
 Поединок
 таланта
 С козлиным копытьством,
 Поклоненья святому
 С простым любопытством.
 О минутные козы,
 Премьеры сенсаций,
 Что на миг
 побеждали
 Бессмертие Граций!
 Не завидую вам.
 Любопытство —
 плохая награда.

 Мне
 сенца
 от сенсаций,
 Ей-богу, не надо!

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Еще могу расстаться с вами,
 Еще могу не видеть вас.
 Уход с прощальными словами
 Еще держу я про запас.
 Держу
 возможность жить иначе —
 Тот ключ
 от запертых дверей,

А дом пожаром весь охвачен,
 Пора бежать,
 да поскорей!
 Уже его дыханьем грозным
 Мое лицо обожжено.
 Пора бежать,
 пока не поздно...
 А я швыряю ключ в окно.



ЧЕТЫРЕ МАСТЕРА

Великий французский живописец Эжен Делакруа сказал: искусство — это природа через темперамент художника. Говоря о советском искусстве двадцатых годов, можно это изречение перефразировать: искусство — это революция через темперамент творца.

Четыре художника, четыре крупных, талантливых мастера, как по-разному они работали! А ведь жили они в одно время — они почти ровесники, — в одной стране. Они приняли Великий Октябрь сразу и безоговорочно, и все-таки каждый из них видел в революции что-то свое, особенное, близкое.

Константин Юон. Мы знаем его снег, солнце, сверкающие купола. Масленица, сырая и теплая. Румяные девицы в бархатных кацавейках. Веселые разносчики. Толпа, московский люд, разнокалиберный, яркий — и для каждого найдено свое чистое, ничем не замутненное пятнышко света. И все картины как бы мозаика из этих пятнышек. Русь веселая, наивная, немного кукольная... И вдруг — космос, новая планета.

Откуда? Почему?

«Космическая тематика» не столь уж неожиданна ни для самого Юона, ни тем более для времени, когда картина была написана.

1918 год. Всего через три года герои романа А. Н. Толстого встретятся на Марсе с Азлитой.

Космос тогда действительно стал ближе. Громадные масштабы событий, открывшиеся невиданные перспективы, фантастические темпы — все это настойчиво требовало новых сопоставлений, новых метафор. Картина «Новая

планета» и есть попытка найти такую метафору, реализованную живописными средствами.

Это полотно Юона производит, пожалуй, наивное впечатление. Теми же средствами, которыми художник изображал замоскворецкие базары, он пытался живописать космос. Получилось действительно «неорганично».

По-иному чувствовал и изображал революцию Козьма Петров-Водкин. Родился он в городке на Волге, очень маленьком, очень старинном и очень русском — Хвалынске. Вы видели, наверное, такие города. Широкие улицы, заросшие подорожником и кислицей, а у заборов лопухи; домики закупоренные и горячие, как парник. Красная герань в окошках и невероятная тишина. Из таких городков удирали все, у кого была «искра божья» — талант. Удирали, чтобы не возвращаться. Но никакие заграничные, никакие музеи и библиотеки не восполнили бы того, среди чего они росли, чем они дышали с детства и ранней юности, — Русь, ее стать, походку и обычаи, ее лицо, строгое и тонкое, ее сильные и добрые руки.

Такие, как Петров-Водкин, приезжали в Петербург, в Москву, учились, потом работали, становились знаменитыми, но у каждого был свой Хвалынский, из которого они брали, как из сундука, воспоминания, дух, стиль.

В то время — девяностые годы прошлого века — русские художники переживали странное и тревожное время: они знакомились с искусством своих предков. Расчищались потемневшие от времени и копоты доски икон, и открывалась живопись — чистая, ясная и необыкновенная. Неесте-

ственно вытянутые, угловатые фигуры, плоские коричневые лица, наивная, почти детская перспектива — экспрессия совершенно удивительная, затопляющая душу целиком и безоговорочно.

Живопись наших предков звучала, как орган, аккордами мощными и простыми — красное, синее, белое, золотое... Она смотрелась и вблизи и издалека. Она была декоративна и содержательна, беспредельно лирична и угрожающе торжественна. Словом, это была необыкновенная живопись. И Петров-Водкин принял это необыкновенное как свое. Именно Хвалынский, Заволжье подготовили его к безоговорочному и увлеченному приятию дрезнерусского искусства. Там он привык к яркому, чистому, «просторному» цвету — небо, рожь, и поле, и белая церковь, и красные платки крестьянок. Привык к этим изысканным линиям: склоненные головы, руки, вскинутые жестом, неповторимо пластичным; горожанки разговаривают у кслюдца, грузчик вскидывает мешок на плечи, девочка с хвэростинной пасет гусей.

Создавая свою живопись, свое своеобразное искусство, Петров-Водкин строил его как бы на нескольких основаниях, объединенных в единый фундамент. Первое и главное — свои впечатления, свое непосредственное и живое восприятие мира, затем переключаясь, в чем-то очень близкое этому восприятию древнерусское искусство, затем живопись европейских мастеров, от Леонардо до Матисса. И, наконец, учителя. Учился Петров-Водкин у Серова — великого ювелира, острогляда, исследователя. Серов научил его настоящему уважению

к натуре, доскональной, щепетильнейшей точности.

Но вот в судьбу художника ворвалась революция. Его искусство, хрупкое, тонкое и точное, необычайно традиционное, оказалось лицом к лицу с грохочущим, пылающим миром. И оно не сникло, не завяло, не иссякло. Оно возмужало и окрепло, приняв от революции ее стойкость, веру и отбросив декадентские страхи.

Козьма Петров-Водкин увидел революцию и изобразил ее вот так: Петроград, 1918 год. Город, отданный рабочим, город свободный и строгий. Город стойкий и полный надежд.

Вот стоит на балконе петроградского дома работница или кухарка, продащица или портниха с ребенком на руках. Ее облик чист, так же как ее косынка, как воздух, разреженный грозой дух революций. Женщина на балконе — наследница тех, кого изображали древнерусские живописцы на звонко-просушенных деревянных досках из кедра и тиса. Их стать, их повадка, их жесты и взгляд. Иконное, древнее, вечное увидел художник в юном, живом, легком. Даже пейзаж, строго и скромно расчерченный, тщательно выписанные крохотные фигурки фона — все здесь традиция и в то же время все живое, непосредственно и остро увиденное...

А вот еще одна картина — «Смерть комиссара». Тоже революция, гражданская война. Смерть развела их в разные стороны — комиссара и его отряд. Отряд ушел, стиснув зубы, туда, в долину, где рвется шрапнель в голубом небе, где пахнет порохом и трава в крови. Острая, щемящая душу интонация, почти физическое ощущение потери, беды, разлуки...

И опять пришло сюда это ощущение традиции, пришло издалека, через столетия. Оно пришло сюда необычайным и наивным на первый взгляд приемом — бойцы, уходящие в долину, как бы валются вперед, у них смещен центр тяжести. Этот необычайный прием подсказан силой чув-

ства, стремлением создать наибольшее впечатление.

Если вы посмотрите в Третьяковской галерее древнюю русскую живопись, в особенности работы Феофана Грека, то заметите, что эмоции, страсть, скорбь переданы в них точно так же преувеличенным, иногда очень условным и не всегда правдоподобным жестом, сильным, четким силуэтом, ритмом линейным и цветовым...

Если попытаться найти творческий темперамент, диаметрально противоположный темпераменту Петрова-Водкина, то вряд ли мы найдем более подходящий пример, нежели творчество художника Ефима Чепцова. Его картина «Заседание сельской ячейки» — одно из самых популярных произведений советской живописи двадцатых годов. Трудно представить себе что-нибудь более бесхитростное. Композиция нарочито безыскусственна. Это сцена, самая настоящая сцена, с суфлерской будкой, занавесом и кулисами. На сцене президиум, у рампы докладчик. Просто? Очень. Выразительно? Безусловно.

Чепцов был «академиком». В Петербургской академии художеств он учился до самой революции, в Ленинградской — преподавал. Он был скромным человеком и хорошим художником. Он писал картины и картинки одну за другой, добротнo, тщательно. Так же добротнo и тщательно разобрался он в том, что увидел в русской революции. Он изображал обычное обычными средствами. Если, конечно, не считать того, что в революции все было необычно. Чепцов, как принято теперь выражаться, сознательно «приземлял» своих героев. Но разве Твардовский не «приземлил» своего героя в «Василии Теркине»? И разве он стал от этого менее поэтичным?

Митрофан Греков. Художник-солдат. Ученик знаменитого Рубо, автора Севастопольской панорамы. Донской казак Митрофан Греков был первым из художников-баталистов, живописавших войну справедливую.

Правда, он начинал, как все тогда начинали, с «Парада лейб-гвардии кирасирского полка».

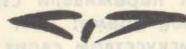
Закончив академию, Греков попал на фронт. Шла первая мировая война. Пробыв четыре года в окопах, художник-баталист возненавидел войну и тех, кто ее затеял.

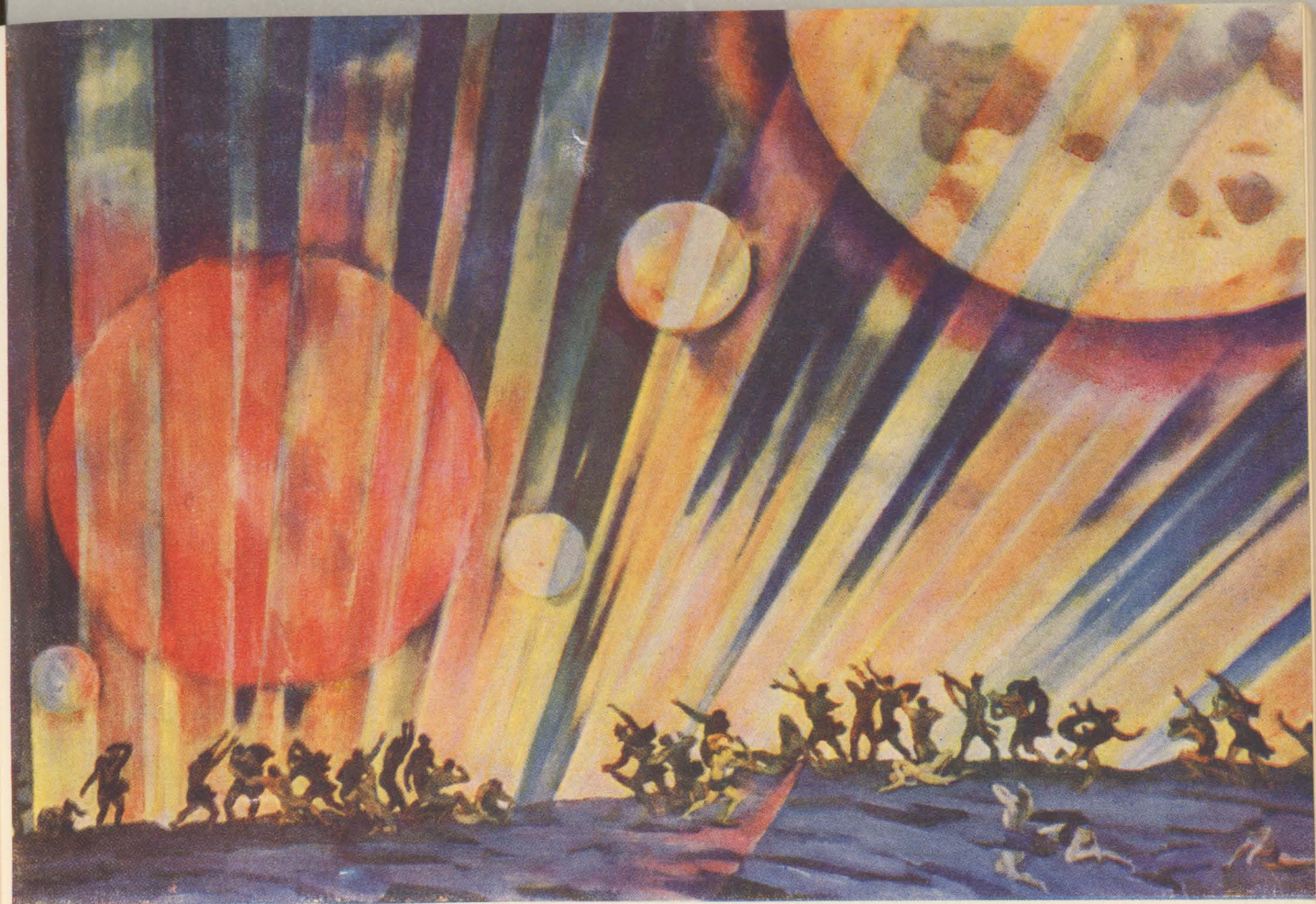
Грянула революция. Народ получил землю, волю, мир. Греков вернулся на родину, на Дзэн, в станицу Шарлавыю. Через три месяца станица стала прифронтовой полосой. На север наступала добровольческая армия Корнилова. Сначала наступала, а потом отступала, бежала... Россия, Республика Советов, снова вела войну — на этот раз справедливую, гражданскую. Греков стал ее живописцем. В тылу у белых он писал отступление корниловцев. Это само по себе было подвигом. Потом — Первая Конная, бессранные ночные рейды, степи, выгоревшие под палящим солнцем и закованные льдом, и — тачанка... Знаменитая буденновская тачанка-ростовчанка, увековеченная, воспетая Грековым. Но «воспетая», пожалуй, слишком сильное слово. Греков не был поэтом, но был прекрасным прозаиком. Он оставил нам великолепную живописную хронику времен гражданской войны — хронику, исполненную художественного смысла.

Необходимо предостеречь snobов, пренебрежительно относящихся к наследию Грекова. История искусств возложила на него важную и трудную миссию. Он выполнил ее с честью.

Нигде не преувеличивая и не приукрашивая, всегда оставаясь абсолютно правдивым, он сумел передать патетическую атмосферу гражданской войны.

Итак, четыре художника, четыре творческие судьбы, прошедшие через революцию. Разные люди — разное искусство. Естественно, одно нам нравится больше, другое меньше. Сердцу, как говорится, не прикажешь. Но надо учиться ценить и уважать творчество в любом его проявлении, ибо оно всегда заслуживает уважения.





↑
К. ЮОН. Новая планета.



К. ПЕТРОВ-ВОДКИН.
1918 год в Петрограде.



К. ПЕТРОВ-ВОДКИН.
Смерть комиссара.

Е. ЧЕПЦОВ.
Заседание сельской ячейки.

↓

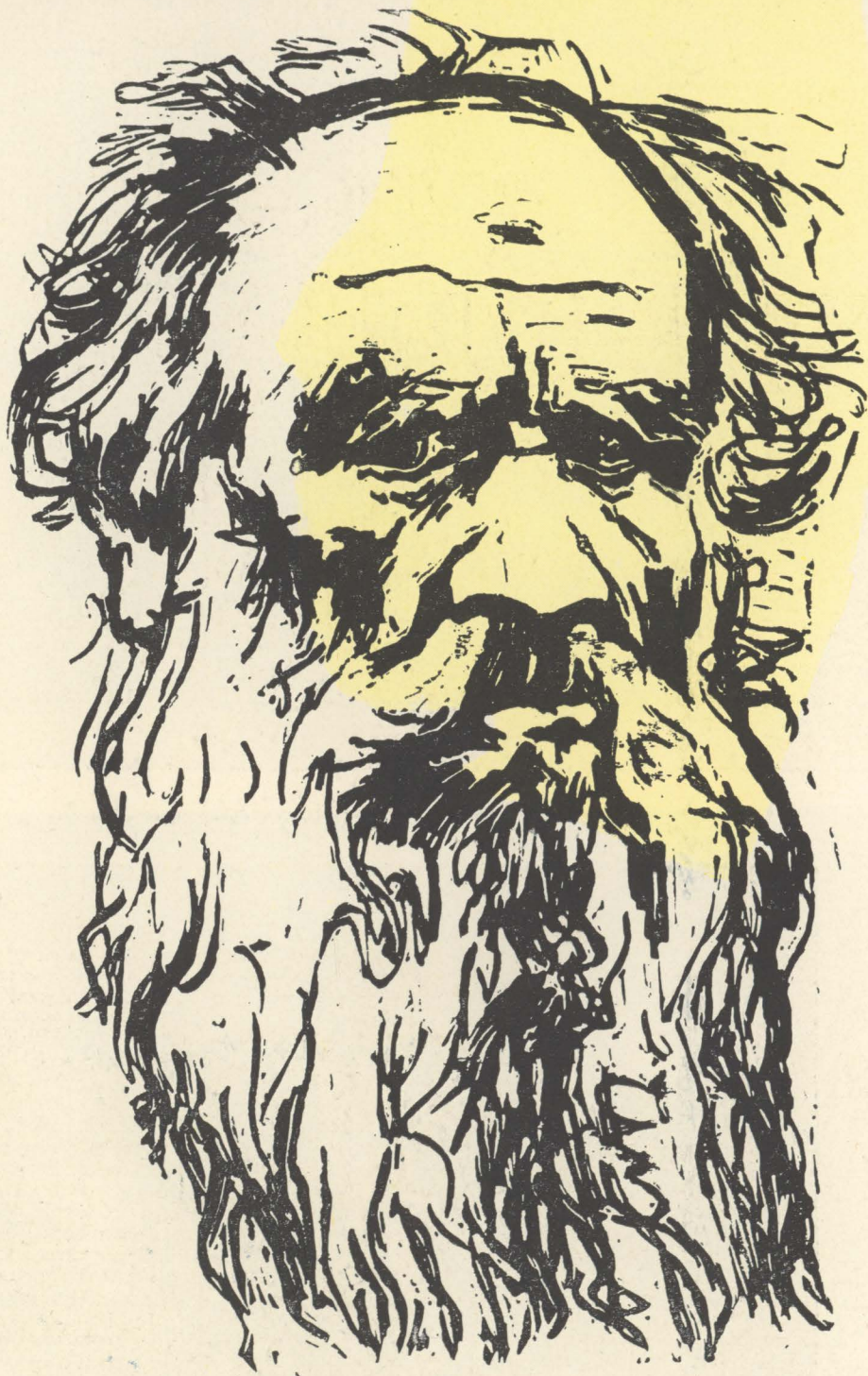




1
М. ГРЕКОВ.
Отряд Буденного
отбивает атаку.



М. ГРЕКОВ.
Трубачи
Первой Конной.



«...Л. Толстой сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе».

В. И. ЛЕНИН

ЯСНАЯ ПОЛЯНА. 1960.

К 50-летию со дня смерти Л. Н. Толстого

Полстолетия назад ушел из жизни один из самых необыкновенных и величайших писателей, каких только знал мир. Это было в 1910 году, осенью.

В ночь на 28 октября восьмидесятидвухлетний Лев Толстой вышел из дому, чтобы разбудить кучера и велеть ему закладывать. В темноте он заблудился, хотя прожил в Ясной Поляне почти всю жизнь. Где-то в сырых кустах он потерял шапку и вернулся с непокрытой, всклокоченной головой.

Наверху, в его кабинете, при только что разбуженных и тряс-

щенных лица — дочь, переписчица и доктор — испуганно и торопливо собирали вещи.

Старик сердился, не хотел укладывать меховое пальто, электрический фонарик и гигиенические принадлежности (на которых настаивал доктор). Потом он взял фонарик и пошел впереди всех, лишь изредка нажимая кнопку, чтоб понапрасну не жечь батарейку.

Они пришли на конюшню. Толстой разбудил кучера Адриана Елисеева, спавшего в избе. У Адриана дрожали руки, и пот ка-

тился с лица, пока он запрягал пару лошадей. Нервничая, Толстой стал помогать. Наконец он и доктор Маковицкий уселись в старинную пролетку, тронулись и выехали за ворота, направляясь к железнодорожной станции.

Дома для графини Софьи Андреевны было оставлено письмо:

«Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме становится, стало невыносимым. Кроме всего другого, я не могу более



Дом-музей Л. Н. Толстого. Ясная Поляна.



Сегодня у каретного сарая. В центре — американский писатель Митчел Уилсон.

жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста: уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни.

Пожалуйста, пойми это и не езди за мной, если и узнаешь, где я. Такой твой приезд только ухудшит твое и мое положение, но не изменит моего решения. Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной...

Рассказывают, что Софья Андреевна утром, не дочитав письма, бросалась в пруд и ее вытаскивали секретарь Булгаков и дочь Саша.

Срочно послали на станцию узнать, куда в эту ночь продавали билеты. Оказалось, что уехали четыре пассажира: два вторым классом до Благодатного и два третьим — до Горбачева.

Потом пришла телеграмма: «Уезжаем. Не ищите. Пишу». На телеграмме значился пункт отправления — Горбачево. 1(14) ноября Толстой заболел бронхитом и вынужден был сойти в Астапове. Через шесть дней он умер.

Сегодня двери в каретный сарай распахнуты, возле него останавливаются посетители. Сохранилась старинная коляска, изба кучера Адриана.

Дом Толстого остался в том виде, в каком он был в день отъезда. Сохранился кабинет, стол с ручкописями, чернильницей и ручкой, даже свечи, погашенные Толстым в ночь на 28 октября, так и не зажигавшиеся с тех пор, и тысячи других предметов, «безмолвно

свидетельствуя о том, что вещи долговечнее людей, то есть о самой древней истине в короткой истории человечества» (М. Уилсон «Брат мой, враг мой»).

Мои беглые заметки о Ясной Поляне не претендуют на полноту описания, — это несколько отрывочных мыслей и впечатлений сегодняшнего дня о том, что почему-то особенно заставляет пораженно остановиться.

Ясная Поляна — удивительное место. Я боюсь сказать — «музей», потому что он самый своеобразный из всех музеев. Он жи-



Любимая скамейка Л. Н. Толстого.

вой. Вы себя чувствуете в нем не экскурсантом, а гостем. Вы не встретите табличек «По траве не ходить». Вы можете ходить, лежать, купаться в речке Воронке, в которой купались все Толстые, пить из их колодца, собирать в лесу грибы или цветы, отдохнуть на любимой скамейке Толстого, глядя на стройные, шумящие вершинами ели, которые при нем были еще маленькими, подумать в одиночестве.

«Я всегда люблю на эти елочки. Это мое любимое место. И по утрам — это моя обычная прогулка. Иногда я сажусь здесь на скамейку и пишу» (Л. Толстой).

Нам трудно вернуться мыслью на пятьдесят лет назад. Мы живем после колоссальных переворотов, случившихся за это время.

Мало кому известно, что сегодняшнее село Ясная Поляна — это совхоз, и неплохой в Тульской области совхоз. Совхозные рабочие, потомки яснополянских крепостных, собирают урожай на землях Калинова Луга, где когда-то косил Толстой. Над полями протянулись высоковольтные линии; у конюшни с каретным сараем стоят только что пришедшие с поля тракторы.

Нищей, странным анахронизмом выглядит убогая, под соломой, «музейная» изба кучера Адриана на фоне современного, сверкающего крышами села с прекрасной школой и больницей.

Мы существуем в другом ритме жизни. Когда-то Толстые добирались из Москвы до Ясной Поляны по Орловскому (теперь Симферопольское) шоссе вдвое, а то и трое суток. День до Серпухова, там ночевали, второй день до Тулы, снова ночевали, и на третьи сутки въезжали в ворота усадьбы.

От площади Курского вокзала в Москве до Ясной Поляны я доехал маршрутным такси за три часа. Я вышел на развилке к усадьбе, у автобусной остановки. По Симферопольскому шоссе непрерывно шли машины. Пятьдесят лет назад вот сюда, где теперь автобусная остановка, любил выходить Толстой. По дороге изредка тащились подводы да брели сотни крестьян, странников, нищих, с ними вступал Толстой в беседы; он называл Орловское шоссе своим Невским проспектом.

1 мая 1910 года Толстой (он с нетерпением ждал этого дня) вышел на шоссе, по которому, он слышал, будут проезжать автомобили, участвующие в гонках Москва — Орел. Гонки действительно прошли, и рассказывают, что автомобилисты узнали его, махали шляпами, а один автомобиль

остановился; Толстой осмотрел его, но торопил гонщика и пожелал ему успеха.

В. Булгаков, секретарь Толстого, записал в своем дневнике:

«Лев Николаевич рассказал о своей вчерашней встрече с автомобилями. Оказывается, он видел автомобили в первый раз.

— Вот аэропланов я, должно быть, уже не увижу,— говорил он.— А вот они будут летать,— указал он на горбуновских ребятишек...»

Хороший знакомый Толстых знаменитый биолог И. И. Мечников, оспаривая наивный пацифизм Толстого и горячо ратуя за развитие науки, высказал однажды парадоксальную, почти кощунственную по тем временам мысль, и Толстой возмущенно пересказывал ее за столом:

«Он говорит, что наука так усовершенствует военные приспособления, выдумает такие электрические торпеды, которые уж будут непременно попадать в цель, что воевать будет невозможно, и война тогда прекратится. Я хотел ему сказать на это: так, значит, чтобы не обжираться, нужно принимать рвотное...»

С высоты сегодняшнего дня, когда существуют «торпеды, уж непременно попадающие в цель», как-то становится не по себе, читая об этом разговоре. Мы, жители атомного века, являемся организаторами и очевидцами первых полетов в космос, просто путешествуем самолетом, за три часа доезжаем до Ясной Поляны. Тот идеалистический гуманизм Толстого, который он так отчаянно, непримиримо пытался довести до крайних степеней, кажущихся нам уже комичными (знаменитое непротавление злу насилеием, вегетарианство; Толстого глубоко волновала проблема замены кожаных сапог сапогами из линолеума, а умываясь, он спрашивал: «Это мыло вегетарианское?»; с содроганием он смотрел на липучки для мух — не убий даже муху; вел обстоятельную переписку с некоторыми последователями его учения, отказавшимися от воинской повинности и сидевшими за то в тюрьме), — этот идеалистический гуманизм и пацифизм оказались несостоятельными, неспособными изменить тот варварский мир, который сам Толстой с криком отчаяния «Так жить нельзя!», со всей грандиозной силой художника вскрыл и разоблачил.

Грань между подлинным гуманизмом и несостоятельным, между великим и смешным, которую так трагично не заметил Толстой,



Л. Н. Толстой и И. И. Мечников на террасе яснополянского дома. Фотография С. А. Толстой. 1909 год.

нам ясна. Мы живем по законам иного, коммунистического гуманизма. Но поиски гуманистов всегда волновали человечество, проблема гуманизма была и будет насущнейшей из всех проблем человеческих. Как ни возмущался Толстой-пацифист, а человечеству пришлось «принимать рвотное».

Совсем недавно окрестности Ясной Поляны были усеяны останками расстрелянных нами танков и трупами убитых нами — не по



Библиотечная комната Л. Н. Толстого после разгрома и поджога фашистами. Фотография 1941 года.

заповедям Толстого — фашистских мерзавцев, тех самых, что разложили костры из соломы с бензином в кабинете и библиотеке Толстого (только их спешка и героизм сотрудников спасли дом от уничтожения), разворовали вещи, сожгли соху Толстого, похоронили вокруг могилы величайшего человека головы (их потом вырыли и вывезли), устроили под «деревом бедных» скотобойню, а комнату под сводами, где создавалась «Война и мир», использовали под уборную. Все это было зафиксировано в актах, фотографиях и показаниях очевидцев.

Лев Толстой родился в Ясной Поляне 132 года назад, и почти вся его жизнь была связана с Ясной Поляной. В этой глубокой связи лежат и причины его великого патриотизма и некоторые причины узости его мировоззрения. Он сам с удивительной точностью написал: «Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию и мое отношение к ней. Без Ясной Поляны может быть яснее увижу общие законы, необходимые для моего отечества, но я не буду до пристрастия любить его».

Я брожу по дорожкам и понимаю это, я чувствую это «может быть яснее увижу общие законы... но не буду до пристрастия любить его». И разные события, одно поверх другого, теснятся в уме, и разные люди (а ведь это один и тот же человек) незримо присутствуют рядом. Когда-то, невыносимо давно, бегал здесь обыкновенный живой мальчик, проснувшийся солнечным утром, когда старый воспитатель неловко ударил над ним хлопнушкой муху. Здесь бывал молодой человек в студенческой фуражке, он сдавал экзамены и привыкал пить пунш со жженым сахаром. Потом блестящий офицер с бачками, с саблей на боку, кутила, игрок и способный начинающий литератор. И потом вдруг — энергичный помещик в блузе, с черной густой бородой, зачинатель разных нововведений, но, по объективной оценке современников, очень незадачливый хозяин, куда хуже, чем Левин в его романе. Хороший семьянин, страстный охотник, неожиданно забрасывающий все, запирающийся в комнате под сводами и пишущий роман, которому суждено стать одним из самых грандиозных явлений мировой литературы. Он этого еще не знает, он сомневается, он, волнуясь, читает первые главы знакомым, со страхом ожидая первых откликов,

и пишет Фету: «Печатанное мною прежде я считаю только пробой пера; печатаемое теперь мне хотя и нравится более прежнего, но слабо... Напишите, что будут говорить в знакомых вам различных местах, и главное — как на массу. Верно пройдет незамеченно. Я жду этого и желаю. Только б не ругали, а то ругательства расстраивают...»

И он, как ребенок, рад первому печатному отзыву в газете «Инвалид», где неизвестный автор, наверное, бывший военный, похвалил военные сцены в романе «Война и мир».

Этот творческий, сомневающийся, переживающий, снова и снова переделывающий написанное, бсящийся («только б не ругали») Лев Толстой наиболее дорог мне.

А потом — седобородый старичок, всем миром признанный, но отмахивающийся от этого суетного признания, окруженный родней, секретарями, посетителями, просителями, дураками, аферистами, ни минуты не испытывающий душевного покоя, в какой-то мучительной животной тяге темной ночью уходящий прочь от всех умирать...

В яснополянском доме на втором этаже, в закоулке за роялем стоит старинное вольтеровское кресло, в котором Толстой любил сидеть, слушать музыку. Ему играли Танеев, Аренский, молодой Гольденвейзер. Напротив рояля — допотопный граммофон с трубой, подлинное чудо и новинка тех времен. Граммофон не особенно понравился Толстому, он считал, что это зряшная выдумка, как и фонограф, присланный ему в подарок Эдисоном. Механическое



Л. Н. Толстой и Д. П. Маковицкий в спальне Толстого. Снимок 1910 г.

пианино, играющее само, по мнению Толстого, было куда более полезным изобретением.

Здесь в январе 1910 года происходила не особенно примечательная сцена, которая тем не менее, когда я прочел, потрясла меня.

Заводили граммофон, Толстой направлял трубу в коридор, чтобы сбежавшаяся дворня тоже могла послушать. В своем дневнике В. Булгаков пишет:

«Усевшись в вольтеровское кресло у двери в гостиную, Лев Николаевич долго разговаривал с Сергеем относительно конструкции граммофона... За столом завязался оживленный разговор: о пат-

риотизме, о преимуществе заграницы перед Россией и, наконец, о земле и о помещиках и крестьянах. К этой теме, как я успел заметить, часто сводится разговор в большой столовой яснополянского белого дома. Говорили много и долго, спорили страстно и упорно. Сухотин, его жена и Сергеевко отмечали крайнее озлобление крестьян против помещиков и вообще господ.

— Русский мужик — трус! — возразил Андрей Львович¹. — Я сам видел, на моих глазах пятеро драгун выпороли по очереди дворян из четырехсот дворов!..

— Крестьяне — пьяницы, — говорила Софья Андреевна. — Войско стоит столько, сколько тратится на вино, это статистикой доказано. Они вовсе не оттого бедствуют, что у них земли мало...

Лев Николаевич сидел, насупившись...

— Если бы у крестьян была земля, — тихо, но очень твердым голосом произнес он, — так не было бы здесь этих дурацких клумб, — и он презрительным жестом показал на украшавшую стол корзину с прекрасными, благоухающими гиацинтами.

Никто ничего не сказал.

— Не было бы таких дурацких штук, — продолжал Лев Николаевич, — и не было бы таких дурацких людей, которые платят лакею 10 рублей в месяц.

— Пятнадцать! — поправила Софья Андреевна.

— Ну, пятнадцать...

— Помещики — самые несчастные люди! — продолжала возражать Софья Андреевна. — Разве такие граммофоны и прочее покупают обедневшие помещики? Во все нет! Их покупают купцы, капиталисты, ограбившие народ...

— Что же ты хочешь сказать, — произнес Толстой, — что мы менее мерзавцы, чем они? — И рассмеялся.

Все засмеялись... Лев Николаевич попросил Душана Петровича² принести полученное им на днях письмо от одного ссыльного революционера и прочитал его.

В письме этом писалось приблизительно следующее:

«Нет, Лев Николаевич, никак не могу согласиться с вами, что человеческие отношения исправятся одной любовью. Так говорить могут только люди хорошо воспитанные и всегда сытые. А что

¹ Андрей Львович — сын Л. Н. Толстого. (Ред.)

² Душан Петрович Маковицкий — личный врач Л. Н. Толстого. (Ред.)



Вольтеровское кресло за роялем.

сказать человеку голодному с детства и всю жизнь страдавшему под игом тиранов? Он будет бороться с ними и стараться освободиться от рабства. И вот, перед самой вашей смертью говорю вам, Лев Николаевич, что мир еще захлебнется в крови, что не раз будут бить и резать не только господ, не разбирая мужчин и женщин, но и детишек их, чтобы и от них не дожидаться худа. Жалею, что вы не доживете до этого времени, чтобы убедиться воочию в своей ошибке. Желаю вам счастливой смерти».

Письмо произвело на всех сильное впечатление. Андрей Львович опустил голову к стакану и молчал. Софья Андреевна решила, что если письмо из Сибири, то его писал ссыльный, а если ссыльный, то, значит, разбойник.

— А иначе был его и не сослал! — пояснялось при этом.

Ее пытались разубедить, но напрасно.

Можно из этой сцены себе представить, какова была жизнь Толстого в Ясной Поляне и от кого он бежал. Но, списавшись с революционером, Толстой все пытался настоять на своем и, получив от него еще одно такое же непримиримое письмо, огорченно сказал: «Этот, по-видимому, из глухих, из тех, которые не хотят слышать». И продолжал возиться с доморощенными философами, спорить с женой и домашними, которые уж действительно были «из глухих». Будущее же оказалось за теми, кого он сам не умел услышать.

И граммофон стал вскоре незаменимым жизненным предметом, а механическое пианино оказалось зряшной выдумкой.

Мне очень тяжело и обидно, когда я думаю об этом. Писать такие, полные глубочайших мыслей романы, так талантливо видеть и изображать мир — и, принимаясь рассуждать, так трагично ошибаться!.. Сколько людей любят «Войну и мир» и не любят ее конца! Я имею в виду эпилог — самый конец, когда Толстой рассуждает об истории и вообще об обществе. Как будто два разных человека создавали книгу...

И так же, как из всех Львов Толстых мне ближе всего и дороже тот, что писал «Войну и мир» без этого конца, так во всей Ясной Поляне мне дороже всего комната под сводами, тихая и глухая, что-то среднее между подвалом, кельей и дежуркой. С потолка свисают массивные железные кольца для окороков, винченые еще дедом Толстого — Н. С. Волконским. В этих «долго-



Л. Н. Толстой в «комнате под сводами». С картины И. Е. Репина. 1891 год. Масло.

вечнее людей» стенах была кладовая, и столовая, и детская, и кабинет по очереди. Здесь на руках Толстого в 1906 году умерла «самая большая радость» его, дочь Маша. Здесь писались «Воскресение», «Крейцерова соната», «Хаджи-Мурат», Наташа впервые поцеловалась с Борисом, Пьер Безухов сказал Элен: «Я вас люблю», — Долохов выпил на подоконнике бутылку рому, а вдали уже было зарево пожара Москвы, и на Поклонной горе маленький человек тщетно дожидаясь депутации..



«Дерево бедных» с вросшим в него колоколом.

Репин с натуры написал Толстого в комнате под сводами. Простой стол, у стен коса, лопата, пила. Рядом с этой комнатой — небольшой закоулок, по-спартански обставленный, — жилище доктора Душана Маковицкого; а за стеной — такая же спартанская комната для приезжих гостей — с умывальником, железной кроватью, на которой спали Тургенев, Фет, Чехов, Репин, Горький, Короленко, Нестеров, Стасов, Танеев, Ге, Мечников... Почти весь цвет русской культуры на рубеже веков бывал здесь, их дух, их следы еще здесь, хотя все они уже ушли.

На «дереве бедных», растущем перед входом в дом, висел колокол. Каждый мог прийти, позвонить в колокол, вызвать графа и беседовать с ним. Дерево все росло, кольца напластовывались, одно на другое, колокол косился, подтягивался и врос в дерево совсем. Эти живые «часы» напоминают о половине столетия. Только, говорят старики, знаменитый дуб все такой же, почти не изменился. Он растет у дороги, в дубовой роще «Чепыже».

После всего пережитого, после ранения под Аустерлицем, смерти жены, маленькой княгини Лизы с короткой верхней губкой, князь Андрей Болконский безвыездно прожил два года в деревне. Весной, когда все распускалось и цвело, он ехал через лес и был поражен видом дуба:

«Это был огромный, в два обхвата дуб, с обломанными, давно видно, суками и с обломанной корой, заросшею старыми болячками. С огромными своими неуклюжими, несимметрично рас-



«Дуб Андрея Волконского».

топыренными корявыми руками и пальцами, он старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца.

«Весна, и любовь, и счастье! — как будто говорил этот дуб. — И как не надоеет вам все один и тот же глупый и бессмысленный обман. Все одно и то же, и все обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастья. Вон смотрите, сидят задвленные мертвые ели, всегда одинакие, и вон и я растопырил свои обломанные, ободранные пальцы, где ни выросли они — из спины, из боков; как выросли — так и стою, и не верю вашим надеждам и обманам».

Князь Андрей несколько раз оглянулся на этот дуб, проезжая по лесу, как будто он чего-то ждал от него. Цветы и трава были и под дубом, но он все так же, хмурясь, неподвижно, уродливо и упорно, стоял посреди них.

«Да он прав, тысячу раз прав этот дуб», — думал князь Андрей...»

И он ездил по делам, потом приехал к Ростовым, ночевал у них, подойдя к окну, ночью услышал разговор двух девочек на подоконнике; одна звала спать, а другая почти со слезами в голосе говорила, что такой ночи никогда не бывало.

«Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь до-

мой, въехал опять в ту березовую рощу, в которой этот старый, корявый дуб так странно и памятно поразил его...

«Да, здесь, в этом лесу был этот дуб, с которым мы были согласны», — подумал князь Андрей. — «Да где он?» — подумал опять князь Андрей, глядя на левую сторону дороги и, сам того не зная, не узнавая его, любовался тем дубом, которого он искал. Старый дуб, весь преобразенный, раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого недоверия и горя — ничего не было видно. Сквозь жесткую столетнюю кору пробилась без сучков сочные, молодые листья, так что верить нельзя было, что этот старик произвел их. «Да это тот самый дуб», — подумал князь Андрей, и на него вдруг нашло беспричинное весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое, укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна — и все это вдруг вспомнилось ему.

«Нет, жизнь не кончена в тридцать один год, — вдруг окончательно, беспеременно решил князь Андрей. — Мало того, что я знаю все то, что есть во мне, на-

до, чтобы и все знали это: и Пьер, и эта девочка, которая хотела улечь в небо, надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтоб не жили они так независимо от моей жизни, чтоб на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!»

Такой и поныне этот дуб; под ним проходят другие люди, проходила девушка, которая, наверно, как и я, зачитывается сценой первого бала Наташи.

Жизнь продолжается, движется и пульсирует, и пусть ее ритм стап иной, она продолжается, такая же вечно прекрасная и мучительная, полная противоречий, вопросов, проблем, отношений, горя и счастья, как это было всегда и будет всегда, пока жив на земле человек.

Человеку всегда было свойственно искать и стремиться к совершенству, справедливости и чистоте; мы так же, как и Лев Толстой, всегда будем ненавидеть рабство, ложь, тупость, критически смотреть на себя и мир, чтобы мы и мир становились лучше.

Ошибки Толстого стали теперь достоянием литературоведов. В самом деле, что нам представляется прежде всего имени «Лев Толстой»? Грандиозный художник!

«...Л. Толстой сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе. Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества» (Ленин).

Двери Ясной Поляны не закрываются. Бывают дни, когда до трех тысяч посетителей приходят поклониться могиле Толстого.

Она находится довольно далеко от дома, в густом лесу — «Старом Заказе». К ней ведет широкая, протоптанная дорога (когда-то здесь была едва заметная тропка, по которой Толстой ездил верхом на прогулку). Могила настолько же скромна, насколько человек, похороненный в ней, велик. На краю глухого оврага, под деревьями, — небольшой зеленый холмик без ограды или памятника (так пожелал Толстой), лишь букет живых цветов на нем.

Пусть они никогда не увядают!



ДОРОГА В ЦВЕТУЩИЕ ДОЛИНЫ

Рассказ

Рисунки Г. Калининского.

I. Кто повезет женщину с ребенком?

Эта незнакомая женщина с ребенком на руках подошла к шоферам, когда они переругивались с начальником колонны. Женщина попросила довести ее до Мургаба. На Памир вот уже две недели не было дороги: все перевалы занесло снегом.

Мягкий снег падал всю эту ночь. Утром двор базы парадно белел под солнцем. Начальник колонны Чалин в распахнутом полушубке спозаранку бродил между машинами, оставляя косолапые следы в пуховом снегу. Все утро Чалин тяжело вздыхал и поглядывал в сторону гор.

Чалину было поручено вывезти строительный лес на четырех машинах в горы и в недельный срок построить там склад для хранения взрывчатых веществ. А затем забросить на склад взрывчатку, без которой не могла начать работу разведочная партия.

Давно пора быть на месте и начинать строительство. Но черт знает, как там, за этой розовой дымкой, поживает Памир!

Снег, метели... Ничего себе апрель!

К полудню протаял снег на буграх, двор стал похож на шкуру снежного барса. Струился пар от вытаявших комочков земли. Следы наполнились слезами. С крыши радиорубки с шипением сползла кроха снега и задела по плечу шофера Сашку Федотова. Шоферы, все четверо, сидели у стенки на мокрых, дымящихся, точно отполированных бревнах, от нечего делать лепили снежки и бросали в дверь склада.

Не любит Чалин шоферов: рады, черти, что дороги нет! Он посмотрел на часы: двенадцать. Пора идти за сводкой. Зашел в радиорубку. Радист, слушая писк в наушниках, начеркал карандашом в бланке радиограммы:

«Пурга окончилась. Бульдозеры вышли расчищать заносы на перевалах».

Чалин сгреб листок, выскочил во двор.

— Ребята, выезжаем сегодня! Вот! Пурга окончилась. Чистят перевалы. Выезжаем!

Недоверчивый и осторожный, самый опытный шофер Фокеев молча вытянул листок радиограммы из рук Чалина, достал из кармана очки. В очках, горбоносый и узколицый, он сразу постарел и стал похож на пастора.

— Чистят дорогу? — лениво переспросил Сашка Федотов, разваливаясь на бревнах. — А ты знаешь, начальник, сколько ее надо чистить? — Сашкины глазки посмеивались из-под надвинутой кубанки. — Три дня самое меньшее.

Чалин не умел быть дипломатом.

— Ты мне брось, Александр. Выедем сегодня!

Чалин не доверял шоферам никогда. А сейчас он точно знал, почему они тянут. Один из них, толстогубый и плешивый, Степан Дорофеевич, пригласил их всех погулять на свадьбе своей сестры.

— Так что выедем сегодня! — повторил Чалин и глубже нахлобучил шляпу на голову. — И никаких!

— Больно уж мы скорые! — вроде бы разговаривая сам с собой, произнес Фокеев и снял очки. — Ведь написано русским языком: чистют, — но когда вычистют?

— И куды вправду торопимся? — подхватил Степан Дорофеевич, который целый месяц мечтал погулять у сестренки на свадьбе. — Куды торопимся? Кабы к куме на блины, а то впоремся в снег...

— Слушайте.. надо узнать поточнее! — высказался

и четвертый шофер, узбек Джурабай, вечно обросший, с красными белками.

Шоферы тянули, отговаривались, но они хотя искали серьезные отговорки. А Сашка Федотов начал врать совсем нагло:

— Я, начальник, ехать просто не могу: бензонасос чего-то не работает.

Чалин видел их всех насквозь, он знал их уже пять лет.

— Хорошо, мы поедем без тебя. У тебя машина все равно недогружена, — сказал он Сашке. — А мы сейчас выезжаем.

Шоферы закричали все разом:

— Как же так, чай, колонна!

— Это не по-людски!

— Выезжать — так всем!

— Надо ему помочь!

— Знаю, знаю я, почему вы шумите! — закричал Чалин.

Во время этого шума незаметно и подошла женщина с ребенком. Она спросила:

— Скажите, какая машина идет на Памир?

Все оглянулись.

Она стояла за широченной спиной Чалина, светловолосая, в расстегнутом пальто. На руках у нее спал мальчишка, совсем непохожий на мать: он был смуглый, чернобровый, с гранатовым румянцем.

— Простите, можно узнать, какая машина пойдет в Мургаб? — спросила женщина.

Чалин снял свою измятую шляпу и ударом кулака вывернул ее наизнанку — так он делал в минуты крайней досады.

— Сейчас? В Мургаб? — изображая тревожное изумление, спросил Сашка Федотов. — Что вы, гражданка!

— Какой сейчас Мургаб? — подхватил Степан Дорофеевич, который все еще не терял надежды погулять сегодня вечером на свадьбе у сестренки.

А женщина, не сводя припухших глаз с лица Чалина, коротко и твердо попросила:

— Помогите! Мне нужно обязательно выехать сегодня... И как можно скорее. Скорее...

Просящее ее лицо, простоволосая голова с кое-как заплетенными косами, тонкие руки, прижимающие сына, — все это делало ее похожей на беженку, и верилось, что ей надо выехать скорее, сейчас же!

— Вы едете с мальчиком? — спросил Чалин.

— Да.

— И больше никого?

— Никого.

Чалин повернулся к шоферам.

— Ребята, кто возьмет женщину с ребенком?

— Смешно! — сказал Сашка. — Ребенка нельзя везти по такой дороге.

— Я прошу вас, — тихо произнесла женщина.

— Что нас просить! Вы природу просите, — сказал Фокеев.

— Бога, бога, — добавил Сашка.

— Ну, кто возьмет женщину? — снова спросил Чалин.

Все молчали.

Чалин повернулся к женщине.

— Никто не возьмет вас. Там пурга, морозы. Простите, помочь ничем не можем... Неизвестно, сколько дней придется ехать.

Женщина молчала и не уходила. Она смотрела в землю и точно боролась с чем-то внутри себя, что мешало ей быть настойчивой. Наконец она снова подняла голову и сказала совсем тихо, но еще неистовее, чем раньше.

— Прошу взять меня.

— Гражданка, это смешно! — возразил обросший Джурабай.

— Вы не представляете, что там будет, — заговорил опять Чалин, — снег, мороз, завалы... Может быть, придется ночевать в снегу.

— Трое суток в кабине, — вставил Фокеев.

— Слушайте, хватит трепаться! — Сашка Федотов поднялся с бревен. — Я возьму женщину с ребенком.

— Послушай, друг, ты же не едешь! — смеясь, закричал Чалин, радуясь тому, что Сашка поймался.

— Почему? Я еду вместе с колонной, — не моргнув глазом, серьезно заявил Сашка. — Мне уж больно сын ваш понравился. Шустрой! Как зовут его?

— Амир-бек.

— Уж больно мне Амир-бек понравился! — сказал Сашка весело и подошел поближе к мальчику.

— Замечательный пацан! — заявил Сашка с восхищением.

— Когда вы выезжаете? — спросила женщина, улыбаясь.

— Через час, — сказал Чалин. — Идите скорее за вещами. Да, кстати, оденьтесь потеплей.

— Хорошо, я быстро, — сказала женщина и пошла, и все они смотрели ей вслед, пока она не вышла за ворота.

Тогда Степан Дорофеевич обернулся к Сашке.

— Ну, ты и жук!..

— И бензонасос сразу заработал, — вроде бы разговаривая сам с собой, серьезно сказал Фокеев.

— Нет, бросьте, ребята! — опять разваливаясь на бревнах, сказал Сашка. — Интересно, кто она такая?

— Не видишь, мать-одиночка, — сказал Джурабай.

— Нет, подвезло тебе, Сашка, — ухмыляясь и подмаргивая, пошутил Степан Дорофеевич. — Только вот малец ни к чему...

— Я из-за пацана и ее-то взял, — возразил Сашка и вдруг вскочил, ударил Степана Дорофеевича по шее и закричал с восторгом: — Значит, едем, Дорофеич! И пропью без нас твою сестренку...

II. Я начну жизнь сначала

Женщина с ребенком на руках, выйдя за ворота на улицу, глубоко вздохнула и быстро пошла по влажному, растоптанному снегу.

Впереди в ветвях белых исполинских тополей пылало солнце... Арык, полный снежной воды, вспыхивал под его лучами...

Женщина торопилась, шагала быстро, почти бегом, и через два квартала свернула в белое двухэтажное здание, взбежала по лестнице.

«Скорее... нельзя опоздать! — думала она, открывая дверь квартиры. — Через полчаса обеденный перерыв, придет свекровь, и тогда все пропало. Нужно притворяться, придумывать объяснение, а машины уйдут! Через три дня придет он — и уехать будет совсем нельзя! И тогда все останется, как вчера, позавчера... И все, все, о чем мечталось, все светлое... погибнет совсем, совсем!»

Она положила сына на диван. Он спал спокойно. «И хорошо, что он спит, проснется уже в дороге». Сбросила с себя пальто и осталась в цветастом халате. Косы упали с головы, волосы рассыпались по спине. Она быстро собрала их в пучок, повязалась белым платочком по-деревенски...

«Через полчаса придет его мать... Она все поймет, ее не обманешь! Да и вещи увидит». Вещи! Ведь на-

до собрать вещи в дорогу! Вещами забиты все три комнаты. Это все их вещи, купленные за два года семейной жизни. Это все его вещи. Она не возьмет ни одной. В его комнате разбросаны рубашки, галстуки, платки, утром он собирался на выставку и, как всегда, все расшвырял.

Она достала из-за шкафа потертый чемоданчик, с которым когда-то ходила на тренировки. Вот старый спортивный костюм, тапочки, милые тапочки! Прошло всего три года, а будто сто лет! Точно пылью запылило душу. А вот зеркальце, маленькое, круглое, в зеленом ободке. Любила подолгу смотреть на себя, правда, тайком. Любила себя, гладила по щекам, дура! А сейчас готова себя избить!

А вот и фотография — весь выпуск. Она стоит сбоку, отошла от всех, гордая тихоня, зазнайка!

— Теперь я тебя знаю, — сказала женщина, глядя на себя в зеркало.

«Ты совсем не жила, а всю жизнь играла. Перед собой, перед людьми... И гимнастикой в техникуме занималась, чтобы фигура была лучше, чем у всех, и короткую мальчишескую прическу носила, и принципиально ни губы, ни ресницы никогда не красила, чтобы ни на кого не быть похожей (знала, что и так красива!). Ходила как по ниточке и все думала, думала... о себе... Любила подолгу смотреть в одну точку. Девчонкам в общежитии сказки рассказывала, бывало, до трех ночи (тут же на ходу придумывала) про подземные ходы и египетские пирамиды, о летучем голландце».

И откуда взялось такое страстное самолюбование! Ведь не в замке выросла! Родилась в маленьком городке за Волгой. Когда училась в 10-м классе, мечтала стать геологом. Городок такой маленький, что редко на какой карте найдешь; летом — зной, зимой — вьюги, кругом — неохватные степи. А далеко за Волгой вечерами мерцали огни громадного города. Подолгу смотрела она на эти огни и думала о горах, которых не было в этой степи. Если бы вы знали, как мечтаются вечерами в глухой степи, напоенной теплым полынным запахом: видятся холодные снежные пики, сверкающие горные потоки, водопады!..

Жила Люда вместе с матерью и тетушкой. Отца не знала: погиб на фронте. Мать была вечно занята работой. Воспитывала Люду тетка, старая дева...

Тетка только что вышла на пенсию после работы в школе и всю оставшуюся энергию обратила на племянницу. Тетка любила повторять:

— Труд, только труд, девочка!

Тогда казалось, что только труд — это скучища, а сейчас с каким наслаждением она вспоминает работу в саду, тяжелые ведра, тропинку от колодца!.. Идешь вверх с ведрами, а холодная вода выплеснется на горячие, запыленные ноги в матерчатых тапочках. А запах и вкус вишневого клея, который откусишь прямо от красной веточки и долго жуешь слипающимися зубами! А какие были георгины! Громедные, мохнатые, размером с человеческую голову, они окружали дом, точно живые существа. Двести кустов помидоров поливали каждый день под вечер, когда на улице начинала звенеть гитара, а из парка через море пыльных огородов неслась музыка:

В мире ты, мой друг,
лучше всех...

Это пели о ней и для нее.

Но «труд, только труд» надо было доводить до конца, и лишь когда двести кустов были политы, тетка отпустила ее с наказом:

— Чтобы в половине одиннадцатого была здесь! Почему в половине одиннадцатого, если танцы

кончаются без пятнадцати одиннадцать и тогда все девчонки вместе возвращаются домой?!

После десятилетки она поступила в метеорологический техникум и стала жить в общежитии.

А скоро началось это непонятное и тревожное... Появился Колька. Вот он стоит на фотографии и усмехается чуть-чуть. Был он потрясающе молчаливый. Пятнадцать слов в день, но часто усмехался... Она начинает ему что-нибудь рассказывать, он слушает-слушает, потирая левую ладонь большим пальцем правой руки, и вдруг усмехнется и ничего не скажет.

Был он немного старше других мальчишек в техникуме, но молчаливая вдумчивость и суровое прошлое: детский дом, работа и шрам, рассекающий бровь, — делали его еще взрослее.

Один раз она его спросила:

— Почему ты молчишь?

— Я слушаю людей, — ответил он.

— А я разве не слушаю? — удивилась она.

— Ты слушаешь себя... — сказал он и добродушно улынулся, смягчая улыбку резкостью сказанного.

Она решила тогда, что это игра слов, но сейчас она знает, что Колька был прав.

Их направили работать в Таджикистан, в Управление метеослужбы республики. В управлении им предложили:

— Есть два места: одно на Памире, другое здесь, в управлении.

— Значит, я еду на Памир, — решил Колька.

Они вышли на вечернюю улицу незнакомого города. Было тихо, душно. Они шли под деревьями вдоль арычка, их обгоняли машины, обдавая теплым воздухом. Впереди в густеющем голубом небе над улицей вдруг вспыхнули какие-то зеленые, малиновые буквы, заиграла музыка. Она никогда не была в этом городе, огненные буквы в небе были непонятны и заманчивы, и неизвестно было, где играет музыка, и кто живет на этих улицах, и какое счастье ждет ее здесь. А что счастье, сказочное, как эти огненные буквы, обязательно придет к ней, она была уверена. Об этом кричали на углу и мальчишки-таджики в рваных халатах, протягивая цветы прохожим.

— Возьми тюльпан! — кричали они. — Эй, возьми тюльпан!

А ей слышалось:

«Эй, возьми счастье!»

Колька же шагал рядом с ней насупленный, молчал, думая, наверно, о своем Памире.

— Ну, вот мы и приехали на Памир! — радостно вздохнула она. — Помнишь, как мы мечтали увидеть долины, красные от тюльпанов?

Он ничего не ответил, но она, не видя его лица, знала, что он усмехнулся.

— Ну скажи, что ты подумал? — спросила она.

— До Памира еще далеко, — сказал он. — Туда пять дней идет письмо, если есть дорога. А если дороги нет...

— Поздравляю, ты произнес целую речь! — сказала она, и они рассмеялись.

— Эй, возьми тюльпан! — кричали продавцы цветов.

Он купил несколько тюльпанов и, отдавая ей, сказал:

— Но ты, кажется, думаешь не о Памире.

— Не знаю, у меня в голове сундур, — призналась она. — Мне надо разобраться. Я разберусь.

— Попробуй, — сказал Колька.

— Разберусь, вот увидишь! Ты знаешь, это потому, что я никогда не уезжала так далеко, не видела таких гор, таких вот деревьев, арыков, тюльпанов... Мне кажется, здесь какие-то особенные люди!

Дальше они долго шли молча, и Люда ждала, что он скажет ей еще. Если бы он сказал ей сейчас, что любит ее... Но Колька молчал. Они вышли на окраину города, впереди, за пеленой горячего воздуха, мерцали снегами горы.

— Я тебе сразу же напишу, как только приеду туда,— сказал Колька, помолчал и добавил: — Смотри, на горах снег, а рядом, в городе, жара... Какой здесь резкий микроклимат!

Когда они пошли обратно, Люда сказала печально: — Знаешь, раньше я о чудаках только в книгах читала.

Через два дня он уехал на Восточный Памир и стал работать на высокогорной метеостанции далеко в стороне от автомобильной дороги.

Несколько раз она ответила на его письма и вдруг замолчала.

Работа в управлении метеослужбы оказалась несложной: обобщать сводки, которые приходили с метеостанций. В городе Люда познакомилась с девочками, которые ходили в брюках и носили короткие прически «мальчик без мамы». Среди них она стала задавать тон. Одна подруга, таджичка, познакомила ее со своим братом-художником. Это был высокий молодой человек, быстрый и насмешливый. Звали его Ариф. Он окончил художественный институт, носил стильный галстук, короткий пиджак и говорил, что Репин не художник, а Чайковский не современен. Сам он умел хорошо рисовать, но на своих эскизах удлинял фигуры и делал их плоскими, называя это древнеегипетским стилем. Кроме того, он отлично играл в теннис. Девочки были от него без ума. Люде он тоже понравился своей независимой манерой над всем посмеиваться.

Он говорил ей:

— Нас окружает довольно бездарная проза быта. Надо создавать свой мир. Как говорил поэт, я могу из падали создавать поэмы, я могу из горничных делать королей. То, что нравится миллионам,— это уже пошлость. Все искусство, созданное народом за тысячелетия,— это руда, из которой я, художник, добываю кристаллы поэзии. Я стану выше этой мурaveиной работы поколений, я освобождаю свои руки от наручников тысячелетий.

Ариф стал писать портрет Люды и сначала повел его в египетском стиле, и Люду это страшно забавляло, но потом он увлекся работой и написал ее такой, какая она есть.

Наступила весна. Отпуск, который она когда-то хотела провести вместе с Колькой, она провела с Арифом. Они ездили за город, в Варзобское ущелье, и там вместе собирали цветные плоские камешки. Они были нужны Арифу для его большой мозаичной работы. У Арифа было множество знакомых. Он возил ее в гости, и весь отпуск слился в радужную полосу веселых вечеринок, поездок за город, посещений театров... И вот однажды, когда они ехали в машине, Ариф остановил ее, вышел, стал на одно колено и полушутливо сказал, что не может жить без Люды и что если она не согласится стать его женой, то он навеки останется здесь, на дороге.

Когда они стали мужем и женой, Ариф попросил ее отдохнуть от работы, и она перестала ходить на службу в управление. И началась счастливая, даже слишком веселая жизнь, еще больше поездок к знакомым, вечеринок и тостов. Ариф гордился своей женой, и когда они отправлялись в гости, он демонстрировал ее красоту, точно свое произведение. Он хотел, чтобы она одевалась оригинальнее всех женщин и держалась в египетском стиле. Люду это сначала забавляло, но постепенно она стала чув-

ствовать себя словно выставленной напоказ посреди какого-то торжища.

Потом родился сын. Он был слабый, все время болел, и праздная жизнь оборвалась; точно бред, потянулись тяжкие, бессонные недели, проведенные над изголовьем сына. Пришла вторая весна. Амирбек поправился. Как-то Люда вышла с ним погулять в городской парк. Стоял солнечный, теплый день, кричали воробьи, галдели мальчишки, искрился последний тающий снег. Люда точно впервые видела все это, ей казалось, что она болела и выздоровела вместе с сыном. И теперь, после болезни, она показала себе вдруг постаревшей на десять лет. Мимо нее прошли, смеясь, девушки, наверное, студентки, почти ее ровесницы.

«Смеются... У них все впереди,— вдруг горестно подумалось Люде.— А у меня? Что у меня?» И она вдруг расплакалась.

И потякли воспоминания, которые она невольно отгоняла от себя все эти два года,— об учебе, о дружбе с Колькой. Как же так? Как же так получилось, что жизнь пошла мимо нее? И вспомнились слова матери Арифа, сказанные вскоре после свадьбы: «В нашей семье жена никогда не работает, жена украшает дом». Тогда это показалось милым восточным обычаем, теперь она поняла, что стала женой-безделушкой, женщиной того типа, который она так презирала во времена своей девической свободы.

В тот же день она сказала Арифу, что хочет поступить на работу снова. Ариф шутливо спросил, не собирается ли она сделать служебную карьеру. Он смеялся над ней, как над маленькой. В ней вспыхнула вся ее гордость.

— Ты ничего не понимаешь,— сказала она дрожащим голосом.— Я же училась, я хочу работать метеорологом!

— Зато я этого не хочу!

— Тогда я уеду на Памир и буду работать там!

— Не смеши меня, пожалуйста,— снисходительно усмехнулся Ариф.

— Я уеду завтра же! Ты меня еще не знаешь!

— Не набивай себе цену,— холодно сказал Ариф.

Через два года Колька снова получил письмо от Люды. Она писала о том, что сидит дома одна с сыном. За окном снег, но скоро весна. Она пишет ему уже четвертое письмо за эту зиму. Это письмо он все равно получит, хотя ей и придется согреть от стыда. Но так лучше. Это мостик к прошлому. Она не работает уже два года: родился ребенок, да и муж не хочет, чтобы она работала. Муж и его мать зарабатывают много. Он сам и его мать считают, что он осчастливил Люду.

«Я не знала, что бывает такая тоска. Я ничего не делаю и чувствую себя все хуже, точно меня опускают все глубже в какой-то страшный колодезь без дна... Мы ссоримся уже давно. Я прошу их отпустить меня. Я все время думаю и не могу спать. Ведь я ни разу не видела Памира и долин с цветущими тюльпанами. Есть ли работа у вас на метеостанции? Напиши мне, прошу тебя, напиши мне!»

Так заканчивалось это письмо.

Коля прочитал его у реки в ветреное утро через две недели после того, как оно было отправлено. Листок, вырванный из тетрадки, исписанный ее почерком, ветер рвал у него из рук. Он прочел и долго не мог поверить, что эти бегущие, такие знакомые строчки возвращают ему радужное счастье юности.

Он сел на обрыве и стал бросать в быструю воду камешки. Он забыл набрать воды, вернулся на стан-



«На руках у нее спал мальчишка, совсем непохожий на мать: он был смуглый, чернобровый...» (стр. 24).



«— Ну, как поживаем, малыш? — Сашка подхватил Амир-бека под мышки и стал подбрасывать в воздух» (стр. 29).

цию и написал громадное письмо. Он писал, что думал о ней все эти три года, каждый день, по многу раз в день: и когда, возвращаясь с работы, переходил реки, и когда поднимался, задыхаясь, в горы, и когда сидел с товарищами у приемника. Когда он написал это письмо, он улыбнулся, сложил листки и спрятал в книгу. А потом тридцать километров прошел до Мургаба, где было почтовое отделение, и дал ей такую телеграмму:

«Приезжай. Коля».

Дорога была закрыта. Шли дни. Он не мог спать ночами. Что она делает там, за пятью перевалами? Все время дул ветер, нес пыль, обжигал морозом.

Когда наступала ночь, стихал ветер. Коля выходил к реке. Над черной долиной пылали созвездия, ледисто всхлипывала вода... За угольной стеной гор, где-то над призрачными снегами, вставала невидимая луна—небо изумрудно горело... Начиналась памирская весна.

III. Бешеный Сашка

Чалин, который знал шоферов как свои пять пальцев, дал всем им прозвища. Лопсухого и апатичного Степана Дорофеевича он окрестил Спящим красавцем, строгого и осторожного Фокеева—Академиком, наивного Джурабая, вечно обросшего,—Кутасом, то есть яком, а Сашку Федотову—Бешеным. На Сашку и впрямь порой «накатывало».

В два часа дня колонна вышла. Пока ехали по городу, Сашка вел себя прилично. Но как только проехали глиняные коридоры окраинной улицы и распахнулся холмистый простор, Сашка дал полный и обогнал колонну. Машина ныряла между мягкими холмами, пики тополей неслись навстречу.

От Сашки здорово пахло водкой. Когда машина помчалась на полной скорости, Сашка оживился, точно сам стал жить на этой новой скорости.

— Не люблю я Чалина,—объявил он.—Во-первых, крикун он. И вообще нечеловеческая личность. Он на меня так смотрит, будто я предатель. А разве я предатель? Я просто человек свободы! Вам это доступно понять, извините, не знаю, как вас зовут?

— Людмила,—откликнулась женщина.

— Очень приятно. А меня—Александр... Не люблю я Чалина,—продолжал Сашка.—Я ему не на елке достался, чтобы он меня в бараний рог гнул. Я не желаю в колонне ехать. Они все там друг за дружку держатся, а я плевал... Я вперед устремляюсь, я тихо ехать никак не выношу. А они все там рыскнуть боются, никто из них не рыскнет.

Люда слушала Сашкину болтовню, смотрела, как разворачивается громада мокрых холмов, и чувствовала, что первое восторженное волнение отъезда опять сменяется тревогой.

А какая радость зажглась в ее груди, когда она только что села в кабину и захлопнула за собой дверцу!

«Вот я и начала новую жизнь!»—подумала она тогда гордо.

Она жадно разглядывала и слушала Сашку: ведь он так много раз был на Памире, боролся с заносами, терпел холод и бессоницу на этом громадном плоскогорье. Видел долины, цветущие тюльпанами. Может быть, он даже знает Николая. И она с умилением смотрела на черные, громадные кисти его

рук, с выколотыми на пальцах именем и годом рождения. И она ждала от Сашки, как он проявит свои необычайные «памирские» черты.

Но Сашка продолжал ругать Чалина, остальных шоферов и все повторял, что он «человек свободы» и потому ни в ком не нуждается.

Впереди над голыми горами, напоминающими верблужью спину, тревожно зазлели облака. В оврагах по обе стороны дороги призрачно голубел снег. Чем дальше уходила дорога в эти бесконечные холмы, тем печальнее становилось на душе.

«Куда я еду? Зачем? Сумасшедшая!»—подумала Люда.—Выдумала какой-то Памир, каких-то особых людей... А ничего нет. Голые, мокрые холмы, пьяный, грубый парень... И Колька ответил только как товарищ, сочувствие проявил: вежливое «приезжай»—и все!»

А Сашке делалось все веселее от быстрого полета машины. Когда на дороге появлялись люди, он начинал сигнализировать так, точно разыгрывал мелодию:—Ту-у-у-ту! Ту-у-у-ту! Ту-у-у-ту!

А сын все спал у нее на коленях, спал крепко, только иногда двигал бровями.

Машина вошла в голые, бурые взгорья, рассеченные морщинами оврагов.

В гаснущем свете дня навстречу поползли обрывы из красной глины. Машина, завывая, полезла вдруг вверх, в гору, стараясь нагнать ускользящий свет солнца. Но свет уходил. Наверху, за седлом перевала, играл оранжевый веер лучей... Машина рвалась из тьмы к этим лучам, а они бледнели, расплывались и вот исчезли совсем, оставив только зеленоватое свечение. Оно подернулось пеплом облаков и растворилось в прозрачной тьме.

На перевале Сашка остановил машину и полез в мотор. Люда вышла из кабины. Ветер бросал в лицо холодной пылью. Внизу, впереди, под перевалом, угадывалась голая каменная пустыня. Боже, какая тоска! Ни деревьев, ни надежд, все мертво! Сейчас ей не верилось ни во что, даже в восход солнца.

Она стала спиной к ветру, прикрывая сына, и спросила Сашку:

— Скажите, почему такой ветер?

— Это еще не ветер,—ответил Сашка.—Ветер будет дальше.

Они сели.

Машина дрогнула и пошла вниз. Да, вправду Сашка бешеный! Разве можно на такой скорости мчаться вниз? Свет фар вдруг вырвал и бросил навстречу обрыв, стену земли, в которую мчалась машина. Поворот, стена прыгнула в сторону, и перед глазами уже небо, пустота...

— Не люблю я тихо ездить,—бормотал Сашка, налегая на баранку.—Это пусть Чалин ползет. Не люблю я Чалина!

Когда машина спустилась в долину, не было ничего видно, только иногда на обочине дороги появлялись камни размером с дом.

В смотровое стекло стали ударять первые снежинки. Сашка все жал. Он не остановился даже около вагончиков дорожных строителей, хотя там навстречу машине выбежал какой-то человек и стал кричать, размахивая рукой.

Люда высунулась из кабины и уловила слова, смятые ветром:

— Э... про-еде-шь! Нет до-ро-ги-и!.. О... ро... ги...

Сашка только хмыкнул.

У Люды тревожно заколотилось сердце.

— Что он сказал?—спросила она Сашку.—Кажется, нет дороги?

— А... ерунда!—Сашка сдвинул кубанку на заднийлок.

Люда испугалась.
«Ехать с ребенком в ночь, когда нет дороги... около этого бесшабашного парня!»

И вспомнилось, как Чалин перед выездом сказал Сашке:

— Смотри, Федотов, уймись! Я бы к тебе вообще пассажиров не сажал... Бешеный черт!

Снег вдруг посыпал из темноты белым роем.

— Куда мы едем? — спросила Люда.

— На перевал, — ответил Сашка. — Попробуем!

Машина опять пошла вверх, завыл мотор, ветер хлестал по стеклу снежными крыльями.

Сашка вдруг остановил машину, вылез из кабины и исчез в темноте. Потом появился с двумя камнями и бросил их в кузов один за другим. В кабине загрохотало, а Сашка пропал снова и, невидимый в темноте, стал швырять еще камни. Люде показалось, что по машине бьют гигантским молотом. Грохот, лязг, свист ветра, пыль — и эта бессмысленная погрузка камней среди ночи... Спьяну, что ли?

Амир-бек завозился и тонко заплакал. Люда высунулась из кабины, прокричала, чуть не плача:

— Послушайте, слушайте, что вы делаете?

Гром смолк.

Сашка подошел.

— Вам чего?

— Зачем вы кидаете эти камни?

— Догружаю машину. Легкая, так не пройдет.

Амир-бек заплакал еще громче.

Сашка огорчился:

— Ой, пацан, не плачь!.. Сейчас поедем.

Они псехали. Амир-бек плакал все громче. Люда молчала, закусив губу.

Сашка повздыхал, повздыхал виновато и пробормотал:

— Может, ему сахару дать?..

— Он испугался.

— Что же делать-то, а?

— Не могли осторожнее положить ваши камни! Я сама испугалась: думала, обвал.

Сашка стыдливо засмеялся и почесал в затылке.

«Ему смешно еще!» — подумала Люда гневно.

Амир-бек плакал тихо, уткнувшись ей в грудь.

Машина скоро начала вязнуть в свежем снегу. На повороте она стала буксовать, и Сашка выключил мотор. Посидели в тишине, слушая вой ветра и грустный плач Амир-бека.

— Что ж, пацан, поедем обратно? — спросил Сашка мальчика.

Амир-бек замолчал и засопел, засыпая.

Они спустились обратно в кишлак уже к полуночи и около одной кибитки увидели свои машины.

— Сейчас Чалин будет ругаться... — предупредил Сашка и стал стучать в дверь. — Не люблю я Чалина.

Открыл им киргиз в кальсонах, в халате внакидку. В низкой комнате шоферы спали вповалку на полу.

Чалин сидел у стола и при свете керосиновой лампы читал книгу. Его косматая голова светилась, как у святого, багровое лицо было страшно.

— Привет из Крыма! — сказал Сашка, вваливаясь в комнату.

— Сволочь ты, Федотов! — выговорил Чалин, медленно и с треском захлопнул книгу.

— Но, но, полегче! — сказал Сашка, ложась на пол у порога.

— Я тебе покажу полегче! — закричал Чалин.

— Потихе, не кричите! — попросила Люда. — Мальчик уже заплакал сегодня. Где мне его положить? Мы устали.

Чалин встал.

— Положите его сюда, на мой спальный мешок.

IV. По льду

Рано утром, когда Сашка вышел на улицу, в кишлаке уже дымили трубы, сбиваясь в кучу, носились по улице бараны и за ними бегал мальчишка-чабан в тяжелых сапогах. Две собаки, повизгивая и хрипя, дрались под Сашкиной машиной. Двери кибиток были открыты, и в них появлялись киргизы, кричали что-то друг другу, смеялись.

Низкое, белесое небо прятало в облаках вершины гор... У Сашки было мутно на душе от вчерашней лихости, от этого плоского неба, от того, что опять он попал в колонну и теперь Чалин не даст ему быстрого ходу.

А тут еще эти собаки! Сашка нагнулся, чтобы ошарашить их камнем. Когда разогнулся, — увидел пассажира с сыном. Они поднимались от реки. Мальчик шел своим ходом, держась за руку матери.

Он был в полосатых таджикских штанах, в тубетейке и маленьком матросском бушлате. В свободной руке он держал лепешку и визжал от восторга. Лицо у него было тоже вроде лепешки, круглое, поджаристое.

— Ну, как поживаем, малыш? — Сашка подхватил Амир-бека под мышки и стал подбрасывать в воздух.

Мальчик завизжал еще радостнее и ударил Сашку лепешкой по лицу. Сашке это очень понравилось. Он посадил Амир-бека на громадную свою ладонь и поднял вверх. Мальчик захлебнулся смехом.

— Опустите, опустите сейчас же! — с ужасом закричала Люда и приподнялась на цыпочках, протягивая руки к сыну.

Платок сполз у нее на плечи, открылась тонкая шея, скуластое порозовевшее пятнами лицо с робкими веснушками.

Сашка вдруг увидел, какая она молоденькая, совсем девчонка. Ему стало весело, отчего-то захотелось опять помчаться на перевал.

— Сейчас выезжаем, Амир-бек! — заорал он, подкидывая мальчика еще выше. — Едем! Собирайся скорее, мамаша! Едем!

На Сашкины крики вышел из кибитки Чалин, сказал скрипуче:

— Слушай, Федотов, если ты оторвешься от колонны, я тебя отправлю обратно. Выедем все вместе, организовано. Впереди Кара-Куль, нужно помнить!

Сашка враз поугрюмел, отдал мальчика матери, залез в кабину, надвинул кубанку на глаза и установил в одну точку, думая: «А, пропадите вы все пропадом!»

Выехали все вместе, колонной. Сашка тащился сзади, нарочно отставая, и иногда бормотал что-нибудь вроде:

— Кара-Куль, подумаешь! Боюсь я твоего Кара-Куля! Ездили мы и по Кара-Кулю...

— Что значит Кара-Куль? — спросила Люда.

— Черное озеро. Там, говорят, всю дорогу замело.

— Ну и как же?

— По озеру поедем.

— Как? По льду?

— Ну да, по льду.

— А озеро маленькое?

— Да нет, подходящее... Километров двадцать ехать через него.

— Двадцать километров по льду?
— По льду.
— А лед толстый?
— А кто его знает!
— А там всегда ездят?
— Зимой ездили.
— А сейчас, весной?
— Давно уж не ездили, мы сюда первые прорвались.

— А объехать нельзя?

— Никак.

Люда притихла.

Машина шла по извилистой долине, засыпанной камнями. Похоже было на то, что здесь великаны, дети великанов играли в войну, кидали друг в друга камнями, делали из камней крепости и баррикады. Великаны были, конечно, выше гор и сгребали эти глыбы в кулаки, как речную гальку. Они, наверное, бегали друг за другом и, перепрыгивая через хребты, задевали их ногами, и горы осыпались...

Потом пошли холмы, уставленные рядами камней в унылом порядке, напоминавшем кладбище.

И неожиданно на повороте с холма глянул на Люду совершенно небывалый камень, искусно обработанный ветрами; в нем угадывались и глазницы, и изгибы рук, и крик раскрытого рта.

За весь день не попалось ни одного деревца, только камни, горы, пласты; застывшая в судороге земля... Люда пристально вбирала в себя все бегущее навстречу, подавленная этой безмолвно рассказанной историей потрясения земли... Сама себе она казалась все меньше и несомнее. Машина уже была спичечной коробкой... А Амир-бек! Точка... ее не увидишь в этом каменном океане! И призрачнее казались вся ее собственная жизнь, глупые надежды.

Да, она сама, затерянный где-то Колька, ее Амир-бек, Сашка с его машиной — все были маленькими, но тревожное ожидание, наполнявшее ее сердце, наоборот, становилось все больше и острее.

Сашку одолевали чувства другого рода. Он припоминал все обиды, которые претерпел от Чалина.

Пути Чалина и Сашки часто сталкивались. Взрывник и шофер не раз схватывались друг с другом, и все вроде бы из-за пустяков. Однажды Сашка должен был везти Чалина и груз взрывчатки в партию. Сашка только что вернулся из дальнего рейса и предложил Чалину для отдыха хватануть хотя бы чайку в чайхане на пути. Чалин не разрешил. Сашка божился, что они нагонят это время в дороге. Чалин заставил Сашку проехать мимо чайханы. Словом, Чалин любил подчинять себе людей, а Сашка не любил подчиняться.

В прошлом году, например, Чалин не позволил ему подвезти на базар киргиза с десятью баранами. Сашка уже начал их грузить, а Чалин влез в кузов, схватил барана за рога и выволок его. Сашка ему это припомнит. А горы ничуть не интересовали Сашку: зимой и летом одним цветом; ни травы, ни растительности... Разве это природа?

Амир-бек, который давно проснулся, тоже был недоволен. Ему хотелось слезть с колен матери, покрутить баранку, потрогать разные штучки, которых было полно в кабине. Но всякий раз как он протягивал к ним пальцы, мать совала ему в руку надоевшего резинового мишку. Как будто он, Амир-бек, такой тупой, что должен бесконечно возиться с этим мишкой.

Так как Сашка демонстративно отстаивал весь день от колонны, в сумерках они оказались одни в какой-то степи.

— Скоро Кара-Куль, — сказал Сашка.

Вскоре фары нащупали в темноте кузова машин.

Колонна стояла на дороге. Люда выбралась из кабины и, пошатываясь от усталости, подошла следом за Сашкой к машинам. Чалин и шоферы ходили около дороги и что-то искали. Видны были только огоньки их папирос. Степан Дорофеевич сидел у дороги, согнувшись, неподвижно, точно камень.

Чалин выругался в темноте и спросил раздраженно:

— Где же все-таки поворот?

— Вы же ездили тут, — оправдываясь, ответил ему голос Фокеева.

— Рази ночью разглядишь? — сказал Степан Дорофеевич.

— Вы же ездили! — повторил Чалин.

— Вы тоже ездили, — огрызнулся Фокеев, и Люда почувствовала, что все устали, а Чалин не понимает этого.

— Рази ночью разглядишь? — повторил Степан Дорофеевич.

Чалин вышел из темноты на дорогу, за ним следом брел Джурабай, почесывая заросшую щеку.

— Вы как бараны... можете ехать, только когда вам покажут, куда! — сказал Чалин, набрасываясь на неповинного Джурабая. — Сколько лет ездите и ни черта не помните!

Шоферы молчали; они стояли вокруг, глядя кто вбок, кто под ноги, и теперь уже все походили на камни. Им просто хотелось передохнуть и еще больше, наверно, хотелось, чтобы Чалин поговорил с ними по-доброму, тихо спросил бы совета.

Чалин же считал, что знает «шоферную» и если на них не кричать, то и добра не видать.

— Бараны вы и есть, черт подери! — повторил он. — Не знаете — тогда едем. Едем! Я вспомню поворот. Мне дорожное дело, не то что вам... Я поеду в первой машине, с Джурабаем. За мной Фокеев, затем Степан Дорофеевич и Федотов. Предупреждаю, когда выедем на лед, ехать друг за другом на расстоянии двести метров, ни в коем случае не обгонять друг друга, не останавливаться! Ясно?

Все молчали.

— Поехали! — крикнул Чалин, точно на собрании.

Машины тронулись и свернули с дороги в холмы.

Под колесами скрипела галька. В ложбинах лежал снег. Машины долго петляли по пустыне, и наконец впереди забелело, скрежет исчез, и колеса въехали на ровную, как стол, плоскость. Лед! Лед бежал навстречу из темноты. Сначала припорошенный снегом, затем прозрачный, легкий... Люда пришла к груди Амир-бека, подалась вперед, словно старалась увидеть, какой он, этот лед. А Сашка сидел, развалившись, будто ехал по чуждому настилу. Все это было скучно — тащиться по чуждому следу.

— Чего они так ползут, как на похоронах? — сказал он и плюнул через боковую дверцу на лед.

— А разве медленнее хуже ехать? — спросила Люда.

— Обязательно.

А кузов машины впереди совсем остановился. Сашка дернул тормоз, машина точно на лыжах прокатилась по льду и стала.

— Зачем вы стали? Ведь нельзя останавливаться! — воскликнула Люда.

— Пойду посмотрю, чего у них там стряслось. — Сашка лениво спрыгнул на лед.

Люда приоткрыла дверцу и высунулась.

Вся колонна стояла словно на листе стекла, таком чистом, что он отражал машины и цифры на бортах. Во все стороны в черноту уходил бесконечный лед. Гор не было видно, только лед и окоченевшие звезды, но в небе даже было бы уютней, чем на этой отполированной ветрами глади воды.

Все столпились около передней машины. Джурабай кричал, пробую ногой лед:

— Трещит! Я же слышу своими ушами! Зачем мы едем?

— Нельзя же останавливаться, болван! — кричал Чалин. — Ты же хуже сделал!

— Я не поеду, — плачущим голосом ответил Джурабай и показал обеими руками вперед, в черноту. — Что там впереди, какой лед, ты знаешь, да? Днем надо ехать, днем! Какой дурной башка ночью ездит, когда весна начался?

— Да стоять же хуже! — сдернув с себя шляпу и выворачивая ее ударом кулака, закричал Чалин. — Садись сейчас же, ехай! Ехай быстро, быстро, быстро!

— Нельзя туда ехать! Лед трещит!

И вдруг Люда увидела, что Сашка бежит обратно. Он плюхнулся на сиденье, включил сцепления, и машина рванулась вперед мимо колонны.

— Быстрее, быстрее нужно! — крикнул Сашка шоферам на ходу. — Давай за мной! Давай!

Лед летел навстречу — сверкающий, янтарный от света фар. Прижимая к себе Амир-бека, чувствуя гуркие, растущие удары сердца, Люда думала:

«Господи, да когда же кончится этот лед? Он сказал: двадцать километров! Стрелка ползет по спидометру, скорость 60... 70... Проехали, наверно, пять... Зеркальная плоскость, чуть пересеченная только перьями снега, все мчит и мчит под машину. Как похоже на каток! Может быть, это я лечу на коньках? Только какой темный каток! И какой промадный! Самый большой в мире! И такая скорость! Я не могу так лететь на коньках: я упаду. Это оттого, что здесь высоко, и становится плохо без воздуха, и всякая ерунда лезет в голову...»

Здесь очень, очень высоко — четыре тысячи метров! Здесь не хватает воздуха! Каток под самыми звездами. Высокогорные озера, видимо, очень глубокие, сотни метров. Сотни метров под нами. Ой, что со мной? Все плывет...» И, чувствуя, что ей делается совсем худо, Люда поднимает к своему лицу теплое лицо сына.

Он дышит ровно, легким теплом обдаёт ее стынущие губы. Ему хорошо; ему очень спокойно, и от этого ей делается лучше.

А Сашке по душе такая езда. Здорово! Это малость похоже на жизни! Только вот пассажирка что-то приуныла... Конечно, боится, поди... Да, ей совсем плохо!

— Ну, как поживает наш пацан? — спрашивает Сашка и свободной рукой из кармана ватных брюк достает стеклянную баночку с крышкой и подает Люде. — Вот, забыл. Ананасное пюре, понимаете. В городе купил перед отъездом еще. Я потому взял, что сроду такого не встречал. Видел яблочное, абрикосовое, а из ананасов — нет...

— Спасибо, — отвечает Люда и сжимает баночку в кулаке.

— Ананасов не ел я никогда, — продолжает Сашка. — Это, конечно, хуже натуральных ананасов, но все же из тропических плодов!

— Конечно! Это очень редкое пюре. — Люда смотрит на спидометр: «Пятнадцать... шестнадцать... Господи, да скоро ли?»

Сашка поворачивается, смотрит в заднее окошечко и, довольный, говорит:

— А все за нами жарят.

Но вот под колесами скрип, и первый толчок о бугор. И каким матерински ласковым показалось грубое прикосновение земли!

— «...И в воздухе сверкнули два ножа!» — запел Сашка.

V. Последний перевал

«Ну вот, самое трудное позади», — подумала Люда и прикрыла глаза. Ей вдруг смертельно захотелось спать. Она прислонилась к дверке, уткнулась лбом в холодное стекло и заснула.

Сашка покосился на женщину; спящее лицо с полуоткрытым ртом, освещенное снизу, с запавшими глазницами было точно мертвое. Сашке стало не по себе, он завозился, зевнул и вдруг обиделся на нее: заснула себе, а ему ведь тоже хочется спать! Хуже нет, когда ночью рядом спят в кабине. Ты крути баранку как проклятый, а они спят и не чешутся, а тут глаза сами слипаются, будто их кто склеивает.

«Спите? Ну и я посплю!» — решил Сашка и оставил машину.

Женщина сразу проснулась.

— Мы приехали? — спросила она.

— Не совсем, — ответил Сашка. — Еще один перевал.

— А где же остальные?

— Наверное, заехали ночевать... после озера в кишлацишке.

— А вы что же?

— Я не хочу спать, — сказал Сашка, и ему правда не хотелось спать, когда она разговаривала с ним.

— Мы поедем одни через перевал?

— Попробуем.

Скоро с обеих сторон машины потянулись стены из снега. Сашка убавил скорость и объяснил:

— Стенки могут обвалиться.

Перед рассветом началась пурга. Воздух наполнился серебряным сиянием, и чем светлее становилось, тем сильнее сверкало все вокруг от невидимого солнца.

Становилось все холоднее. Машина шла вверх по дымящемуся снежному коридору.

Впереди на дороге замаячило что-то темное.

— А ведь это машина! — удивился Сашка. — Откуда она взялась? Стоит.

На дороге стоял полузанесенный грузовик, прижавший на одно колесо.

Когда Сашка подбежал к кабине, навстречу ему вылез сутулый темнолицый человек в завязанной шапке-ушанке. На его обросшем, прохваченном морозом лице васильками сияли голубые глаза.

— Что, браток, давно засел? — спросил Сашка деловито, подавая руку.

Шофер застрявшего грузовика улыбнулся, с усилием раздвинув застывшие губы.

— Пятые сутки, друже, — медленно, силло ответил он, не выпуская Сашкиной руки из своей, точно из этой руки переходило к нему тепло.

— Дошел до ручки, я вижу? — сказал Сашка, доставая папиросы.

Шофер только кивнул и опять мучительно улыбнулся.

Сашка вставил ему в пальцы папиросу. Шофер прикурил, выпустил дым.

— Подшипники полетели к черту. Ничего не сделаешь!

— Чего же ты здесь сидишь?

— У меня взрывчатка, — с трудом выговаривая слова, ответил голубоглазый. — Сам понимаешь! Куда я пойду от нее?

— А как там, на перевале?

— Проезжал тут один оттуда позавчера, сказывал, неважно.

— Ну, мы попробуем,— решил Сашка.— А сейчас пойдем-ка.

Сашка пошел к своей машине вместе с голубоглазым.

Тот увидел в кабине женщину и сказал со своей мучительной медленной улыбкой:

— Доброе утро!

— Здравствуйте! — сказала Люда приветливо, чувствуя с ужасом, что она не может оторвать взгляда от этих нежных, как васильки, глаз на темнsm, омертвевом лице.

— У вас не обморожено лицо? — спросила она.

— Нет. Это высокогорный загар, я всю зиму ездил здесь,— объяснил шофер.

— Вот забирай,— сказал Сашка и подал голубоглазому пять банок.— Тут тушенка, мясо. И еще возьми и это.— Он достал из-за сиденья красный термос.— Здесь горячий чай, зеленый.

— Спасибо,— сказал голубоглазый и, так как руки у него были заняты банками, прижал термос локтем.

— Мы попробуем все-таки,— сказал Сашка.— Следом едут наши ребята, отдашь им термос. Ну, пока. Жди трактора.— Сашка помолчал, поколебался, достал из кармана пачку «Беломора», сунул ее тоже голубоглазому в карман ватника.— Ну, бывай!

Сашка сел в кабину. Люда все смотрела в глаза шсфера. Она поняла, почему они так светятся: ведь в них отражается столько снега!

Сашка уже включил мотор, когда голубоглазый что-то крикнул. Сашка открыл дверцу.

— Ты чего?

Шофер указал подбородком на термос.

— Возьми термос. На перевале черт-те что может случиться! Возьми.

Сашка оглянулся на Люду, спрашивая ее взглядом.

— Ему нельзя без горячего,— шепнула она тихо.

— Ты без горячего концы отдашь,— сказал Сашка.— А мы к обеду дома будем. Обойдемся.

Машина, завывая, лезла вверх по серпантинам. Стало теплее. Небо очистилось; слева шел обрыв, справа, во вырастая, то опадая, плыла стена снега. Показалось солнце.

— Весна! — сказал Сашка и указал на метровые сосульки, которые свисали со снежного карниза.

К полудню машина вползла на перевал. Сашка, не останавливаясь, начал спускаться. Было солнечно, тихо и мирно, но хуже пурги пугало это праздничное сверкание снега... Сашка беспокоился: почему нет ни одной встречной машины?

Три-четыре поворота по дороге вниз под нависшими балконами снега, и Сашка увидел, почему не было ни одной встречной машины. Дорогу преграждала баррикада из снега. Искристые пласты, кубы, осыпи из снега сползли на дорогу справа. Завал был длинный: обвалилась снежная стена на протяжении метров двадцати.

— Начинаются дни золотые,— сказал Сашка.— Завал.

— Ну и что? — спросила Люда простодушно. Она не понимала того, что знал Сашка: как трудно выйти машине задним ходом обратно. Она не понимала, что вся стена справа, подогретая солнцем, подтаявшая снизу, может завалиться на машину в любую минуту.

— Поедем назад,— сказал Сашка, стараясь не спешить.— Будем пятиться до поворота.

Машина пошла вверх задним ходом; она ползла

медленно, медленнее, чем шел бы человек... Сашка, высунувшись из кабинки, следил за дорогой сзади. И вот, не веря своим глазам, он увидел... балкон из снега покачнулся и, ломая сверкание сосулек, сполз на дорогу, и, пока Сашка остервенело тащил на себя ручку тормоза, следом за дальним балконом рухнул второй, ближе к машине; снежный навес, сбываясь, шел на машину.

— Не везет! — сказал Сашка.

И тут же машина дрогнула от напора лавины, зазвенел лед в дверцу, и снег прильнул снаружи к боковому стеклу, покрыл радиатор. Затем стало тихо; только в разгоряченном моторе шипел тающий снег.

Сашка выругался и попробовал открыть дверцу — снег прочно прижимал ее снаружи.

Сашка повернулся к Люде.

— Придется вылезать с вашей стороны.

Люда сидела, втянув голову в плечи, точно ожидала, что сейчас обвал обрушится ей на голову.

— Ну, давайте я вылезу,— сказал Сашка.

— Я выйду сама,— прошептала она.

— Только осторожно,— предупредил Сашка.

Люда приоткрыла дверцу и увидела под ногами обрыв; машина, казалось, висела в воздухе. В густом, почти фиолетовом небе пылало косматое солнце. Резала глаза яростная белизна, внезапно закружилась голова. Люда прислонилась к борту, прикрыла глаза. Рядом оказался Сашка, взял ее за локоть.

— Сядьте в кабину, не смотрите вниз, посидите.

Она села в кабину.

Сашка полез за лопатой. Снег попал даже в кузов. Хорошо, что догрузил машину камнями: снегом могло сдвинуть ее в обрыв.

Снег лежал впереди, сзади и слева — вровень с кузовом. Сашка вонзил лопату в снег.

— У, сволочь,— бормотал он, раскидывая громадные куски,— видел бы я тебя в гробу!

Сашка мял снег ногами, резал, кромсал лопатой, выволакивал сосульки и швырял их в обрыв, точно поленья. Наконец он вырыл целую комнату против своей стороны и распахнул дверцу.

— Ну, вот и порядок! — крикнул он весело, чтобы приободрить женщину.

Но она не отозвалась. Она сидела неподвижно, отклонив голову в угол.

Амир-бек сполз с ее колен и, схватив за рукоятку скоростей, дергал ее.

Сашка взял Амир-бека на руки и спросил Люду:

— Что, устали?

Она не ответила.

Сашка тронул ее за руку, шуточно сказал:

— Хватит спать!

Люда молчала.

Сашке стало жутко, по спине дернуло холодком.

— Да что с вами?

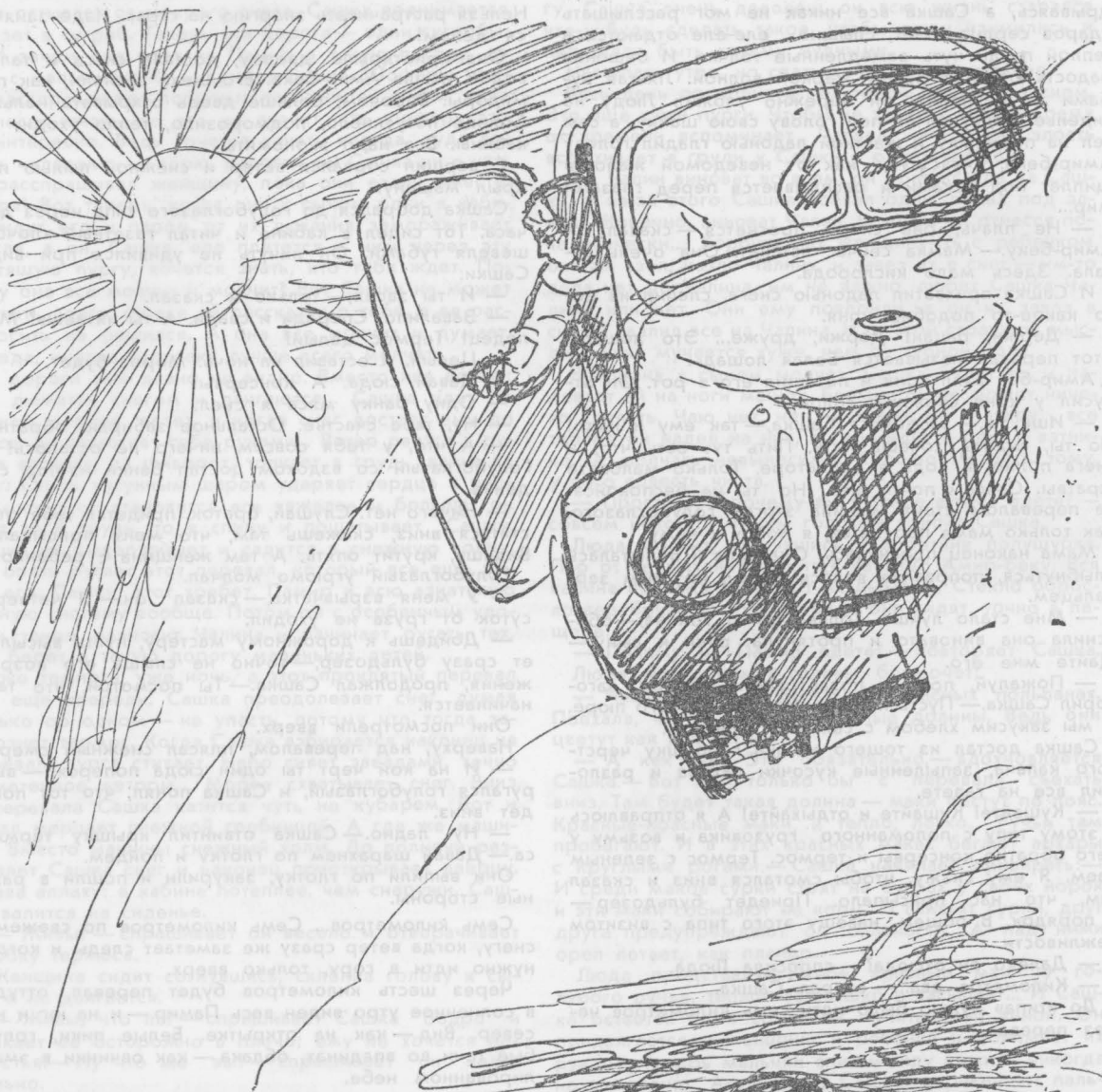
Он зачерпнул ладонью снега, растопил его в руках и осторожно брызнул ей в лицо. Она не шевельнулась... Амир-бек вдруг заревел в голос:

— Ма-а-а... ма...!

Сашка ни разу в жизни не видел, чтобы люди падали в обморок. Как умирают люди, случалось видеть, а вот обморок... А может, и не обморок? Он нагнулся к ее лицу. Одной рукой покачивая ревущего Амир-бека, другой растегнул пальто, дрожащими пальцами никак не мог ухватить скользкие пуговички кофточки...

«Это горная болезнь... Высота здесь — четыре шестьсот, не хватает воздуха», — крутились бесполовые мысли.

Приложил голову к ее груди — ничего не было слышно. Сердце не стучало! Сашка стацил с головы шапку, теснее прижал ухо. Мальчик кричал, на-



«Люда приоткрыла дверцу и увидела под ногами обрыв; машина, казалось, висела в воздухе» (стр. 32).



«Сашка не выдерживает и садится в снежную волну» (стр. 35).

дრываясь, а Сашка все никак не мог слышать ударов сердца... Нет, слышно... еле-еле отдаются в теплой груди чуть замедленные толчки. И бешеная радость окатила Сашку жаркой волной. Лязгая зубами от волнения, он бережно уложил Люду на сиденье, подsunул ей под голову свою шапку, а сам сел на подножку и жесткой ладонью гладил голову Амир-бека, чувствуя, как от неведомой жалости щиплет под веками и расплывается перед глазами мир...

— Не плачь, она скоро проснется,— сказал он Амир-беку.— Мамка сейчас встанет. Она очень устала. Здесь мало кислорода.

И Сашка прихватил ладонью снега, слепил из него какое-то подобие коня.

— Держи, пацан! Держи, друже... Это лошадь. Этот перевал называется Белая лошадь.

Амир-бек взял коня и потащил его в рот. Он откусил у коня снежную голову.

— Ишь ты,— засмеялся Сашка,— так ему и надо! Но ты, видать, хочешь пить. Пить тут есть что: и снега полно, и вода в радиаторе. Только маловато жратвы. Совсем почти нет. Но ты не беспокойся: за перевалом стоит машина этого, голубоглазого. Как только мама проснется, я пойду к нему.

Мама наконец проснулась. Она села и попыталась улыбнуться, поправляя волосы перед круглым зеркальцем.

— Мне стало лучше. Только болит голова,— объяснила она виновато и протянула руки к сыну.— Дайте мне его.

— Пожалуй, пора и позавтракать,— бодро заговорил Сашка.— Пусть пацан поест ананасового пюре. А мы закусим хлебом с сахаром и снегом.

Сашка достал из того мешка горбушку черствого калача, запыленные кусочки сахара и разложил все на газете.

— Кушайте! Кушайте и отдыхайте! А я отправлюсь к этому типу с поломанного грузовика и возьму у него обратно консервы и термос. Термос с зеленым чаем. Я ему скажу, чтобы смотался вниз и сказал там, что нас присыпало. Приедет бульдозер — и порядок. В общем, навещу этого типа с визитом вежливости.

— Далеко он отсюда? — спросила Люда.

— Километра два... — соврал Сашка.

До «типа» нужно было идти семь километров через перевал.

VI. Термос с зеленым чаем

— Вы разбираетесь в машине? — спросил Сашка Люду, прежде чем отправиться с «визитом вежливости».

— Нет.

— Жаль. Ну ладно.— Сашка снял с себя полушубок.— Вот наденьте и не спите ни в коем случае. Я приду часа через два, три...

Сашка не зря спросил Люду, разбирается ли она в машине: он оставил в радиаторе воду. Это было рискованно. Если ударит мороз, вода замерзнет и может разорвать радиатор. А сама Люда прогреть мотор не сможет. Поэтому придется поторавливаться, чтобы вернуться раньше, чем замерзнет вода.

Оставшись одна, Люда почувствовала себя спокойно и твердо. Теперь и в обморок упасть нельзя.

Нельзя растрчивать энергию на страх. Надо заняться делом!

Она приоткрыла дверцу, достала снега и талой водой умыла Амир-бека. Его щеки засияли, как помидоры. Впрочем, больше дверь открывать нельзя. Солнце потускнело, подморозило, тепло уходит из кабины. Все надо экономить.

С вершин сорвался ветер и снежной пылью покрыл машину.

Сашка добрался до голубоглазого типа через два часа. Тот сидел в кабине и читал газетный клочок, шевеля губами. Он ничуть не удивился при виде Сашки.

— И ты засел,— только и сказал.

— Завалило. Спереди и сзади. А ты читаешь? Молодец! Термос целый?

— Целый. Я оставил на ночь. Мороз будет.

— Давай сюда. А консервы?

— Сдну банку мяса я съел.

— Ну, твое счастье. Остальное забираю обратно.

— А что, у тебя совсем ничего не осталось? — Голубоглазый со вздохом достал банки из-под сиденья.

— Ничего нет. Слушай, браток, придется тебе спуститься вниз, скажешь там, что меня присыпало. Видишь, крутит опять. А там женщина с ребенком. Голубоглазый угрюмо молчал.

— У меня взрывчатка,— сказал он.— Я четверо суток от груза не уходил.

— Дойдешь к дорожному мастеру, пусть высылают сразу бульдозер,— точно не слыша его возражения, продолжал Сашка.— Ты посмотри, что там начинается.

Они посмотрели вверх.

Наверху, над перевалом, плясал снежный смерч.

— И на кой черт ты один сюда поперся? — выругался голубоглазый, и Сашка понял, что тот пойдет вниз.

— Ну ладно.— Сашка отвинтил крышку термоса.— Давай шараннем по глотку и пойдем.

Они выпили по глотку, закурили и пошли в разные стороны.

Семь километров... Семь километров по свежему снегу, когда ветер сразу же заметает следы и когда нужно идти в гору, только вверх.

Через шесть километров будет перевал, оттуда в солнечное утро виден весь Памир — и на юг и на север. Вид — как на открытке. Белые пики, голубые тени во впадинах, облака — как овчинки в эмалированном небе.

А сейчас куда-то к черту исчезли в снежной кутерме и горы, и небо, и юг, и север. Сашка не смотрит по сторонам, он уставился вниз, для него теперь в мире существуют только ноги, которые он еле-еле вытаскивает из снега.

Еще есть термос, термос с зеленым чаем. И кто это придумал термос? Сашка с благодарностью думает о неизвестном человеке, который изобрел термос. Потом он начинает думать о мальчике. Наверно, он снова спит на руках у матери. А в кабине все холоднее. Старая кабина, продувает ее, как решето. И некому прогреть мотор. Вода, пожалуй, уже замерзла. Вот баба, ничего не понимает, даже мотор не может прогреть! Если замерзла вода,— хана! А мороз дерет все крепче. Надо быстрее! Сашка пробует прибавить шаг, ноги вязнут уже выше колен. Снег сечет лицо, дышать нечем, сердце бьется о ребра чугунным шаром, а воздуха совсем уже нет; еще шаг — Сашка садится в снег и начинает длинно ругаться. Ругается он и в бога, и в снег, и в Памир... Костерит он и «эту бабу», которая на черта сдалась ему! Но вот сердце успокаивается, разгоряченное

лида остывает от мокрого снега. Сашка поднимается и лезет в сугроб. Теперь вся дорога — одни сугробы.

«И зачем она едет на Памир в такую погоду, да еще с мальчишкой?» — думает Сашка. Шоферы редко расспрашивают попутных пассажиров о том, куда их несет жизнь, но это не значит, что шоферы это не интересно. Ведь хочется узнать иногда, куда везешь человека, — к горю, радости ли! Сашка ни о чем не расспрашивал женщину, пока они ехали вместе. А зря! Вот теперь, когда они с сыном одни в кабине ждут его и паром от их дыхания замораживает стекла, а он, Сашка, еле плетется к ним через эту крутящую пургу, хочется знать, кто тебя ждет. Почему она все молчит и молчит? Вот Сашка не может молчать долго, он все ей рассказал о себе, а ее спросить не решился. А она все молчит и думает. Правда, иногда человеку лучше всего молчать.

А дороги уже давно не видно. Вместо нее волны; они дымятся снегом и двигаются... Сашка идет по волнам, вернее, лезет, и когда ему достает ему до пояса, он помогает себе руками... Ветер рвется в рукава ватника, за шиворот, толкает в грудь, валит на снег. Опять чугунным шаром ударяет сердце в ребра, шар этот становится все тяжелее и больше; он бьет то в грудь, то в спину и пошатывает Сашку. Сашка не выдерживает и садится в снежную волну. Он опять ругает этот перевал, который все еще выше его, Сашки, этот хребет, Памир и всю азиатскую горную систему вообще. Потом он с особенным удовольствием разносит Чалина и начинает ругать тех, кто берет в такую дорогу маленьких детей.

Уже темнота, уже ночь, а этот проклятый перевал все еще впереди. Сашка преодолевает снег, думая только об одном — не упасть, потому что тогда замерзнет термос. Когда Сашка взбирается наконец на перевал, пурга стихает. Небо сияет звездами, точно выметенное ветром... Мороз схватывает снег. Вниз с перевала Сашка катится чуть не кубарем. Вот и завал мерцает снежной гробницей. А где же машина? Вместо машины снежный холм. До полночи разрушает Сашка снег и наконец приоткрывает дверцу. Слава аллаху: в кабине потеплее, чем снаружи. Сашка валится на сиденье.

— Живы? — спрашивает он весело и отворачивает пробку термоса.

Женщина сидит согнувшись, склонив голову к сыну, и не двигается.

— Живы, что ль? — спрашивает Сашка бодро и толкает ее осторожно в плечо; ему не хочется несчастья. — Ну что же вы? — спрашивает он недовольно.

— Живы... — тихо отвечает Люда и поднимает голову.

— Ну и ладно, — говорит Сашка. — Выпейте-ка вот. Он вытаскивает пробку и наливает в блестящий стаканчик жидкость. Кабину наполняет запах настоящего зеленого чая, пар от стаканчика щекощет ноздри. Женщина выпивает чай, и Сашке становится легче, точно он выпил сам. Он наливает еще один стаканчик, и она поит Амир-бека. В термосе остается еще со стакан. Сашка затыкает термос.

— Ну вот, теперь мы живем! — говорит он и начинает открывать консервную банку.

Ночью самое главное — не спать. Нельзя спать в такой мороз. Лучше всего разговаривать. Сашка рассказывает Люде самые интересные случаи из своей жизни. Однажды он на спор съел три больших луковицы без хлеба. В другой раз залез на крышу идущего трамвая. А еще был случай: учительница выгнала его из класса, а он взял и встал на руки и на руках вышел за дверь. Этому случаю Люда удивилась и даже засмеялась — первый раз за всю доро-

гу. Сашка очень доволен: он всю жизнь старался что-нибудь сделать такое, чтобы люди изумились и перестали быть такими нудными.

Наступает утро, но спать хочется еще сильнее.

Весь день проходит в неистовой борьбе со сном. Это еще хуже пурги. Чтобы не заснуть, Сашка время от времени вспоминает Чалина, и тогда злость вспыхивает в груди у Сашки и разгоняет сон.

Да, Чалин виноват во всем, он орал всегда на Сашку, и из-за этого Сашка поехал один, попал под завал... Конечно, виноват Чалин. Если бы он отнесся по-человечески... Хорошо, но женщину-то с ребенком он сам взял, назвал Чалину, и завез их в снег — им-то дела нет до Чалина, им не важно, любит Сашка Чалина или нет. Они ему поверили, а он их завез в снег и свалил все на Чалина. И от этой страшной мысли Сашка мучается хуже, чем от зубной боли.

Женщина с сыном молчат. Сашка будит ее и надевает ей на ноги мешок. Больше он не может ничего сделать. Чаю нет, нет ни хлеба, ни сахара, все теплое он надел на них, а сам сидит в одном ватнике. А молчать невыносимо. Хорошо молчать тому, у кого совесть чиста.

— Простите, а почему вы в такое время едете? — совсем некстати чужим голосом хрипит Сашка.

Люда молчит, уткнувшись в воротник полушубка. Пар от ее дыхания ложится на лицо Амир-беку. Вся кабина покрыта инеем от их дыхания. Стекло обросло серебристым мхом льда, и они сидят, точно в пещере.

— Почему на Памир едете? — повторяет Сашка. Люда, не поднимая головы, бормочет:

— Наслышалась в детстве о красных тюльпанах. Поехала, чтобы увидеть красные долины. Ведь они цветут как раз весной.

— А как же! Это обязательно, — вдохновляется Сашка. — Вот нам только бы с перевала съехать вниз. Там будет такая долина — маки растут по поясу. Красные-красные маки, и тепло, легко. Ручьи там пробегают. И в этих красных маках бегают архары с круглыми рогами. — Сашка начинает привирать: — И среди маков сурки стоят на буграх у своих норок и эти маки собирают на корм. И свистят сурки, друг друга предупреждают об опасности. А над ними орел летает, как планер.

Люда представляет себе красные маки у голубого ручья, теплое солнышко и засыпает... И Сашка остается один со своей мучительной виной. Он придвигается к женщине и ребенку и обнимает их руками. Теперь мальчик спит между ними и никогда не замерзнет. А у него, у Сашки, деревенеют пальцы, дубеют локти, колени. Сашка закрывает глаза. Застывая, он беспокоится о том, чтобы пацан лежал между ними...

Они уже не слышат, как бульдозер сбрасывает снег в обрыв, прокладывает туннель к машине.

Сашка чувствует, как кто-то тянет его, отрывает от Люды, от пацана, которого нельзя открывать: ведь такой мороз! Сашку вытаскивают наружу... Он чувствует у своих губ стакан и запах спирта. Сашка открывает глаза, и хочет взять стакан рукой, и не может: не сгибаются пальцы. Он выпивает и видит перед собой красное лицо Чалина. Чалин ругает его, и Сашка согласно кивает головой.

У Чалина на руках Амир-бек, он обиженно плачет, оттопырив верхнюю губу, а Чалин неумело трясет его, чтобы он не плакал. Конечно, надо отдать рбенка матери. А где же она? Сашка поворачивается, хватаясь руками за борт машины...

Она сидит на дороге, на расстеленной шубе. Над ней склонились люди в полушубках, и кто-то растирает ей колени.





«НАУТИЛУС»

Помню, лет двенадцати примерно
Прочитал я в книге Жюль Верн
О подводной лодке в океане,
О ее отважном капитане.

Поднимаясь из глубин зеленых,
Он богатым мстил за угнетенных,
Не жалея Кипплингом воспетых
Лордов на разбойничьих корветках.

Он всегда мне был примером чести
С «Наутилусом» могучим вместе.
А теперь и вправду в океане

Чудище такого же названья.
Наглухо задраенные дверцы,
Атомный реактор вместо сердца.

Рыщет бронированной акулой
С пушкой на своей спине сутулой,
А внутри — оковы для свободных,
Пули вместо хлеба — для голодных.

Чудище в обличье Ку-клукс-клана,
Злое до последнего болта.
Верю, смоят волны океана
Гордое название с борта!

МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Когда стране
опасность угрожала,
Страна в поход
солдата снаряжала

Земля дымилась,
грохотало время,
Звезда алела
на суконном шлеме.

Хасанские высоты и выскочки —
Звезда алела
на простой пилотке.

Гремело время,
и земля горела,
Звездой советской
каска багровела.

Шагал солдат,
шагал дорогой бранной,
Спасал свою,
спасал чужие страны.

И то ль в разведке,
то ль в бою открытом
Споткнулся вдруг,
На землю пал убитым.

Летело время.

Грохот смолк орудий,
Убитого нашли солдата
люди.

Над ним
в молчанье траурном стояли,
А имени солдатского не знали.

Не знали.
Не могли послать известье
Ни матери солдатской,
ни невесте.

И догадались люди,
и тогда-то
В огромный город
отнесли солдата.

И, схоронив на площади в могиле,
Над ней огонь
навекі засветили.

Чтоб мать узнала,
где могила сына,
Весной цветы невеста приносила,

Чтоб каждый проходил,
благодаря,
Как у святых ступеней
Мавзолея.



На планету дальнюю, иную
Трудный путь мужчина прорубил,
Там в красу влюбился неземную,
А земную женщину забыл.

Всем она прекрасна, неземная:
Слово не промолвишь, а поймет.
Тонкая, глазастая, сквозная,
Брови марсианские вразлет.

Он бродил с ней по ее планете,
Сердце к сердцу и рука в руке,
Но однажды как-то на рассвете
Вдруг увидел Землю вдалеке.

Там за миллионверстной далью,
В горе беззащитна и мала,

Со своею гордою печалью
Женщина любила и ждала.

Нет, она не слала позывные,
Не искала стертые следы,
Потому что женщины земные
Слишком своенравны и горды.

Голову ей проседь опалила,
На лице морщинки залегли —
С ним она немало разделила
Горестей и радостей Земли.

Видел он космическую вьюгу,
Где Земля кружилась вдалеке,
За руку держал свою подругу,
Только стало холодно руке.

МЮНХЕН. 1960 ГОД

Афишный расклейщик сонный
Трудится поутру:
Сдирает с тумбы бетонной
Старых афиш кору.

Сдирает прошедшие зрелища,
Рекламы киноимен.
И вдруг — плакат! (Уцелел еще
С гитлеровских времен.)

Плакат фашистской Германии —
Словно кошмарный бред,
Хитрой шпиономании
Вырисованный портрет.

Даже в своей уборной
Бюргер к нему привык:
Черная шляпа, черный
Поднятый воротник,

Буквы под черной тенью:
«Pst!» Что значит — молчи!
Страшились людского мненья
Трусливые палачи.

Когда немецкому люду
Они затыкали рот,
Им черный сообщник всюду
Смирять помогал народ.

Им было чего страшиться,
Им было о чем молчать...
А ныне черный убийца
С тумбы глядит опять.

Под безобидной афишей
Таился и ждал фашист.
Снова, как прежде, слышен
Окрик короткий: «Pst!»

Прошлое наступает,
В открытую прет оно.
Все явственней проступает
Невытравленное пятно.

Лучше гляди, расклейщик!
Люди, нельзя молчать!
Тени громил зловещих
Смотрят на вас опять.

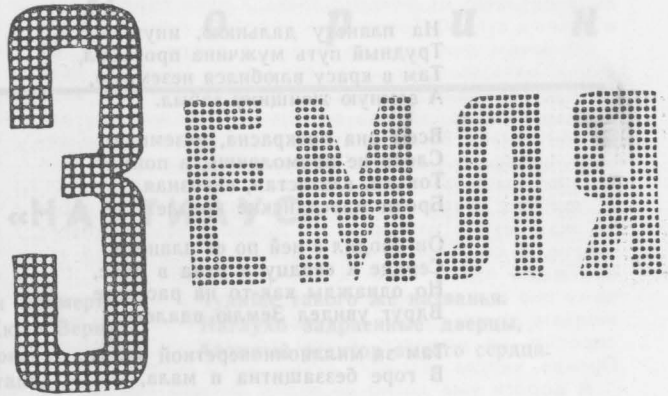
БОНН

Здесь ценят бывших, только бывших,
Ревниво фюреру служивших:
Здесь генералов — пруд пруди.
Мундиров узких цвет мышиный,
Фуражки вздыблены пружиной,
Кресты приклепаны к груди.

Почет и бывшему солдату,
Ему здесь тоже платят плату,
Хоть он без глаза и без ног.
Чугун узорчатой решетки.
В руках — стремительные щетки,
Теперь он — чистильщик сапог.

Не будь унылым и усталым,
Раз чистишь обувь генералам:
Ты без работы гол и нищ.
Оставив ноги под Смоленском,
Старайся любоваться блеском
Чужих упругих голенищ.

Работай щетками, еуконкой,
Но, получая пфенниг звонкий,
В блестящем хrome не забудь
Свое увидеть отраженьи...
Хоть молодому поколению
Предупрежденьем страшным будь!



САТ-ОК

(Вместо

Кто из нас не зачитывался увлекательными романами Фенимора Купера и Майн-Рида? Кого не волновала необыкновенная, полная неожиданностей и опасных приключений судьба Великого Змея, или «последнего из могикан» — Ункаса, или мужественного Оцеолы — вождя храбрых семиолов?

Кого не тронула трагедия индейского народа, обреченного белыми колонизаторами на вымирание, и кто не испытал чувства искреннего, благородного негодования против надругательств над человеческим достоинством свободолюбивых индейцев, насильно загоняемых в резервации и низводимых своими поработителями в этих заповедниках до уровня экзотических зверей?

Многим из нас казалось, что «охота на индейцев» безвозвратно ушла в далекое прошлое.

Публикуемый перевод книги польского писателя Сат-Ока — сына Высокого Орла, вождя существующего в наши дни индейского племени, — вновь возвращает нас к этой, казалось бы, давно и навсегда ушедшей от нас действительности.

✱

Со времен открытия Америки общая численность индейцев сократилась вдвое. Пушечный и оружейный огонь колонизаторов истребил не одно индейское племя. Вырезая физически, подкупая, спаивая и науськивая одно индейское племя на другое, белые завоеватели вот уже много лет истребляют это древнейшее коренное население американского континента. Правящие круги США последовательно проводят политику национального угнетения индейцев

На снимке вверху: Сат-Ок в национальном индейском наряде.

и безжалостно уничтожают их вековую культуру. Индейцы лишены своих лучших земель. Подавляющее их большинство загнано в резервации, где они влчат жалкое, полуголодное существование, находясь в условиях жесточайшей эксплуатации, бесправия и произвола колониальных чиновников.

Фашиствующие ученые-выродки усердно пытаются представить индейцев как представителей «низшей расы», как вырождающихся первобытных людей, справедливо якобы обреченных на вымирание.

Однако, несмотря на колониальный гнет и прямое истребление, мужественные индейцы сохраняют и развивают свою культуру. Они не хотят мириться с положением колониальных рабов и смело борются за свое освобождение.

Волнующая и правдивая повесть сына индейского народа Сат-Ока является наглядной тому иллюстрацией.

Несколько слов об этой книге и необыкновенной судьбе ее автора...

✱

Идет 1905 год. Первая русская революция. Под ее могучими ударами трещит проклятая тюрьма народов — царская империя. В борьбу с царизмом вступают все новые и новые отряды рабочего класса, крестьянства, революционной молодежи. За Питером и Москвой — Украина, Грузия, Польша...

Вступает в эту борьбу и молодая польская революционерка Станислава Суплатович.

Однако царизму удается придушить революцию.

САТ-ОК

И ЕГО КНИГА

(предисловия)

Начинается полоса жестоких расправ царских холопов с участниками революционной борьбы. Виселицы и тюрьмы, каторга и ссылки...

За активную революционную деятельность 28-летнего Станислава ссылают на самую отдаленную окраину царской России — Чукотский полуостров. В этом заброшенном краю, пораженном цингой, среди постоянных немислимых лишений Станислава Суплатович была обречена на верную гибель. Но отважная молодая полька не падает духом. С помощью местных жителей — чукчей — она бежит из ссылки, перебирается через Берингов пролив на Аляску, а оттуда — в Канаду.

Обессиленную, голодную, почти умирающую, находят ее там индейцы одного племени. Они приютили беглянку, окружили ее заботами, вывели, поставили на ноги. И, полная благодарности к своим новым друзьям, Станислава решает остаться у индейцев. Ей дают здесь ласковое имя «Белая Тучка», а через три года она становится женой вождя племени — Высокого Орла.

Спасаясь от преследований колонизаторов, племя Высокого Орла кочевало в ту пору на крайнем севере Канады, недалеко от Полярного круга. «Если бы орел поднял тебя ввысь над страной Толанди, что лежит на юг от реки Макензи, от Медвежьего озера и большой излучины Юкона, запад заслонили бы от тебя высокие хребты Скалистых гор, а на юге перед твоим взором распахнулись бы горизонты широких прерий...»

Между берегами реки Макензи и Большого Медвежьего озера, подножием Скалистых гор и большой излучиной Юкона простирается чаща — большая и темная, как северное море...

В этой глухой чаще, в бедной индейской палатке, на берегу реки Макензи в 1920 году у Белой Тучки и Высокого Орла родился сын, которого назвали Сат-Ок — Длинное Перо.

В ту пору племя Высокого Орла переживало особенно тяжелые дни. Оставшись фактически почти единственным свободным индейским племенем, шеванезы (так называется в повести свое племя Сат-Ок) продолжают укрываться в чаще, живя суровой, но свободной жизнью своих отцов. По пятам их преследуют отряды канадской полиции, пытаются загнать в резервации. Но шеванезы упорно избегают своих преследователей, предпочитая позорной жизни в клетке колонизаторов полную трудностей и лишений, но свободную жизнь.

Один из таких периодов жизни племени и описывает Сат-Ок в «Земле Соленых скал», публикуемой нами в этом номере «Юности».

Повествование ведется от имени индейского мальчика, который, понятно, слабо еще разбирается в социальных вопросах, но уже начинает понимать, что не все белые — враги индейцев.

С большой правдивостью и художественной выразительностью рассказано в книге Сат-Она о неравной борьбе индейцев против своих современных поработителей из так называемого «свободного мира». Здесь много живописных описаний самобытной природы, индейских обычаев, их охоты на диких животных. Много чудесных образцов индейского фольклора.

Но, конечно, особенно привлекает в этой книге то, что она написана непосредственным свидетелем этих событий недалекого прошлого.

Сат-Ок прожил в родном племени шестнадцать лет. В 1936 году его мать случайно узнала

от бродячих охотников, что ее родная Польша стала самостоятельным государством. Тоска по родине вскоре привела ее вместе с младшим сыном Сат-Оком в Польшу. А когда через три года Сат-Ок и его мать собирались в обратный путь, вспыхнула вторая мировая война, и они были вынуждены остаться в Польше.

В 1940 году гестапо арестовало Сат-Ока как человека «нечистой расы». Он был брошен в тюрьму.

Об этих днях Сат-Ок вспоминает с ужасом: «Я испытал в заключении все муки ада».

Через год гестаповцы отправляют Сат-Ока в концлагерь Освенцим, но по дороге ему удается бежать. Он скрывается у местных крестьян, а вскоре в Борковицких лесах встречается с польскими партизанами и вступает в их отряд.

Когда части Советской Армии освободили эту местность, Сат-Ок ушел добровольцем в польское народное войско и воевал против фашистов.

После войны и демобилизации из армии (1951 год) Сат-Ок поступил на службу в польский торговый флот, где он находится и сейчас, занимаясь одновременно литературной работой.

До сих пор он поддерживает связь с индейскими племенами Канады, загнанными в резервации, и через них получает сведения о своем родном племени, которое, все еще оставаясь свободным, по-прежнему кочует на крайнем севере Канады. «Они просят меня, — пишет Сат-Ок, — чтобы я возвратился к ним, ибо все народы стремятся к свободе, как Африка, Азия... Только у них (индейцев.—С. П.) нет руководителей, которые бы направляли их шаги».

Около десяти лет назад в очередной стычке с конной полицией погибли брат и сестра Сат-Ока (Танто и Тинагет), а его мать Станислава Суплатович (которой уже больше восьмидесяти лет) живет сейчас в Кельдах.

Правительство народной Польши назначило ей пожизненную пенсию за революционные заслуги в 1905 году.

«Земля Соленых скал» — первая книга Сат-Ока. Она вышла в Польше уже несколькими изданиями.

В 1959 году писатель опубликовал книгу индейских легенд — «Белый мустанг». Недавно Сат-Ок закончил книгу «Индийская кровь» (вторую часть «Земли Соленых скал») и работает над новой книгой — «Дорога слез» — так называется дорога, на которой погибли тысячи индейцев, насильственно переселяемых колониальными властями за Миссисипи.

В предисловии к польскому изданию «Земли Соленых скал» Сат-Ок пишет, что эта книга «не является плодом воображения, а рассказывает о действительных событиях. Описанные в ней события происходили в Северной Канаде накануне 1930 года. Некоторые из действующих лиц «Земли Соленых скал» живы до сих пор».

Книга Сат-Ока основана на очень многих подлинных фактах, в значительной мере автобиографических.

И все же для нас, людей XX века, века огромного взлета научной и технической мысли, века атомной энергии и космических завоеваний, многие страницы повести Сат-Ока могут показаться неправдоподобными — так далек от нашей жизни примитивный, почти первобытный образ жизни ее героев.

Конечно, как и во всяком художественном произведении, в этой книге имеется творческий вымысел, допущены известные временные и географические смещения и неточности, терминологические отступления.

Напрасно стали бы мы, например, искать в современной научной литературе индейское племя, во всех своих деталях совпадающее с описанным в книге Сат-Ока.

В известной мере это **собирательный** образ индейского племени, вполне при этом правдоподобный, но вобравший в себя отдельные элементы культуры различных индейских народов.

После подавления в первой половине XIX века освободительного движения индейских народов, в котором большую роль играл знаменитый Текумсе (упоминаемый в книге Сат-Ока), остатки племен были отеснены за Миссисипи, а впоследствии насильно поселены на северо-востоке Оклахомы (США).

В середине прошлого столетия небольшая часть предков Сат-Ока, не выдержав притеснений колонизаторов, ушла в сторону Канады и в конце концов поселилась в районе реки Макензи и Большого Медвежьего озера («...наше племя пришло к этой реке, чтобы жить спокойно», — говорит Высокий Орел).

Живя здесь, по соседству с другими племенами, они испытали известное влияние этих племен, в частности степных — коневодов и охотников на бизонов. Там же они столкнулись и с другими индейскими племенами, расселившимися в этих местах в более ранние времена.

Некоторая архаичность и даже примитивизм описываемого быта современных индейцев и в особенности вооружения племени Высокого Орла становятся более понятными, если учесть, что это племя и поныне живет оторванно от внешнего мира, не пользуясь услугами факторий компании Гудзонова залива.

Кроме того, нельзя забывать, что Сат-Ок писал **воспоминания своего детства**. Вот уже двадцать пять лет, как он живет в отрыве от родного племени; многие подробности быта и жизни индейцев могли ускользнуть из его памяти. Этим и объясняются отдельные неточности, которые встречаются иногда на страницах этой интересной в целом книги.

Хотя повесть Сат-Ока и посвящена событиям начала 30-х годов, тем не менее она имеет и сейчас весьма актуальное значение.

Она правдиво рассказывает о чудовищной со-



Мать Сат-Ока Станислава Суплатович (Белая Тучка).

диальной несправедливости, которую продолжают творить по отношению к индейцам за океаном представители так называемого «цивилизованного» мира.

Все чаще вспыхивают восстания индейских племен и в США и на территории Канады. Славные потомки великого Текумсе смело выступают против своих поработителей.

Сат-Ок горячо радуется своей взволнованной повестью за свободу и независимость индейского народа, страстно выступает против трижды проклятого колониализма. «Я стремился, — пишет Сат-Ок в редакцию «Юности», — хотя бы немного помочь этой книгой своему народу, гибнущему в англо-американских резервациях...»

Обращаясь к молодым читателям своей книги, писатель говорит: «Мне хочется помянуть добрым словом свою лервую родину. Поэтому, молодые друзья, я и решил рассказать вам о ней, рассказать о жизни индейцев, об их трудной и суровой судьбе.

Я надеюсь, что, прочтя эту книгу, вы сумеете, быть может, немножко лучше понять их жизнь, мечты, их любовь к природе, понять их борьбу за свободу, которой так мало у них и которая им так нужна!»

✪

Все это хотелось рассказать читателям «Юности», прежде чем они прочтут повествование Сат-Ока, любовно переведенное на русский язык советским писателем Юрием Стадниченко.

В заключение хочется передать читателям «Юности» теплые, дружеские слова Сат-Ока, с которыми он обратился в нашу редакцию:

«Я шлю редакции Вашего журнала сердечные приветствия и пожелания плодотворного труда. Прошу также передать привет и крепко пожать руки всем читателям Вашего журнала».

С. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ



Рисунки П. Бунина.

Перевод с польского
Ю. СТАДНИЧЕНКО.

Слышу среди лесов крики и вой протяжный,
Слышу среди лесов бубны и клнч войны.
Спрячь меня, лес,
След мой сотри,
Дай мне силу медведя
И ловкость пумы...

Если бы орел поднял тебя ввысь над страной Толанди, что лежит на юг от реки Макензи, от Медвежьего озера и большой излучины Юкона, запад заслонили бы от тебя высокие хребты Скалистых гор, а на юге перед твоим взором распахнулись бы горизонты широких прерий.

Эти прерии — путь бизонов. Он тянется от канадских провинций Альберта и Саскачеван через обе Дакоты, Небраску, Оклахому до каменистого Техаса.

Между берегами реки Макензи и Большого Медвежьего озера, подножием Скалистых гор и большой излучиной Юкона ты увидишь лес, большой и темный, как северное море, из волн которого торчат каменные острова — одинокие глыбы гранитных скал.

Откуда взялись эти глыбы? Об этом рассказывают старые воины у костров. Прежде чем в этой чаще родился первый ее обитатель — индеец, за нее боролись два духа: Канага — Дух тьмы, и Набаш-циса — Дух света...

Борьба их была беспощадной — такой же, как и вся жизнь леса. Властелин тьмы стремился задуть свет, Дух света — уничтожить тьму.

Канага-богатырь хватал гранитные глыбы и бросал их в озера, густо покрывавшие в то время страну.

Это был могучий силач. Когда он бросал их, вода выступала из берегов и взлетала столбами в небо, покрывая его темными тучами. Тогда Канага плясал танец победы, и от его улыбки в чаще становился еще темнее. Набаш-циса слал свои стрелы-молнии, они ослепляли Канагу. Тогда Канага снова хватал глыбы. И каждый раз, как он бросал глыбу, новая скала появлялась в чаще.

Но вот Набаш-циса перенесся на юг, в страну, затканную тонкой паутиной рек и ручьев. Темный воин не мог уж бросать скалы в озера и начал сгонять с северного неба тучи. Но, утомленные долгой дорогой, они ослабели и покорились солнцу — союзнику Набаш-цисы, пролились слезами, а в каплях, падающих на землю, засверкало солнце. На севере — там, откуда пришли тучи, — вспыхнула радуга. Все озарилось светом, и этот свет ослепил темного богатыря Канагу, и Набаш-циса плясал Танец Солнца.

Слепой Канага скрылся в горах, где живет и поныне. Он не воюет, но как только услышит в своем царстве безмолвия и мрака чей-нибудь голос, тот час обрушит в том направлении лавину камней...

Если бы орел поднял тебя ввысь и спокойно парил над лесами, ты увидел бы в их тени большую серебристую рыбацкую сеть: бесчисленное множество переплетающихся между собой рек, ручьев, озер и водопадов.

Но вот птица снижается над одной из скал, ты касаешься ее ногами. Попрощайся с орлом по обычаю этого края — подними вверх правую руку. Он улетает в сторону гор.

Ты же спустись со мной со скалы в самое сердце лесной чащи.

Вокруг нас полумрак и тишина. Если у тебя добрые намерения, будь спокоен: коли ты поймешь лесную чашу, она тебя тоже поймет. Но если ты безрассудно захочешь нарушить ее покой, помни: она уничтожит тебя.

Я привел тебя к ней, чтобы ты познал ее. Я хотел бы передать тебе то, что сам к ней чувствую,— уважение и любовь. Лес — мой дом, дом моего отца, друзей, дом моего племени — шеванезов. Он кормит нас и одевает, радует нас своей красотой, но может научить и страху.

Смотри, вот с ветвей старейших деревьев-великанов до самой земли ниспадают темные покрывала мха, зеленые и бурые. Когда же на ствол упадет луч солнца, кора заблестит серебром, как голова столетнего воина. Помни, что лес полон духов. Они могут быть приветливы и благосклонны, но если ты нарушишь их покой, они будут безжалостны.

Лес живет. Даже тот, кто соткал тонкую паутинку между стволами, Зузи-паук,— и то имеет душу. Что ж говорить о больших деревьях и животных!

Итак, повторяю: будь осторожен и уважай старые законы леса. Познавать их мы будем вместе. Стань моим товарищем и другом. Мы проведем вместе много лет, много больших и малых солнц, я научу тебя нашим песням и танцам, ты узнаешь судьбы нашего племени — племени свободных и поныне индейцев-шеванезов.

Я приведу тебя в мое селение. Мы придем туда впервые в месяц Луны, летящей вверх. Это месяц снегов и морозов. Ты озираешься? Ищешь орла? Он уже возвратился в гнездо.

Пойдем же со мной на берег одного из озер.

Первые лучи солнца падают на заснеженный берег озера. Оно покрыто льдом, снег скрипит под ногами. Дух озера спокойно спит в месяц Луны, летящей вверх. Его не разбудят наши голоса, хотя мы живем у самого берега. Наши типи — палатки из шкур — стоят полукругом, образуя широкую подкову, открытую в сторону озера.

Эта подкова охватывает большую площадь, в середине которой стоит тотемный столб, вытесанный из липы. Изображения, вырезанные на нем, говорят о том, что это лагерь потомков Совы — людей, происходящих от птицы, видящей ночью.

На самой верхушке столба колдун Горькая Ягода вырезал большую сову с круглыми глазами, красным клювом и широко распростертыми крыльями. Ниже — эта же птица, но у нее вместо крыльев уже человеческие руки и ноги, правда, заканчивающиеся еще совиными когтями. Третья ступень — это уже человеческая фигура с головой совы. Она обнимает фигуру обнаженного человека, изображающего отца всего племени Совы.

Первые лучи солнца падают косо. Их свет красен, а длинные тени типи кажутся темно-синими. Солнце только что взошло, но селение не спит. На площади перед тотемным столбом с восходом солнца начался танец. Ведет его колдун Горькая Ягода.

В ярком свете красных лучей я ясно вижу его. Он напоминает крылатого бизона, вставшего на задние ноги. На голове у него скальп бизона с широко расставленными рогами. Их концы, так же, как клюв совы на тотемном столбе, окрашены в ярко-красный цвет. Свое лицо Горькая Ягода раскрасил голубыми и желтыми полосами. К широко распростертым рукам он прикрепил трещотки из оленьих копыт. Их звук напоминает топот оленя карибу, который мчится по каменистому берегу.

Вместе с Горькой Ягодой пляшет обнаженный до

пояса воин Непемус, Сильная Левая Рука, — великий охотник и танцор нашего племени. Оба кружатся среди большого круга воинов, отбивающих ритм на бубнах и трещотках из черепаших панцирей.

Ритм становится все резче, чаще. Тело Непемуса, натертое медвежьим жиром, блестит, как бронза. Иногда кажется, что у танцора несколько пар ног, иногда он, как цапля, кружится на одной ноге, но зато на шее, увешанной шнурами волчьих когтей и клыков, качаются три головы.

Томагавк Непемуса наносит удары невидимым врагам. Рука у воина верная, его мышцы тверды, как медвежьи клыки. Каждый удар томагавка, свист его острия — это для врага песня смерти. Все выше взлетает песнь воинов:

Маниту, Маниту,
Дай им силу медведя.
Чтоб были отважны, как волк разъяренный,
Чтоб мужество взяли у брата — рыси...

Сегодня день «Удаления» — праздник вступления маленьких мальчиков в школу природы.

Поэтому, когда внезапно затихает песня и замедляется ритм танца, Непемус направляет шаги к типи вождя племени Высокого Орла. Непемус крадется — то сделает несколько шагов, то остановится. Он поднимает вверх томагавк и, танцуя на месте, прислушивается к звукам внутри типи.

Вслед за ним передвигается круг воинов, среди них Горькая Ягода. Непемус останавливается перед входом в палатку. Но двое воинов с копьями, украшенными перьями, выступают вперед и преграждают ему вход в типи. Непемус снова и снова пытается прорваться внутрь, но перед ним каждый раз скрещиваются копыя воинов, и он отступает.

Пять раз скрещивались копыя, и столько же раз Непемус отступал от типи. Это означало, что мальчику, за которым он пришел, исполнилось пять лет и для него настало время начать жизнь среди воинов, учиться их мудрости, познавать законы племени и леса.

Этим мальчиком был я.

До сих пор я жил в палатке родителей на попечении матери. Мою мать звали Белая Тучка, ибо у нее были светлые волосы — такие светлые, каких не было ни у одной женщины нашего племени.

Я был ее младшим сыном. Брат, которого я еще не знал, и сестра, которая вместе с матерью присматривала за мной, были больше похожи на отца. У них были черные волосы со стальным блеском и глаза, темные, как у братьев амул — бобров.

Только у меня были волосы и глаза матери. Может быть, оттого, что я был так на нее похож, а может быть, просто потому, что был самым младшим, я стал ее любимцем. Она заботилась обо мне больше и ласкала нежнее, чем другие женщины своих сыновей.

До этого дня — и еще много месяцев спустя — меня называли просто ути — малыш. Так называли всех маленьких мальчиков. Имен у нас еще не было. Имя себе нужно было заслужить, часто заплатив за него не только потом, но и кровью.

Как каждый ути, я мечтал о празднике «Удаления», после которого я должен был отправиться в лагерь Молодых Волков под опеку старых воинов. Там вместе с другими мальчиками нашего племени я буду учиться читать волчьи следы, шить каное из березовой коры, расставлять силки на тропках выдры, на лету сбивать стрелой из лука дикую утку. Там я узнаю законы леса и обязанности воина. Там стану взрослым.

Вы меня, конечно, поймете. Я просто сгорал от нетерпения в ожидании той минуты, когда перед входом в наш типи зазвучит пение воинов, раздадутся звуки бубнов и шум трещоток из черепашьих панцирей.

Однако когда я услышал шаги Непемуса у самого входа в типи, меня охватил страх. Я знал, что расстанусь с моей матерью, что много лет не увижу ее глаз, не услышу ее голоса. Я не смотрел в ее сторону, чтобы не расплакаться, как сидящая рядом с ней моя сестра Тинагет — Стройная Береза.

Когда шкура у входа раздвинулась и передо мной появилась огромная фигура Непемуса, я забыл обо всех своих мечтах про лагерь Молодых Волков и службу воина. Я хотел броситься к матери и в ее объятиях спрятаться от посла грозного, незнакомого мира.

Но Непемус не оставил мне времени ни на плач, ни на страх, ни на отчаяние. Он схватил меня за руку, и я очутился между ним и колдуном, уже оторванный от матери, от ее нежной заботы.

Так я сделал первые шаги новой жизни на утоптанном, скрипящем от мороза снегу. Перед моими глазами мелькали пучки волчьих и медвежьих скальпов и трещотки из оленьих копыт, висевшие на руках Горькой Ягоды. Я стоял лицом к солнцу, до самого сердца пронизывала меня холодная дрожь.

Но теперь я уже позабыл свой страх, оставил всякую мысль о слезах из-за разлуки с матерью. Ведь я вступил на новый путь — на путь, с которого не поверну назад.

Непемус указал мне палатку, где я должен был ждать минуты, когда мы отправимся в дальнюю дорогу. Ведь лагерь Молодых Волков находился далеко от селения.

Я был в палатке один. Я не плакал. Но хорошо помню те одинокие часы, когда в моем сердце смеялись страх и отвага, тревога и надежда, грусть и радость.

Я хорошо помню и Песню Прощания, которую пела Белая Тучка, моя мать, перед тем, как Непемус вошел в наш шатер.

Ох, ути, душа моей души,
Ты уходишь в далекий путь,
Чтоб забыть обо мне.
Но помни, ути,
Что силой и разумом
Ты добудешь имя и добьешься уважения.
Будь же сильным и смелым,
И пусть шаги твои направит
Великий Дух.
Ох, ути, частичка моего тела,
Ты уходишь в далекий путь,
Чтоб забыть обо мне...

— Ути, пора.

Голос Непемуса пробудил меня от глубокого сна. Сборы были недолгими. В несколько минут мы приготовили снеговые лыжи, набросили на плечи кожаные покрывала. Вот и все.

Никто нас не провожал. Только выходя из селения, я еще раз посмотрел на типи родителей. Из-за входной завесы высунулись две головы. Я поднял руку в знак прощания.

Непемус шел впереди. Мы вошли в чащу.

В лесу, засыпанном снегом, царила великая тишина. Из-под ветвей можжевельника шмыгнул вапоос — кролик, белый пушистый шарик, и скрылся в густых зарослях. Я даже не оглянулся. Дорога была нелегкой, хотя Непемус прокладывал след, помня, что за ним идет не воин.

Прошел час. Снег, который сначала едва поросил, начал валить гуще, слепить глаза. Когда наконец наступил день, мне стало казаться, что мы идем по топкому болоту, а не по снежной тропе. Ноги ста-

новятся все тяжелее, все медленнее сгибаются в коленях. С каждым шагом мне как будто прибавляется лет, и скоро я стану стариком, ноги которого тяжелы, как скала. Но я молчу, я должен выдержать. Не буду просить Непемуса об отдыхе.

На краю большой поляны мой высокий друг останавливается и смотрит на меня. Я не могу скрыть тяжелого дыхания. Непемус чуть-чуть улыбается и говорит:

— Ути теперь будет путешествовать на спине Непемуса.

— Май-оо. Хорошо, — вздохнул я.

Я, вероятно, заснул на широкой спине Непемуса. Когда я открыл глаза, уже миновал полдень. Снегопад прекратился. Мы подошли к большому шалашу из коры, служившему пристанищем воинам во время охоты. Заслышав шаги человека, выбежал горностаи.

Непемус спускает меня со спины и принимается разводить огонь. Когда он начинает собирать хворост, я уже знаю, что мы здесь заночуем. Он складывает хворост в шалаше в высокую кучу. Хотя я еще только ути, но мне известно, что так всегда нужно делать в лесу в месяцы снега и мороза. Кто об этом забывает, тот перестает жить.

Я тем временем прибираю в шалаше, выстилаю его мягкими еловыми веточками. Непемус привязывает на ближайшей сосне кусочек мяса. Это корм для синиц, наших подружек, которые всегда сопровождают нас в пути через чащу. Потом он закуривает калюти — трубочку — и садится у костра. Я слышу, как вдали глухим эхом разносится среди деревьев вой охотящегося одинокого волка.

Я очень устал, хотя большую часть пути провел на спине Непемуса. С трудом стягиваю мокасины, набрасываю на плечи вольчью шкуру и сажусь возле воина. Есть мне не очень хочется, но я все же называю на стрелу кусочек мяса и начинаю его печь над пламенем костра. Я сижу рядом с Непемусом и смотрю на огонь. Он такой же красный и золотой, как тот, что согрел меня в палатке родителей. Тот костер разжигала мать.

Высокое пламя ярко освещает лицо Непемуса с двумя глубокими шрамами. Это следы борьбы с серым медведем, шкура которого висит в шатре воина. Смогу ли я когда-нибудь одолеть силу и ярость большого медведя? Смогу ли я когда-нибудь стать воином с таким же славным именем, как Непемус? Больше всего на свете я сейчас жажду этого. Как достичь такого могущества? Песня Прощания говорит: «силой и разумом»...

Вместе со словами этой песни в моей памяти встает голос матери. Мне снова становится грустно, хотя я сейчас мечтаю о том, чтобы стать воином, который повесит в своем шатре не одну шкуру серого медведя.

Песня Прощания прекрасна, но не все ее слова правдивы, ибо хотя я и «ухожу в далекий путь», но я не забуду о ней, о Белой Тучке. Я буду помнить ее всегда, хотя теперь я один и отныне уже сам должен искать себе место у костра, спасаясь от ночного холода...

— Что это? — опомнился я внезапно. — Здравствуй, Тауга, мой друг!

Опираясь передними лапами на мои колени, лижет мне лицо большой серый пес Тауга, мой четвероногий друг. Прибежал. Не оставил меня одного. Братская душа поняла мое одиночество, а может быть, и сама его чувствовала. Наверное, мать навела его на наш след.

Я обнял пса за шею и долго целовал его острую морду. Забыл даже, что Непемус смотрит на нас.

И, хоть мне стыдно признаться, не одна слеза впиталась в густую шерсть Тауги, будто я сидел еще в родном шатре и имел право хныкать, как малыш, у которого мать отобрала деревянную ящерицу.

Голос Непемуса был суров:

— Ути должен спать, должен отдохнуть. Завтра будет тяжелый путь для молодых ног.

И спать дорога. В чаще встречается нас восход солнца и вой волков. Тауга поджимает хвост, поднимает голову и отвечает им протяжным, стонущим воем. Иногда кажется, что этот вой вырывается из глоток двух разных животных. Сначала это протяжный, пронзительный вой, звучащий все выше, напряженный, как тонкий звук флейты. Потом в горле пса начинается kloкотать глухое гортанное рычание, как будто рвущееся из самого нутра. Может быть, это в собаке подает голос волчья кровь? Или в волке собачья? Во время волчьих свадоб мой отец привязал мать Тауги в лесу. Так делают все. Какой же крови у Тауги больше? На этот вопрос мог бы ответить только Нана-бошо — Дух животных.

Тауга, как и все наши собаки, помесь. Лаять он не умеет, только воет, как его отец — волк. Покрытый темной, густой, всегда вздыбленной на хребте шерстью, этот пес с широкой грудью и сильными ногами — настоящий вождь своего племени — справлялся с четырьмя лесными волками. Я очень гордился им. Чем он отличался от своих лесных братьев? Разве что взглядом добрых, почти женских глаз. Ах да, еще и тем, что он не сосал воду, как это делают волки, а по-собачьи лакал ее языком.

Солнце прошло уже половину своего пути, когда перед моими глазами открылась удивительная и вместе с тем прекрасная картина. На миг мне показалось, что я во сне очутился в чудесной стране легенд — такой сверхъестественный вид был у этой скалы: каменный великан неподвижно сидел, опустив голову, и, положив гранитные руки на колени, о чем-то думал.

О чем он думал? Никто не знает. Никто не знает, зачем Маниту создал скалу, так сильно напоминающую воина. А может быть, он просто превратил в скалу одного из своих сыновей? Если так, он никогда не выдаст своей тайны. Па-пок-куна, Скала Безмолвного Воина, говорить не умеет.

Здесь нас ждали сани, собака упряжка и мой будущий учитель Овасес — Дикий Зверь. Когда мы подошли к нему, он сидел под скалой в позе, напоминавшей Безмолвного Воина, и отличался от него только тем, что сказал Непемусу слова приветия. Неподвижный, он был будто вытесан из камня. Худое, скуластое лицо с глубоко посаженными глазами напоминало скалу. Над лицом, как белый мох, поднимались седые волосы. Стоя, он слегка горбил спину, будто готовясь к прыжку. Вероятно, поэтому ему и дали имя Дикий Зверь. Мы не теряли времени: нужно было двигаться дальше.

Непемус прокладывал дорогу. Овасес бежал за санями. Чаша все больше меняла вид. Лес редел. Исчезли можжевельник и кусты шиповника. Все реже золотилась кора осен, все чаще попадались ели. Из лиственных деревьев я видел уже только березы, согнувшиеся под тяжестью снега, будто обессиленные люди. Березы почти касались верхушками земли, образуя волшебные белые арки, под которыми мы проезжали. Только ели стояли гордо, подняв головы, зато опустив тяжелые лапы вниз, будто хотели что-то взять на земле и поднять вверх.

Здесь закончилась равнина. Дорога каждую минуту то поднималась вверх, то опускалась в пологую

ложбину. Сани слегка покачивались, и я, вероятно, снова заснул бы под монотонный звук трещотки на собачьей упряжке, если бы мое внимание не привлек встревоженный вид Овасеса, который, сердито морща лоб, все чаще поглядывал на небо. Я не понимал его беспокойства. Я еще не знал, что означает, если на небе, как в тот вечер, начинает нагромождаться все больше туч, которые, как огромные стрелы, выпущенные из лука невидимого стрелка, образуют над лесом все более широкий и темный свод. Я не знал, что это означает, так как никогда еще не попадал сам в снежный буран, несущийся с северо-западным ветром и часто более опасный, чем стая голодных волков. Однако я понимал, что Овасес без причины не стал бы морщить лоб. Даже в голосе Непемуса, который криком «хирр-хирр» погонял собак, мне послышались беспокойные нотки.

Помню это, как сейчас. Снег идет все гуще. Ветер срывает с ветвей деревьев белые, сыреющие от северо-западного ветра снежные шапки. Дорога для саней становится вся тяжелее. Уже не слышно в упряжке веселого лая, который приветствовал Непемуса и меня под Скалой Безмолвного Воина. Полозья саней, облепленные снегом, сопротивляются движению почти с враждебным упрямством, застревают во впадинах, а на подъемах все упорнее прилипают к влажному снегу. Молчат утомленные собаки, снег не скрипит под лыжами Овасеса. Опускается ночь, но мы не разбиваем лагерь. Постепенно исчезают у меня из глаз фигуры Непемуса и Овасеса. Снег летит мне в лицо, слепит глаза. Я слышу рычание Тауги, который, наверное, подгоняет собак в упряжке, хватая их за уши. Стало уже совсем темно, когда мы вдруг свернули в сторону с главного пути. Теперь сани ежеминутно то поднимаются вверх, то падают вниз, и наконец на крутом повороте я слышу под полозьями скрежет камней и, будто выхваченный за шиворот, лечу из саней в огромный снежный сугроб.

Подняться мне трудно, руки до плеч погружаются в снег. Я барахтаюсь в нем, как в дурном сне. Слышу возню и визг запутавшейся упряжки, свирепое рычание Тауги и свист бича.

Когда я встал, Непемус уже наладил упряжку. Надо мной склоняется Овасес. Прямо перед глазами я вижу его блестящие глаза и зубы — он смеется надо мной.

— Возвращайся в сани, ути, — говорит он. — До лагеря нам остается только два полета стрелы.

Я не смел ответить, не ответил даже улыбкой, но, слыша эти слова, был действительно очень счастлив.

С этого мгновения я не был уже ребенком. Я становился Мугикоонс-спит — Молодым Волком.

II

Черное небо коснулось верхушек деревьев. Кин-она-тао! Воины, соберитесь, пора! Чтоб под звуки большого бубна Среди песен и плясок Приветствовать Духа тьмы...

(Из вечерних песен).

Подожди здесь, — сказал Овасес, когда мы остановились перед небольшим кожаным типи. Он напоминал палатки, в которых мы жили в нашем селении над озером, но на нем было меньше украшений и рисунков. Это был типи селения Молодых Волков.

Я вошел внутрь. Здесь было тепло и уютно. У стены лежала охапка волчьих шкур, служащая постелью.



«Мою мать звали Белая Тучка» (стр. 42).



«Вместе с Горькой Ягодой пляшет обнаженный до пояса воин Непемус» (стр. 42).



Я уселся на нее. Овасес ушел, было тихо, только издали доносился тихий шум леса и лай собак.

Я ждал брата. Еще никогда я не видел его: он ушел в лагерь Молодых Волков за четыре года до моего рождения. Правда, мать часто вспоминала Танто, рассказывала о нем, когда мы бывали одни. Мне мечтал тогда о том, чтобы когда-нибудь она и обо мне рассказывала с таким же блеском в глазах, с такой же гордостью и радостью. И хотя я, собственно, мало знал о брате, ничего не слышал о том, как он охотится, и даже неточно представлял себе, как он получил имя, однако я был уверен, что он самый храбрый, самый ловкий и самый умный из всех Молодых Волков.

Я ждал долго. Звезды, наверное, уже показывали, что прошла половина ночи.

Брат вошел очень тихо: я в первый момент не заметил, что он стоит у входа.

Только тогда, когда он вступил в небольшой круг, освещенный пламенем догоравшего костра, я впервые увидел брата таким, каким он и поныне остался в моей памяти.

Он был высок и красив. На нем была куртка из волчьей шкуры, расшитая по низу разноцветными бусами, меховые штаны, невысокие мокасины. Непокрытые, смазанные жиром волосы блестели в свете огня, как мех тюленя, вынырнувшего из воды.

Так вот какой мой старший брат! Сердце у меня билось, я молча ждал, чтобы он заговорил первый. Но он неподвижно стоял у костра и молча смотрел на меня. А когда я робко указал ему рукой место возле огня, он молча сел, не спуская с меня глаз.

Присмотревшись ко мне, он коснулся рукой моей груди и сказал:

— Ты ути, сын моей матери, мой брат?

— Да.

Он подбросил в огонь несколько веток и спросил немного тише:

— Как чувствует себя мать?

Я хотел быть зрелым и невозмутимым воином, хотел сохранить спокойствие, равнодушный взгляд, равнодушное лицо. Но ведь я только вчера попрощался с матерью, еще вчера слышал ее голос — и глаза мои наполнились слезами. Отвернувшись от огня, я начал говорить о матери, о том, как она рассказывала мне о нем, как прощалась со мной, как она выглядела, веселая ли она, какие поет песни, какие голубые у нее глаза и светлые волосы. Я говорил недолго, боясь, чтобы голос не выдал, что я еще маленький мальчик, которому тяжело оставаться с матерью, и наконец сказал то, что она столько раз повторяла:

— Ты живешь в ее сердце. Она всегда думает о тебе.

Я не видел лица Танто, ибо костер снова немного приугас. Брат ничего не ответил, но немного спустя он протянул руку над огнем, и маленькие красные язычки пламени начали виться между его пальцами. Он медленно убрал руку, откинул волосы со лба и заговорил:

— Ути, мы с тобой одной крови. Ты мой брат и сейчас делаешь лишь первые шаги по тропе мужчины. Я тоже был ути, когда меня привез сюда Овасес. Теперь у меня уже есть имя. Много больших солнц прошло с тех пор, как меня в последний раз назвали ути.

— Я знаю. Тебя зовут Танто, Железный Глаз,— подтвердил я.

— Да.— Танто серьезно кивнул головой.— Меня зовут Танто, ибо никто еще не сумел уйти от моей стрелы. Мои стрелы — стрелы смерти. Чаща леса для меня то, чем был для тебя еще вчера типичный

матери. Перед тем, как я сюда пришел, я, как и ты, ничего не знал. Я не знал даже, что есть добрые и злые ветры, которые могут пригнать и отогнать дичь, стереть ее следы и вовремя предупредить ее о приближении охотника. А теперь ветер — мой друг, и я радуюсь, когда веет Кей-вей-кеен, северо-западный охотничий ветер. Я теперь умею рогом из березовой коры подманивать лося.

Я слушал все, что говорил старший брат, стараясь запомнить каждое слово, чтобы ни одно из них не ускользнуло из моей памяти. Ведь я сделал первый шаг по тропе мужчины. Мой старший брат разговаривал со мной, как равный с равным, положив руку мне на плечо. Огонь постепенно угасал, порой голос брата становился тише, и я не знал, происходит ли все это наяву или, быть может, я вижу только сон в типичной для моей матери над озером.

Внезапно я вздрогнул. Шкура, заслонявшая вход в типи, вдруг сильно закачалась, и я увидел голову Тауги. Большой пес, пес-друг, одним прыжком бросился к моим ногам. Брат рассмеялся.

— Он отыскал тебя. Он за тебя беспокоится. Ты говорил ему, что боишься путешествия в селение Молодых Волков?

Я тоже смеялся. Брат не насмехался надо мной. Его смех был таким же дружелюбным и веселым, как радость Тауги. Я был счастлив, что я здесь не один, что рядом со мной брат, что Тауга, добрый, старый, умный пес, нашел меня.

Так началась моя новая жизнь.

Быстро, очень быстро бегут дни в лагере Молодых Волков. Трудно уловить мгновения, когда с ветвей упали пушистые шапки снега, сброшенные первым весенним ветром, когда ветви украсились весенними почками и когда первая почка лопнула, и засиял цветок.

Время проходило среди тренировок, лесных походов, охоты. И, как с течением лет покрывается рисунками шкура бизона, на которой изображается история племени, так рос и наш опыт. Каждый поход, каждая охотничья тропа учили чему-нибудь новому.

В лагере было много таких, как я, только что взятых из материнских палаток. Но каждый из нас уже хотел быть взрослым мужчиной и знаменитым воином, каждый хотел командовать другими. Поэтому каждый стремился показать, что он умнее, сильнее и ловчее остальных.

Больше всех я полюбил мальчика из рода Совы, который был немного старше меня. Я называл его Куку-куру-тоо — Прыгающей Совой, потому что он прыгал дальше и выше всех нас. Мы стали настоящими друзьями, но дружба наша началась довольно странно.

Когда я появился в лагере, Сова был уже вожаком самых младших Волков. Высокий, с длинными, крепкими ногами и никогда не стриженными волосами, он был сильнее и выносливее многих других.

На следующий день после приезда, разыскивая брата, я вышел на рассвете на Площадь Большого Костра, вокруг которой стояли палатки лагеря. Там я встретил нескольких мальчиков, которые, не говоря ни слова, быстро окружили меня и стали разглядывать мою голову. Я не понимал, в чем дело, и, чувствуя, что они, не отрываясь, смотрят на мои волосы, стоял молча, встревоженный и сердитый. Со всех сторон подходили все новые ути с луками в руках. Наконец самый высокий из них — а это и был Прыгающая Сова — выступил вперед и сказал пронзительно высоким голосом:

— Ути, смой краску со своих волос. Ты выглядишь, как старик. Если хочешь остаться с нами, у тебя должны быть такие же волосы, как у нас.— И он провел рукой по своим блестящим от медвежьего жира космам.

В селении мои более светлые, чем у других, волосы никого не удивляли. У нас было известно, что мою мать чужестранка, что она не индейского рода. Но здесь никто об этом не знал. Прыгающая Сова и другие подумали, что я покрасил волосы, чтобы походить на старых, опытных воинов, у которых волосы с годами приобретают цвет березовой коры. Но я решил ничего не объяснять. Презрительные grimасы мальчиков вызывали у меня гнев. Я пожал плечами, глядя в глаза Прыгающей Сова:

— Если хочешь, сам вымой свои волосы. Я своих не крашу.

— Не смоешь?

— Нет.

И тогда по знаку Прыгающей Совы мальчики бросились на меня. Я вырывался, отбивался, лягал во все стороны ногами и даже кусался, стараясь освободиться. Но десятки рук схватили меня и потащили на берег полужамерзшей речки. Я ничего не мог сделать. Через минуту моя голова оказалась в воде, а Прыгающая Сова и другие принялись ее скрести, оттирать песком, дергать меня за волосы. Я захлебывался водой, едва сдерживал слезы от ярости и боли.

Наконец меня отпустили.

Исцарапанная кожа горела, из разбитого лба текла кровь. Смешиваясь с водой, она начинала тут же замерзать на лице. Только теперь я почувствовал холод. Куртка висела на мне лохмотьями, обнажая исцарапанную грудь и руки, я весь промок. Я взглянул на стоявших вокруг меня мальчиков, и, хотя меня душила злость, мне вдруг захотелось смеяться — такое разочарование было написано на их лицах. Они поняли, что я не красил волос.

Но злость была сильнее желания засмеяться. А боль еще усиливала ее. Я не мог простить насилия над собой, если хотел сохранить свое достоинство. Они обидели меня, и теперь один из них должен был за это поплатиться — тот, из-за которого все случилось. Тем более, что Прыгающая Сова стоял прямо передо мной, а его растерянный вид и бесконечно удивленные глаза еще больше злили меня. Сжимая кулаки, но спокойным голосом я сказал ему:

— Ути из рода Совы! Ты оскорбил меня, не поверив моим словам. Пусть твои уши хорошо слушают, что скажет тебе сын Высокого Орла.

Он поднял руку в знак того, что внимательно слушает.

— В присутствии этих Молодых Волков, — продолжал я, — я буду с тобой драться. Если я тебя одолею, ты извинишься передо мной.

Он снова поднял руку в знак согласия.

Один из мальчиков побежал к палатке за медвежьим жиром, мы же разделись до пояса, готовясь к борьбе. Мороз был такой, что от каждого шага раздавался треск, будто мы ступали по сухому хворосту. Я еще не согрелся после вынужденного купания, и мне казалось, что моя кровь превратилась в лед.

Минуты тянулись бесконечно, как зимняя ночь во время похода.

Окоченевшими руками я натер куском жира грудь и руки. То же сделал и мой противник — и так же неловко. Видно, мороз не щадил и его.

Среди наступившей тишины мы начали прыгать вокруг друг друга. Первым нанес удар Прыгающая

Сова. Но он плохо рассчитал прыжок, поскользнулся и, падая, сбил меня с ног. Мы оба повалились в снег. Трудно сказать, кто из нас брал верх. Прыгающая Сова был, правда, выше и сильнее, но он боролся, чувствуя свою вину, а у меня гнев удваивал силу.

Но все же настала минута, когда я стал сдавать. Мое поражение казалось неминуемым, но тут я вдруг почувствовал, как кто-то поднимает меня вверх и стрывает от противника. И вот мы оба очутились под мышками у Овасеса.

Вскоре я сидел на шкурах внутри типи и потихоньку потирал спину. То же самое делал и Прыгающая Сова, сидевший напротив меня. Мы смотрели друг на друга исподлобья, как недавние враги.

Но теперь уже не с такой злостью, а скорее с оттенком сочувствия, потому что на моей, равно как и на его спине, отчетливо выступали следы кожаного ремня Овасеса.

Я первым нарушил молчание.

— Скажу тебе, что там, над речкой, я уже думал, что не выдержу холода, и хотел сдаваться.

Сова внимательно посмотрел на меня. То, что я сказал, было сказано спокойно и без злости. Он встал и подошел ко мне.

— И я тоже, — робко ответил он, протягивая мне руку.

С этих пор началась наша дружба, самая сильная из всех дж. жб. Она росла во время наших охотничьих походов, скитаний по лесам и горам в долгие месяцы многих лет, проведенных вместе.

Сквозь отверстие типи было видно розовеющее небо над верхушками елей. Уже настал месяц Лопаящихся Почек. Пора вставать: во время восхода солнца можно добыть больше дичи, чем за весь остальной день.

Поэтому я вскочил с постели и побежал к речке. Ночью меня мучил Нанабун, Дух снов: я лежал связанный в пещере, а ко мне приближался с ревом, скаля клыки, черный медведь с огненной пастью. Это был очень дурной сон. Вечером у меня горело все тело и болела голова. Овасес сказал, что своим укусила маленькая муха кеовакес — эта муха своим жалом насыщает на людей горячку и плохие сны.

Сейчас я бежал к речке, как и каждое утро, но был еще слаб. Ноги подгибались, будто земля была устлана мягким пухом диких гусей. Голова была пустая и разбухшая: мне казалось, что в ней переливается тяжелая вода. А тело мое за ночь постарело на много больших солнц. Я должен был избавиться от слабости, прежде чем отправлюсь в лес. Самое лучшее лекарство от слабости — искупаться в реке.

Я прыгнул в воду. Мое тело пронзили тысячи острых шипов. Речка в месяц Лопаящихся Почек несет еще много зимнего льда.

Тепло цветущих лугов и зеленеющей чащи сюда еще не доходит. Даже лось, когда плавает, еще не выходит на середину реки, а держится ближе к берегу.

Мои руки рассекают спокойную утреннюю поверхность реки, вода освежает мне лицо и холодит лоб. С каждым движением я становлюсь все здоровее и сильнее. Обратная дорога к типи уже гладка и тверда. Тауга, который бежит за мной, визжит и скулит, жалуясь, что я слишком быстро убегаю от него. Он опять шляется по лесу, бока у него ввали, в густой лохматой шерсти запуталась прошлогодняя хвоя. Его ночная охота, видно, была не очень удачной, и сейчас у него нет желания бегать взапуски.

Когда первые лучи восходящего солнца пробивают верхушки елей, мы, вооруженные ножами и луками, отправляемся в лес. За огромной, слегка сгорбленной фигурой Овасеса следуют четверо мальчиков — Прыгающая Сова и, кроме меня, еще двое ути без имени. Я среди них самый низенький и иду сзади всех. Нам приходится здорово вытягивать ноги, чтобы попадать в следы Овасеса. Ведь мы должны ходить, как воины, и оставлять на тропах только один след.

Мы вышли на широкую поляну, окруженную с трех сторон изгибом реки. Со стороны леса доступ к ней защищали поросшие кустарником скалы. Здесь Овасес остановился.

— Смотрите на эту скалу. Когда вся она будет освещена солнцем, вы должны быть на поляне. А сейчас отправляйтесь на охоту в лес на ту сторону реки.

Конечно, мы побежали вдвоем с Прыгающей Совой. Там, где река делала самый крутой поворот, мы решили переправиться на другой берег. Здесь было самое узкое место. Одежду мы связали ремнями и укрепили на головах, луки и колчаны повесили за спину. Сова первый пригнулся, прыгнул с берега в воду и, подхваченный течением, скрылся за поворотом. Я прыгнул за ним.

На этот раз я не чувствовал холода. Все внимание я сосредоточил на том, чтобы не замочить одежду и не дать течению слишком далеко отнести меня вниз. Течение было сильное. Над торчачими из воды скалами взлетали пенистые брызги. Нужно было плыть осторожно, чтобы не наткнуться на скалы. Между тем плохо прикрепленная одежда все больше мешала мне, и течение сносило меня вниз по реке. Кроме того, я еще был довольно слаб, и меня унесло бы далеко вниз, если бы Прыгающая Сова не протянул мне с берега длинную ветку. Но здесь наши дороги должны были разойтись. Охотиться нам было приказано в одиночку.

К назначенному месту я явился первым, но с пустыми руками. Я довольно неуверенно поглядывал вокруг, но, увидев двух других ути, немного успокоился. Им повезло не больше, чем мне. В их колчанах было столько же стрел, сколько до охоты. Нелегко неопытному ути подкрасться к добыче. Нана-бошо, Дух животных, вместе с верхним ветром часто успевает предупредить оленя об охотнике прежде, чем засвистит тетива лука.

Овасес, не шевелясь, сидел на скале, глядя на ее подножие. Он был неподвижен, как Скала Безмольного Воина. Мы расселись вокруг, не нарушая молчания.

— Смотрите внимательно! — наконец произнес Овасес.

Мы посмотрели туда, куда указывала его рука, и увидели на противоположном берегу Прыгающую Сову. Он шел, сгибаясь, неся что-то на плечах.

— Смотрите внимательно, ути, — повторил Овасес, — ваш брат убил горную козу. Нужно иметь зоркий глаз и длинные ноги, чтобы повесить череп козы в своем типе.

По знаку Овасеса мы вскочили и побежали к реке, по дороге сбрасывая одежду. Через минуту мы уже помогали Прыгающей Сове переправиться через реку вместе с его добычей — красивой и большой козой. Ей было не меньше двух лет. В ее левом боку около сердца были следы от двух стрел. Следы были так близко один от другого, что можно было подумать, будто из лука стрелял меткий и опытный охотник. Прыгающая Сова был серьезен и равнодушен. Так же серьезен и равнодушен, как Овасес, который даже не похвалил его ни единым словом.

Но глаза у моего друга блестили, и он глубоко и быстро дышал. Он был горд. Даже мы трое, хотя нам не повезло, тоже гордились.

Солнце опускалось уже на вторую половину своего пути, когда мы подошли к лагерю. На этот раз первым шел Сова, неся на плечах свою добычу.

Это была первая убитая им коза, а старый обычный велит, чтобы мальчик, который впервые убил козу, сам принес ее в лагерь, сам выпотрошил и вечером пригласил друзей на пир.

После возвращения с охоты мы собираемся на поляне неподалеку от лагеря. Когда мы все уже там, приезжает на коне Овасес, а за ним бежит неоседланный мустанг. Ведь каждый из Молодых Волков должен научиться владеть оружием и ездить верхом так же свободно, как дышит и говорит, ходит и ест. Нелегко дается это искусство, которому обучает нас Овасес. Мне оно дается особенно тяжело, так как у меня еще не зажило бедро после первого падения с коня и к тому же плохо слушаются руки, утомленные вчерашними упражнениями в метании томагавка.

По знаку Овасеса я прыгаю на неоседланного мустанга. Теперь я должен мчаться так, чтобы Овасес не мог догнать меня. Я знаю, что, если он меня догонит, на мою спину обрушатся удары кожаного ремня. А рука у Овасеса тяжелая. Но если мне повезет проехать вокруг поляны, не получив ни одного удара, я выйду из испытания победителем.

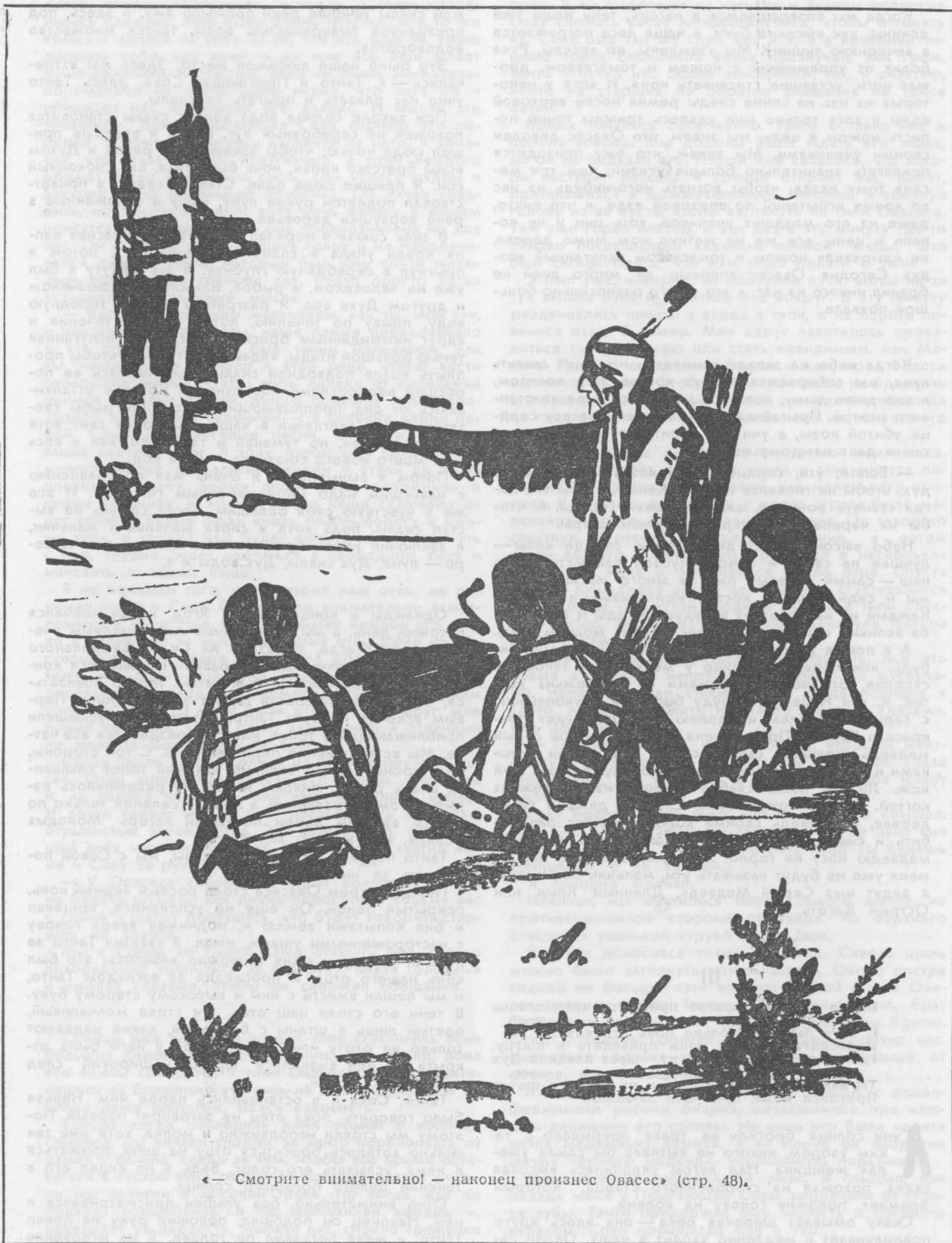
Подбегая к коню, я хватаюсь руками за кожаный ремень, опоясывающий его, и припадаю к вытянутой шее.

Я мчусь прямо вперед, конь сам обходит редко разбросанные на поляне деревья. Сзади я слышу стук копыт коня Овасеса. Оглядываюсь. Меня отдалает от него расстояние не больше взятой дважды длины лошади. Овасес уже отводит назад руку с ремнем и немного нагибается вперед. Чувствую, что еще минута, и мне не миновать жгучей награды за плохую езду. Еще больше пригибаюсь к шее моего мустанга и впираюсь пятками в его ребра. Половина дороги уже позади. Овасес немножко отстал, но через минуту начинает снова приближаться. Шумное дыхание его коня я слышу уже прямо над ухом, а до группы мальчиков, стоящих на краю поляны, остается еще целый полет стрелы.

Я уже слышу над собой пронзительный свист ремня, но тут мне удается так дернуть коня за гриву, что он отскакивает в сторону и ускользает от погони, а я, держась за кожаную опояску, соскальзываю под брюхо лошади. Ремень пронесется у меня над головой, а разогнавшийся конь Овасеса пробежит мимо.

Это мне удалось впервые. Прежде чем Овасес повернул коня, я уже был возле мальчиков.

После урока верховой езды начинаются испытания ловкости в обращении с оружием. Вот Прыгающая Сова мчится галопом по направлению к дереву, на котором нарисован круг величиной с человеческую голову. Ветер обвевает лицо моего друга, отбрасывает с высокого лба волосы, заплетенные в мелкие косички. Глаза его впились в круг. В поднятой руке он держит нож. Минута, дерево, Сова выпрямляется и быстрым движением бросает нож в цель. Перья, украшающие рукоятку ножа, издают тихий свист, острие глухо ударяет в кору. Сова оглядывается, и его лицо мрачнеет: нож вонзился за пределами круга. Овасес выдерживает нож и дает другому. Я же не знаю, огорчаться ли мне из-за неудачи друга или радоваться, что только я один сегодня сумел трижды попасть прямо в цель.



« — Смотрите внимательно! — наконец произнес Овасес » (стр. 48).

Когда мы возвращаемся в лагерь, тени наши уже длинные, как высокие буки, а чаща леса погружается в вечернюю тишину. Мы утомлены, но веселы. Рука болит от упражнений с ножом и томагавком, дрожат ноги, уставшие стискивать коня. И хотя у некоторых из нас на спине следы ремня после верховой езды и хотя только мне удалось трижды точно попасть ножом в цель, мы знаем, что Овасес доволен своими учениками. Мы знаем, что ему приходится прилагать значительно больше усилий, чем три месяца тому назад, чтобы догнать кого-нибудь из нас во время испытаний по верховой езде, и что никто, даже из его младших учеников, хоть они и не попали в цель, все же не метнул нож мимо дерева, не «дыривил» ножом и томагавком испуганный воздух. Сегодня Овасес впервые за много дней не бранил никого из нас, а это у него равносильно большой похвале.

Когда небо на западе темнеет и начинает светить луна, мы собираемся вокруг костра. Над костром, в холодном дыму, коптится мясо лося и распластанного осетра. Прыгающая Сова подает Овасесу сердце убитой козы, а учитель делит его на четыре части и дает каждому из нас.

— Ешьте, ути, сердце белой козы и просите ее дух, чтобы не гневался на вас. Желаю, чтобы вы, когда станете воинами, ели медвежье сердца, и чтобы их черепа часто украшали ваши шатры.

Небо высоко, запах дыма горек, сердце козы — лучшее на свете и самое вкусное лакомство. Пир наш — самый веселый пир за много месяцев, хоть мы и сидим вокруг костра молчаливые и важные. Каждый из нас смотрит в будущие годы и видит себя великим охотником. Овасес молчит, молчим и мы.

А я пою в душе песню о том, что буду когда-нибудь, как Непемус, и лицо у меня будет такое же суровое, отмеченное шрамами от медвежьих когтей, и, как Непемус, я буду бороться врукопашную с серым медведем и одолею его. Это будет прекрасная борьба. Против меня станет большой серый медведь страшной свирепости, с огромными клыками и когтями, а у меня будут мое мужество и мой нож. Лезвие ножа слабее любого из медвежьих когтей. Лезвие ножа можно сломать даже о ветку дерева, а медведь своими когтями может раздробить и скалу. Но я буду победителем и поставлю медведю ногу на горло. Я возьму себе его имя, и меня уже не будут называть ути, мальчик без имени, а дадут имя Серый Медведь, Длинный Клык или Острый Коготь.

III

Как я жажду в шатре приютить истомленное тело

И хотя бы одну только ночь отдохнуть!
Приведите, о ноги, меня приведите к шатру.
Где Нанабун меня посетит — этот сладкий Дух

снов,
Ты завесу у входа откинь и на отдых в шатер
Пригласи меня, брат мой любимый.

Лучи солнца бросили на траву покрывало с таким узором, какого не выткала бы самая умелая женщина. Над лугом склонилась высокая скала, похожая на сгорбленного старца, который дремлет, положив голову на колени.

Скалу омывает широкая река — она здесь круто поворачивает и медленно уходит в чащу. Около са-

мой скалы течение реки промыло яму, и здесь, под прозрачной поверхностью воды, таится множество водоворотов.

Это было наше любимое место. Здесь мы встречались — я, Танто и Прыгающая Сова. Здесь Танто учил нас плавать и прыгать со скалы.

При заходе солнца вода вокруг скалы становится похожей на серебряный луг. Когда я впервые пришел сюда ночью, чтобы заключить с рекой и Духом воды братство крови, ночь была тиха, как спокойный сон. Я пришел сюда один. Став на скале, я приветствовал поднятой рукой луну, чащу и отраженные в реке верхушки деревьев.

В знак союза я порезал себе руку, и красная капля крови упала в спокойное течение. А потом я прыгнул в серебряную глубину. В эту минуту я был уже не человеком, а рыбой, ближайшим союзником и другом Духа вод. Я разгребая руками холодную воду, плыву по течению, потом против течения и вдруг неожиданным броском, как рыба, испуганная тенью большой птицы, кидаясь в сторону, чтобы проплыть возле подводной скалы, едва касаясь ее поросшей водорослями поверхности. Когда я отталкиваюсь от дна, проплывающие надо мной рыбы светятся, будто светлячки в чаще, только их свет хотя и дружелюбен, но туманен и таинствен, как и весь мир моего нового союзника — Духа вод.

Потом я выныриваю. Я очень мал по сравнению с нависшим надо мной каменным гигантом. И все же я чувствую себя большим, когда сажусь на выступ скалы. Ведь хотя я снова маленький мальчик, я заключил новое братство. Мы молчим все четверо — луна, Дух скалы, Дух воды и я.

Однажды в конце месяца Ягод, когда кончался погожий день, а мы, утомленные многочасовым учением, как всегда, отдыхали на Скале Безмолвного Воина, со стороны больших равнин послышался конский топот. Сначала он был тихим. Могло показаться, что это от усталости шумит у нас в ушах. Первым вскочил на ноги Танто, потом и мы услышали приближающийся топот, который раздавался все четче. Мы встревоженно переглянулись. С той стороны, со стороны нашего селения, конский топот слышался очень редко. Никому из нас не разрешалось ездить в том направлении, а жители селения только по самым важным делам посещали лагерь Молодых Волков. Кто же это мог быть?

Танто первым соскочил со скалы, мы с Совой побежали за ним.

Перед шатром Овасеса стоял рослый черный конь, скрытый пеной. Он еще не успокоился, танцевал и бил копытами землю и, поднимая вверх голову с настороженными ушами, ржал. Я схватил Танто за локоть, сердце у меня тревожно забило: это был конь нашего отца. Я проследил за взглядом Танто, и мы пошли вместе с ним к высокому старому буку. В тени его стоял наш отец. Он стоял молчаливый, одетый лишь в штаны с бахромой, какие надевают только на охоту или в бой. Грудь у него была открыта, на ней виднелись шрамы и широкий след медвежьих когтей.

Танто, Сова и я остановились перед ним. Нельзя было говорить, пока отец не заговорит первый. Поэтому мы стояли неподвижно и молча, хотя мне так сильно хотелось броситься отцу на шею, прижаться к нему, услышать его голос. Ведь я не видел его в течение целого большого солнца.

Отец внимательно, без улыбки присматривался к нам. Наконец он подошел, положил руку на плечо Танто, а меня погладил по голове. Я на мгновение

ослаб, сердце подкатилось к горлу, а глаза наполнились слезами. Мне было очень грустно, и в то же время я злился на себя за то, что все еще не умею держать себя, как воин, и во мне все еще живет душа девчонки. К счастью, отец не очень внимательно смотрел на меня. Было видно, что хотя он и сблизает нас, но мысли его далеко. И мысли эти тревожны. Даже Прыгающая Сова хорошо это понимал, потому что, искоса взглянув на него, я заметил, что глаза у него испуганные, а руки немного дрожат. Отец велел нам сесть, сам уселся рядом и закурил свою маленькую трубочку. Он начал говорить, но как-то странно: хотя речь велась в нашем присутствии, казалось, что она предназначена не для нас. Он смотрел поверх наших голов и не поворачивался даже к Танто, который был уже почти молодым воином. Он говорил так, будто просто хотел услышать собственные мысли.

— Когда я был таким мальчиком, как ты, мой ути, и как ути из рода Совы, наше племя перекочевало в эту страну. Когда я был таким мальчиком, как вы, наше племя пришло к этой реке, чтобы вести сложную жизнь. Чтобы жить далеко от поселений окимов — белых людей. Много больших солнц проходило над нашим селением, и в селении царил покой. Слышались веселые песни, а воины плясали танец удачных охот. Я хочу, чтобы мои сыновья как можно скорее сделались воинами и стали со мной плечом к плечу. Белые люди снова вспомнили о наших селениях, и злые тучи все чаще скрывают от нас солнце. Белые люди вновь нашли дорогу к моему типи, и трудно нам будет принудить их свернуть с нее, трудно будет охотиться в свободном лесу и кочевать в нашей чаще.

Я не понимал того, что говорил наш отец, не понимал этого и Сова. Один Танта внимательно всматривался в лицо отца, будто понимал каждое его слово и улавливал те мысли, которых отец даже не высказывал вслух. Меня пробирала дрожь, но не потому, что солнечный диск уже коснулся верхушек деревьев на западе и над землей потянуло вечерним холодом. Хотя со мной были отец, брат и друг, мне порой казалось, что я один, затерянный и отданный на милость безжалостным врагам.

Сразу после захода солнца из чащи вернулся Овасес. Отец молча поздоровался с нашим учителем, и, не говоря ни слова, они вместе ушли в шатер. И почти сейчас же из типи послышались короткие, отрывистые звуки бубна. Это был сигнал, созывающий всех мужчин на совет. Тогда Танта схватил меня и Сову за руки.

— У Овасеса собирается совет воинов. Если вы не будете шуметь, как дикие поросята, я возьму вас с собой к шатру послушать, что будут говорить старшие на совете.

Мы с Совой не смели даже открыть рот, только лихорадочно уцепились за его руку, живая головами и умоляя глазами, чтобы он сдержал обещание.

Солнце уже зашло, и вокруг типи сгустились тени больших деревьев. Долгие минуты мы ждали, пока все воины соберутся в типи Овасеса, ждали, притаившись за ближними кустами, не смея произнести ни слова даже шепотом, боясь вздохнуть.

Только когда последний воин вошел в жилище Овасеса, мы начали следом за Танта переползать от камня к камню, следя за тем, чтобы все время оставаться в густой тени сосен. За тридцать шагов от типи мы залегли в высокой траве. Но тогда, как по приказу волшебника, о нас вспомнили комары и, наказывая за дерзость, жалили нас, словно гремучие

змеи. Я не выдержал их натиска и знаком попросил Сову сломать ветку можжевельника, чтобы отгонять их. Сова был так же глуп, как и я, а в вечерней тишине треск сломанной ветки прозвучал, как гром. Танта угостил нас обоих мокасином, но, к счастью, никто из старших не обратил внимания на треск ветки.

Время тянулось бесконечно. Танта оставил нас и посполз вперед. Мы должны были ждать его знака, но он не подавал его. Порой мне казалось, что вскоре наступит рассвет и солнце откроет нас, ребят, притаившихся в можжевельнике. Наконец я высунул голову из-за куста, чтобы взглянуть на типи Овасеса. Там уже горел костер, и как раз в эту минуту где-то близко послышалось кваканье ночной жабы. Это был сигнал брата, что нам надо ползти к типи.

Я был уже, наверно, на половине пути, когда из-за туч вышла луна и осветила все вокруг. В эту минуту раздвинулись шкуры у входа в типи, и на пороге появился отец. Я замер. Мне вдруг захотелось провалиться сквозь землю или стать невидимым, как Маниту. Правда, отец стоял боком к нам, но я боялся взглянуть на него, чтобы своим взглядом не привлечь его взгляд. Так охотящийся волк или охотник никогда не глядит на свою жертву, чтобы она не почувала его присутствия.

Иногда сердце мое замирало: я мог поклясться, что отец смотрит прямо на меня и сию минуту подойдет и поднимет меня вверх, как маленького кролика. К счастью, это только у моего страха было маленькое сердце. Отец не заметил меня. Он тихонько свистнул. В ответ послышалось ржание, а потом звуки легкого галопа. Конь пробежал в нескольких метрах от меня и остановился около отца. Спустя минуту луна снова зашла за тучи, и в сгустившемся мраке из-за откинутой входной завесы в типи блеснул костер. Потом на его фоне мелькнула фигура отца, входившего в типи.

Только теперь я почувствовал слабость. Все это время я лежал с напряженными до боли мускулами. Челюсти я так стиснул, что, когда подполз к Танта, не мог разжать их. Танта блеснул глазами, как злая рысь.

— Ты ведешь себя, как дикобраз, который мчит-ся куда глаза глядят, не советуясь с головой. Глаза твои слепы, как у щенка, а в голове у тебя живут белки.

Брат бранился так тихо, что я едва его слышал. — Как ты мог выйти из-за камня, когда луна как раз в эту минуту хотела осмотреть мир? Ты будешь женщиной, а не воином...

Я покорно молчал. Наконец мы очутились около самого шатра, на противоположной стороне от входа. Из верхнего отверстия узенькой струей вился дым.

Изнутри доносился тихий разговор. Сквозь щель можно было заглянуть внутрь шатра. Около костра сидело не больше пяти воинов: спиной к нам Овасес, рядом с ним Таноне, Сломанный Нож, брат Овасеса, и старый воин Гичи-вапе, Большое Крыло. Отец и колдун Горькая Ягода сидели против нас. Несколько других воинов уселись подальше от костра, вне освещенного круга.

Колдун был в шапке из волчьего меха, с отшлифованными рогами бизона, качавшимися при каждом движении его головы. На шею его была надетая нитка медвежьих клыков, а на плечи он набросил шкуру черного медведя, украшенную перьями.

Меня охватил неодолимый ужас. Я слышал, как позади меня у Прыгающей Совы защелкали от страха зубы. Танта придержал ему челюсть и погрозил кулаком. Сова прошептал мне в ухо:

— Откуда здесь взялся Горькая Ягода? Чьи глаза видели его у нас?

Действительно, откуда он мог взяться?

Он уже месяц находился в селении над озером. Мы не видели его ни до приезда отца, ни тогда, когда он входил в типи Овасеса. Мы дрожали от страха. Даже Танто дышал чаще, чем обычно. Я не мог оторвать глаз от Горькой Ягоды. Я был уверен, что он видит нас, знает про нас, и вот сейчас по его приказу духи мертвых покарают нас за дерзость. Я прижался к Сове, ожидая удара. Танто, видя, что с нами творится, оттолкнул нас немного назад.

Мы услышали голос отца:

— Слушайте меня, великие мужи, пусть будут ваши уши широко открыты. Четыре малых солнца тьму назад к нам прибыл белый человек с говорящей бумагой. Бумага велит нам покинуть нашу землю и идти жить в резервацию. Так хочет вождь белых Вап-нап-ао.

Дальнейших слов я не расслышал. Тем более, что Танто опять резким движением руки приказал нам отползти назад. Только несколько слов долетело до наших ушей, но мы не могли понять их значения.

Танто остался около палатки и, наверно, знал все, о чем говорили воины. Меня охватывала все большая тревога, потому что я видел, как Танто несколько раз сжимал кулаки, а раз даже схватился за рукоятку ножа, висевшего у него на поясе. Голос отца вновь повторил несколько раз имя Вап-нап-ао. Потом раздался голос Овасеса и голос Горькой Ягоды. Глуховатый Большое Крыло говорил громче других, и мы хорошо слышали, как он говорил, что над селением нашего племени снова, как в дни его молодости, собираются черные тучи. Потом опять послышался голос отца, но как раз тогда Танто приказал нам отползти и сам пополз вслед за нами.

Когда мы вернулись под тень сосен, я схватил его за руку.

— Танто,— попросил я,— скажи, о чем говорили воины?

Танто наклонился к нам.

— То, о чем они говорили, не предназначалось ни для меня, ни для вас. Я не помню, о чем они говорили.

— Танто...

— Не помню,— повторил он и отошел.

Мы вернулись с Совой в наш типи. Только здесь Сова немного набрался храбрости. Он быстрее меня избавился от страха и печали, а поэтому разошелся на меня.

— Ты ути и останешься им, а в твоей голове действительно живут белки. Неужели ты не можешь ничего придумать, чтобы твой брат разговорился? Не можешь?

Я действительно не мог. Я не знал, каким образом можно что-нибудь выведать у брата. Танто слышал весь разговор и хорошо видел всех его участников, до нас же долетали только отдельные слова, понять которые без сопровождавших их жестов и движений невозможно. Танто понял, что сказал отец, он видел, какие знаки делал колдун, а это и было самое главное. Но Танто нас прогнал, а сам тоже ушел еще до окончания совета. Наверное, он нашел, что ни мы, ни даже он не имеем права знать все мысли старших. Я был обижен на Танто, но не сердился. Он, конечно, знал, что делает. Зато Сова начал меня раздражать.

— А в твоей голове бегают хорьки! — крикнул я.— Ты был вместе со мной и сам мог спросить. Ты

же немного старше меня, и брат скорее послушался бы тебя.

Однако, к моему удивлению, Сова не захотел больше ссориться. Наверно, и он был больше встревожен, чем сердит, и гневом хотел только скрыть от себя и от меня свою тревогу. Мы долго сидели у костра, размышляя о том, как защитить селение от черных туч и почему, если речь идет о белых людях, нашему племени должны угрожать черные тучи.

Мы все равно ничего не понимали и ничего не могли придумать. Глаза у нас начали слипаться. Я подбросил в огонь немного свежего можжевельника, чтобы отогнать комаров, которые опять о нас вспомнили, и мы улеглись спать.

Но из первого сна нас неожиданно вырвал тревожный звук бубна и резкий звук дудки. Мы вскочили на ноги и побежали на Площадь Большого Костра.

Там пылало пламя трех костров, вокруг которых уже собрались все взрослые воины лагеря.

Звучала медленная музыка, как предвестие, как призывный сигнал. Грохотали барабаны, свистели дудочки, украшенные орлиными перьями, и тисовые свирели, тархтели трещотки из черепаших панцирей и оленьих копыт.

Вдруг на поляну выбежал, высоко подпрыгивая, воин, раскрашенный черными и желтыми полосами. Его ноги были разрисованы звездами и полумесяцами и украшены свисающими с колен и щиколоток конскими хвостами. Бедро стягивала повязка, обшитая перьями ворона... Воин изображал ночь.

Вслед за ним из темноты огромным прыжком выскочил другой танцор — день. На нем сиял султан из белых орлиных перьев, лицо его было покрыто приветственными цветами — белым и голубым, мокасины его тоже были светлые, ноги украшали белые свиные перья.

Так начался танец, изображавший борьбу дня с ночью — танец в честь прибывшего в лагерь вождя.

Мы смотрели во все глаза. Бубны били все быстрее, и все быстрее бились наши сердца. Глядя на борьбу дня с ночью, мы и сами начали раскачиваться и отбивать ногами такт. Перед глазами мелькали белые перья орла и черные — ворона, а дудки и флейты свистели над головами, как тучи летящих стрел.

IV

Прилетите, орлы поднебесные,
Прилетите и сядьте поближе,
А потом войдите в шатер.
Я прошу вас об этом.
Войдите, орлы, к нам приблизьтесь,
Поселитесь в наших шатрах.

Когда кончается лето, вава — дикий гусь — улетает на юг. Над чащей начинает петь Кей-вей-кеен, северо-западный ветер. Потом снег вновь пригибает к земле белые березы, мороз сковывает льдом озеро. Зимой слышатся голоса волчьих стай, которые воют на парящую в небе луну, скликаются, собираясь на охоту, поют Песню Смерти одиноким лосям и оленям.

Мы тогда учимся искусству ставить силки, ловить рыбу в прорубях, в одиночку ходить в занесенную снегом чащу, управлять собачьей упряжкой. Но бегут быстро не только дни, бегут недели, месяцы. Трудно объять их памятью, невозможно рассказать обо всем.

И вот слышится над лесом крик возвращающихся гусей. Брат-мокве, медведь, выходит из зимней берлоги. Медведица выводит малышей на теплый солнечный свет. Братья-бобры вновь высовывают круглые головы из воды возле своих плотин.

Молодые Волки начинают учиться ездить верхом и строить лодки. Быстрое весеннее течение несет безразное каное со скоростью ветра. Потом река успокаивается — уже лето. Мы плывем на отмели, где греются на горячем летнем солнце жирные щуки.

Мы уже далеко не так малы и беззащитны, как в первые месяцы пребывания в лагере. Овасес скупится на слова, не всегда скупится на ремень. Но всегда щедро отдает нам свои знания. Он знает также, что самым лучшим учителем бывает нужда и необходимость. В первый и второй годы жизни в лагере он еще оделяет нас пищей. Но на третий и четвертый годы он вводит новый обычай: кто не сумеет добыть себе пищу на охоте, тот... не ест. Такие испытания продолжают сначала неделю, потом две, три...

И вот на пятый год школы природы, с начала месяца Ягод и до первого снега, мы должны рассчитывать только на собственное копье и лук, на сообразительность следопыта и зоркость охотника. Но никто из нас не бывает одинок в своих первых попытках. Некоторые мальчики — лучшие следопыты, зато у других даже птица не уйдет от стрелы, а третьи умеют подманывать зверя или находить новые рыбные места. Поэтому один помогает другому. А собственноручно добытый кролик в тысячу раз вкуснее, чем подаренный старшими медвежий окорок.

Как быстро летит время! Вот уже опять воют волки, и дует над засыпанными снегом шатрами зимний северный ветер, и опять поет-журчит первая весенняя оттепель.

Я уже не маленький мальчик. Теперь мне не нужно становиться на камень, чтобы взобраться на спину коня. На маленьких ути, прибывающих в лагерь, мы смотрим свысока, как когда-то смотрел на нас Танто. Танто уже почти воин... Как быстро бегут в моей памяти те годы!

Снова прошел месяц Цветущих Деревьев. Над озерами раскричались дикие утки и гуси. Солнце грело все горячее, все дольше оставалось над чащей, и все удлинялся его дорога с востока на запад. Был месяц Ягод — октябрь.

В этом месяце, как и каждый год, мы проводили гораздо больше времени в лесу, чем в лагере. И чем дольше кто-нибудь из нас оставался один в лесу, тем большим уважением он пользовался у учителей. Лес стал уже для нас вторым домом и все доверчивее раскрывал перед нами свои тропинки и свои тайны.

В конце месяца Ягод я выследил близ Гремящих Ям берлогу серого медведя. У подножия Острых Скал мы с Прыгающей Совой нашли несколько волчьих логовищ. Мы уже умели читать по следам: проходил ли тропой человек, быстро ли шел, какого был роста, больной или здоровый, и следует ли видеть в нем друга или врага.

Лес уже стал для нас добрым старшим братом, кормильцем и жилищем. В нем мы черпали свою мудрость — знания о жизни, умение жить.

Убив медведя, мы не оставляли его череп на земле, а вешали его на ветку, украшали бусами и перьями, внутрь же сыпали табак — жертву Духу медведя. Тушку убитого бобра бросали в реку, ибо его стихия — вода.

Убив оленя, охотники кладут его так, чтобы голова была повернута в сторону Кей-вей-кеена, северо-западного ветра, перед мордой ставят посуду с едой и начинают танец: охотники изображают бег оленя, его прыжки, потом приближение охотников, сцену погони, нападения и смерти.

Наконец они подходят к убитому животному, глядят его и благодарят за то, что оно дало убить себя.

— Отдыхай, старший брат, — поют они.

А колдун, облаченный в оленью шкуру, с рогами на голове, говорит так:

— Ты принес нам свои рога, и за это мы благодарим тебя.

— Ты дал нам свою шкуру, и за это благодарим тебя.

— Ты наполнил своим мясом наши желудки, своей кровью наши жилы, и за это будь счастлив в Стране Вечного Покоя, где мы встретимся после смерти. О великий мудрый старший брат, прости нас за то, что мы должны были тебя убить.

— Прости, старший брат, — повторяют воины.

Мы никогда не убивали животных без надобности. Нас учили, что индеец имеет право охотиться лишь тогда, когда ему угрожает голод, что нельзя также выходить на охоту, если накануне приснился плохой сон или если колдун запретит охотиться. Ведь в чаще тоже есть враги — злые духи или зловредные маленькие душеньки, которые сбивают охотника со следа, заводят на бездорожье, в болота и топи.

Поэтому, когда нам приходилось провести ночь в лесу, мы не боялись ни зверей, ни грозы, ни ветра, ни темноты. Но стоило нам услышать какой-нибудь звук, которого никто из нас не мог объяснить, чтобы ночь сразу превратилась в ад, и не только для маленьких мальчиков. Мы корчились у костра, дрожа от страха, ибо нам казалось, что мы видим во тьме враждебных людям, деревьям и животным злых духов, слуг Канаги — скелеты без голов, бегущих оленей с выеденными внутренностями, сидящую на спине оленя слепую рысь с плачущим ребенком в зубах.

Бывали такие минуты, когда нам казалось, что призраки кружатся вокруг нас в бешеном хороводе, что каждый из нас видит их своими глазами и уж ничто не может нас спасти. Ночь проходила без сна, а на рассвете мы покидали страшное место, чтобы никогда уже сюда не вернуться.

Но месяц Ягод был чудесным месяцем. Наши игры продолжались целыми днями — впрочем, трудно было отделить забаву от учения и развлечения от труда.

Овасес, Сломанный Нож или Большое Крыло рассказывали нам о давних временах, о боях и войнах между племенами. А потом и мы, конечно, вели между собой войны, заимствуя из событий прошлых лет все то, о чем охотно вспоминали старики. Мы делились обычно на два отряда, состоявшие из одних ути — мальчиков без имени. Каждый из нас разрисовывал себе лицо и грудь военными красками и, как воин, вступающий на тропу войны, натирал свое тело жиром для защиты от насекомых. Старшие мальчики немного посмеивались над нами, поэтому мы с согласия Овасеса убежали из лагеря на несколько дней в лес, чтобы вести свои стычки и войны «между племенами».

Среди нас было два вождя — Прыгающая Сова и я. И сейчас, зажмурив глаза, я хорошо вижу поляну под Скалой Безмолвного Воина, где мы собирались перед походом, слышу голоса и вижу лица моих воинов, разрисованные красной, желтой и черной красками.

Перед нами речка. За речкой лес, куда вчера со своим отрядом выступил Прыгающая Сова. По приказу Овасеса мы должны были его сегодня выследить.

Мы знали, что он вошел в лес с северной стороны. Но я слишком хорошо знал своего друга, чтобы подумать, что его отряд будет придерживаться того же направления. Следовало также остерегаться разведчиков, которых мой осммотрительный друг наверняка оставил на опушке леса, чтобы они следили за нашим продвижением.

Переплыв речку, мы пошли по следам отряда Прыгающей Совы. Мы шли гуськом. Как только мы вошли в лес, я послал пятерых, чтобы они постарались обнаружить следы разведчиков Совы, а сам с остальным отрядом пошел по большой дуге на юг.

Таугу я, конечно, оставил в лагере. Я не хотел, чтобы нюх собаки помог нам в нашей борьбе, да и вообще запрещалось пользоваться чем-либо другим, кроме собственного зрения, обоняния и разума.

Мы шли молча. Одеты мы были, как воины на тропе войны: на нас были только набедренные повязки или охотничьи штаны. Из еды мы взяли лишь лейкник — перетертое в порошок мясо. Мы несли деревянные томагавки, копья с притупленными остриями и стрелы с деревянными наконечниками. Но на случай охоты каждый из нас получил от Овасеса по три острых стрелы.

Мы прошли порядочный кусок дороги, когда утреннее солнце начало подниматься над верхушками деревьев. Я остановил свой отряд, чтобы подождать разведчиков. Проходили долгие минуты тишины, молчания. Мы не двигались. Мимо нас пробежала ласка. Из-за куста выставил длинные уши кролик. Никто даже не шелохнулся, не потянулся за стрелой. Мы ждали. Скорее, чем я ожидал, слышалось несколько раз чмокание белки, все ближе и тише. Мы обрадовались. Это один из наших разведчиков явился с вестью о том, что обнаружены отчетливые следы противника.

Неужели Сова был так неосторожен, что не уничтожил своих следов? А может быть, он недооценил нас?

После короткого совещания мы решили разбиться на две группы. Я с частью ребят должен был идти по направлению обнаруженных следов. Вторая группа во главе с ути из рода Капотов должна была продолжать продвигаться на юг. Нашим сигналом должен был быть крик орлицы, сзывающей своих птенцов.

Разведчик быстро привел нас туда, где были обнаружены следы. Местность была каменистая, изрезанная большими оврагами, усыпанная обломками скал. Деревья росли здесь невысокие, а их кроны так переплелись одна с другой, что трудно было увидеть небо. Ручьи здесь протекали в вечной тени, на их берегах можно было найти следы соборлей и рыси. Разведчик указал несколько раз отиснутый на мягкой земле между камнями след мокасинов. Здесь прошли трое. Это было очевидно, как солнце на небе, и ясно, как речная вода, освещенная солнцем.

Какие же это разведчики шли так спокойно и не скрывая своих следов, как старые женщины, когда они идут стирать покрывала на берег озера? Что же это за разведчики, если они могли пройти по камням, не оставляя никаких следов, а между тем оставили ясные следы мокасинов на влажном мху?

Глядя на следы, я стал тихонько смеяться. Эта хитрость была слишком очевидна, чтобы завести

меня в ловушку. Но скоро я перестал смеяться: ведь по обнаруженному следу пошли четверо моих разведчиков, и они могут попасться в силки, расставленные Прыгающей Совой. Поэтому я пошел по следу вместе с одним ути, приказав остальным двигаться за нами на расстоянии полета стрелы.

Вскоре мы дошли до довольно неглубокого, но густо заросшего деревьями и кустами ущелья. Оба следа — следы мальчиков Совы и моих разведчиков — вели прямо в глубь этого ущелья. Я возвратился к своему отряду, еще более обеспокоенный судьбой тех четверых: ущелье было похоже на западню для рыси. Я чуял опасность. Я приказал, соблюдая глубокую тишину, окружить все ущелье и тщательно обследовать каждое дерево и каждый куст.

— Если в ущелье никого нет, пусть каждый даст сигнал криком орлицы.

Я остался вдвоем с одним разведчиком. Остальные разбежались тихо, как полдневные тени. Минуты тянулись нестерпимо медленно, меня беспокоила судьба разведчиков, которые пошли по опасному следу, будто дети на зов матери. Я злился на них. Может быть, они еще и разговаривали! А может быть, как самые маленькие ути, мурлыкали себе песенки о жирном молоке и белой копченой рыбе?

Наконец послышался крик орлицы, один, другой, третий... Итак, нам можно было безопасно войти в ущелье. Здесь царил сумрак, глубокий, как вода в темном пруду.

Дойдя до середины ущелья, я узнал все. Сердце у меня колотилось от гнева и злости. На середине тропинки была масса затоптанных следов. Под ближайшим кустом я нашел сломанную рукоятку томагавка. Один из мальчиков схватил ее с громким возгласом:

— Уфф!

— Узнаешь? — спросил я.

— Да. Это моего брата.

А его брат и был одним из четырех разведчиков, которые позволили Прыгающей Сове переловить их, как мышат. Все следы были четкими, такими четкими, как будто трава, мох и кусты громко рассказывали нам обо всем, что здесь произошло.

Прыгающая Сова просто окружил все ущелье, куда завели наших мальчиков, как за ручку, как на шнурке, предательские, отчетливые следы. Борьба была короткой: когда они попали в засаду, неприятель упал на них, как ворона на цыплят, и без всякого труда захватил их в плен.

— Что же делать дальше?

От места борьбы следы неожиданно начали путаться, теряться. Они уже не были такими ясными, нужно было, нагнувшись, внимательно разглядывать землю, чтобы найти сколько-нибудь ясный отпечаток ног. Следы вели в сторону речки и там пропадали. Я послал двух ребят вверх и вниз по речке, за каждым из них продвигался небольшой охраняющий отряд. Розыски были нелегки. Только когда солнце уже было в зените, прибежал один мальчик и принес перо. Оно принадлежало одному из схваченных Совой разведчиков. Итак, мы обнаружили дальнейшие следы.

Впервые за долгое время мы взглянули друг на друга без гнева и злости. Я не ошибся. Хотя Сова скрылся в северном направлении, сейчас его следы ясно вели на юг. Однако мы получили горький урок. Теперь уже нужно было продвигаться вперед как можно осторожнее, словно во вражеском лесу или перед лицом смертельной опасности. Вокруг разведчика, шедшего по главному следу, я

широко раскинул весь отряд, в любую минуту готовый к бою. Мы шли очень медленно, но без малейших остановок и в полной тишине. Нельзя было задерживаться даже для утоления жажды. Мы должны были расквитаться за наивность наших разведчиков.

Следы вели в сторону Красного каньона, граничившего с юго-восточным краем леса. Мы вошли в каньон неслышно, как тени. С этой минуты пришлось уже ползти под его стенами в густом сумраке. Приближался вечер.

Наконец сердце у меня радостно забилося: перед моими глазами открылся вид на небольшое озеро. На его южном берегу пылал высокий и яркий костер. В начале дня я оказался слишком уверенным в себе предводителем, а теперь Сова, видно, слишком уверовал в свою мудрость и безопасность, если, ничуть не скрываясь, разжег яркий костер.

Мы спрятались в прибрежных кустах, ожидая ночи.

Но у Совы были союзники: комары, какая-то птица, беспокойно кружившая над нами, и несколько ночных жаб, тяжело прыгающих вокруг нас.

Я опасался, что крик ночной птицы и кваканье жаб привлекут внимание противника, но, к счастью, Сова уже верил в себя без всякой меры. Он поставил охрану только с северной стороны, мы же начали медленно продвигаться по берегу озера, чтобы подобраться к лагерю именно с открытой южной стороны.

Я понимал, что нам нельзя сразу начинать битву. У меня недоставало четырех воинов. Освободить их будет трудно. Но чем труднее будет добиться победы, тем она окажется слаще. Мы должны были сначала освободить разведчиков и только потом напасть на лагерь противника.

Сова был непредусмотрителен. Он разбил лагерь слишком близко от группы высоких деревьев, стоявших у самой опушки леса, ветви которых свисали так низко, что их можно было коснуться рукой. Кроме того, он поместил пленных не в центре лагеря, а легкомысленно оставил их за освещенным кругом неподалеку от зарослей.

Когда пламя вспыхивало ярче, я хорошо видел всю четверку. Они лежали один возле другого, и их сторожил один из самых младших ути.

Меня беспокоило только одно: я не нашел у костра Прыгающей Совы. Это могло быть опасным.

Но нельзя было дольше ждать. На яркую луну как раз надвигалась широкая полоса туч. План у меня был простой, такой простой, что он должен был принести успех.

Я решил сам пробраться к пленным. Своим заместителем в отряде я назначил мальчика из рода Капотов. Это был сообразительный и хитрый мальчик. Я мог быть уверен, что он не допустит никакой неосторожности. Опасаться приходилось другого — что он будет слишком осторожен. В нескольких словах я объяснил ему свой план.

— Я пробираюсь к пленным, — шептал я. — Попытаюсь перерезать их пути, чтобы они были готовы принять участие в нашей атаке. Ты взберись на сосну, ближайшую к костру, и следи. Если заметишь, что мне что-нибудь угрожает, дай знать криком филина. Если на меня нападут, пусть весь отряд сразу бросается в атаку. Если же увидишь меня уже возле пленных, пусть весь отряд приготовится к атаке с двух сторон: со стороны берега и от этой группы деревьев.

Я слышал его прерывистое дыхание. Он хотел что-то сказать, я видел, что он колеблется, но потом он только кивнул головой.

— Май-оо, хорошо, — тихоночько ответил он и начал карабкаться на дерево.

У Совы были отвратительные союзники — комары. Привлеченные видом огня, но отгоняемые дымом, они хотели на мне выместить свое разочарование. Я надеялся, что от них достается и пленным, и мои «разведчики» не лежат поэтому слишком спокойно, и часовой уже привык к их беспокойным движениям. Это могло облегчить мне задачу.

Мне везло. Луна зашла за тучи. Костер немного пригас. На опушке леса, чуть дальше, чем находился я, слышалась возня двух или трех ребят из отряда Совы, собирающих хворост. Комары кусали безжалостно, но все же я не мог удержаться от беззвучного смеха: слишком уж противники были уверены в своей безопасности.

Однако я чуть-чуть не понес еще одно поражение. Как раз, когда я проползал по довольно открытой полянке, между группой сосен, на одной из которых сидел мой заместитель, и кустами, возле которых лежали пленные, послышался крик филина. Я приник к земле. Я был на шаг от победы: от пленных меня отделял только густой куст можжевельника. И именно в эту минуту мимо меня пробежал Сова, неся большую охапку веток для костра. К счастью, он набрал их столько, что они заслонили его лицо, и он не увидел меня. Все повторялось; я чувствовал, что и его и мои триумфы будут скорее плодами чужого легкомыслия, чем собственных заслуг.

Это были, наверно, самые трудные минуты. Костер разгорелся. Дым в мою сторону не долетал и не мог отогнать хотя бы одного самого маленького комара, зато до меня доносился запах кролика, которого пекли над огнем, и я уж не знал, что хуже: высокое ли пламя, которое могло выдать меня, или комары, или запах мяса, который напоминал о том, что я целый день не прикасался к пище.

Труднее всего бывает ждать. Я прикрыл глаза, чтобы их блеск не выдал меня. Минуты тянулись, как целые месяцы. Я лежал неподвижно, как брат-музиконс, волк, который с бесконечным терпением ожидает удобного момента.

К счастью, отряд Совы уже закончил свой пир, пламя костра снова притухло, круг света возле него сузился. Но разговор не утихал. Мальчики, подражая старым воинам, продолжали хвалиться своими подвигами, рассказывали, кто из них первым напал на моих разведчиков, кто кого повалил, кто больше всех мог гордиться хитростью лисы, свирепостью волка, быстротой оленя. Я их хорошо видел, и мне снова хотелось смеяться. Один Прыгающая Сова молчал. Но он молчал с таким гордым видом, что мне на мгновение стало его даже жаль: будет ли он таким же гордым через час?

Наконец пришло мое время. Сдерживая дыхание, я медленно-медленно вполз в кусты можжевельника. Это было не слишком приятно, но иголки кусали слабее, чем комары.

У костра никто ничего не заметил. Никто не пошевелился даже, когда под моим локтем хрустнула ветка, а для меня ее хруст прогремел, как удар грома. Зато зашевелился один из пленных, лежавший ближе всех ко мне, и, надо признать, на этот раз он проявил куда больше благоразумия, чем во время битвы в ущелье. Он, видно, догадался, что ветка треснула под ногой или рукой друга, и, делая вид, что отгоняет комаров, немного подвинулся в мою сторону. Достаточно было протянуть руку, чтобы коснуться ножом его связанных за спиной рук. Однако я еще ждал, пока у ребят возле костра головы начнут опускаться на грудь, а жар костра потускнеет и угаснет в золе.

Наконец я протянул руку с ножом и легко разрезал путы. Нож остался в освобожденных руках моего ути. Я пополз назад.

Когда я вернулся под сосну, отряд был готов к нападению. Я повел группу, которая должна была нападать от берега озера.

Верьте мне, прекрасное это было мгновение, когда наконец с военным кличем, разносившимся над лесом, озером и ущельем, с поднятыми вверх копьями и томагавками мы обрушились на сонный, уже ничего дурного не ожидавший отряд Совы!

Бой был тяжелый, и мы с Совой потом добрый месяц по всякому случаю вспоминали нашу стычку. Закончилась она только к рассвету, и лишь после восхода солнца мой отряд выловил последних врагов, скрывавшихся в лесу. Сладка была победа, хотя во время утреннего купания — уже общего купания победителей и побежденных — следы от ударов томагавков и копий жгли больше, чем укусы ста тысяч комаров.

Но лучше всего было утреннее жаркое из кроликов, которых в нашу честь наловили побежденные.

За это приключение меня хвалил Овасес и даже Танто, хотя и на этот раз он остался неумолимым и не рассказал ни слова из подслушанного ночного совещания воинов. Но это была только маленькая тучка на ясном небе славы, в лучах которой я ходил целых два дня после возвращения в лагерь. К исходу этих двух дней меня ждало еще большее счастье.

В конце второго дня, когда в селении уже разжигали вечерние костры, чтобы зажарить убитого Сломанным Ножом оленя, на Площадь Большого Костра примчался на коне один молодой воин из нашего рода. Я сразу узнал его, это был Желтый Мокасин. Он был весь покрыт красновато-серой пылью большой равнины. Он вел за собой неоседланного коня. Мы, самые младшие, сразу окружили воина, с любопытством разглядывая коней. Он же, вместо того, чтобы поискать кого-нибудь из взрослых воинов, обратился прямо к нам:

— Я Желтый Мокасин. Меня прислал сюда Высокий Орел, чтобы я отыскал его младшего сына.

Сердце у меня сильно забилося. Я вышел из круга мальчиков и, подняв вверх руку, воскликнул:

— Я ути, сын Высокого Орла. С чем прислал мой отец великого воина Желтого Мокасина?

Правда, я был маленьким мальчиком, но мои слова, наверно, понравились прибывшему. Он улыбнулся глазами и слегка наклонился ко мне.

— Желтый Мокасин, не жалея своего коня, мчался к лагерю Молодых Волков весь день и всю ночь, чтобы передать сыну Высокого Орла отцовский подарок.

И тут, в этот счастливый миг, он бросил повод коня мне в руки!

Это был мой конь! Мой первый конь!

Желтый Мокасин уже уехал к шатру Овасеса, а я все еще стоял неподвижно, держа повод коня в руке и едва сдерживая желание засмеяться или заплакать и закричать от радости. Стоявшие вокруг меня сверстники тоже замерли в восторженном изумлении.

Мой конь! Это был обыкновенный индейский мустанг. В нем не было ничего красивого, ничего такого, что могло бы восхитить человеческий глаз красотой линий и очертаний. Но для меня это был самый прекрасный конь в мире. Он мне казался не конем, а птицей, самым быстрым, самым выносливым из всех коней, каких я когда-либо видел. Правда, он не был слишком красив. Он низко опустил большую, тя-

желую голову и спокойно стоял на коротких сильных ногах с немного вывернутыми внутрь коленями. Но каждый знаток индейских коней сумел бы его оценить. Под длинной шерстью вырисовывались сильные мышцы выносливого и быстрого бегуна, широкая грудь свидетельствовала о правильности дыхания, а длинное туловище — о приятном волнистом галопе.

Конечно, мы позабыли о наших кострах. Я повел коня к реке, а за мной все ути, больше увлеченные, чем завидующие, шли помочь купать его. Ведь они знали, что хотя отец подарил его мне, но я никому не откажу, если кто захочет испытать моего коня. Мустанг был спокойный и добродушный. Он стоял в воде и тихо ржал, когда мы массируем его мягкими веточками вербы. У него были большие умные глаза и бархатные ноздри. Я прижимался к ним лицом так нежно, как когда-то прижимался щекой к материнской руке. Это был наш конь!

Когда он обсох, мы начали его украшать, вплетая в гриву и хвост самые красивые перья, какие только у нас имелись. И вскоре наш конь стал наряднее коней всех воинов из лагеря Молодых Волков и больше напоминал верхового коня какого-нибудь великого вождя, чем единственного коня многих маленьких ути.

Мы быстро проверили, что он умеет. Отец позаботился о том, чтобы дать нам умного друга. Конь был прекрасно объезжен. Нам не стоило никакого труда сесть на него. По свисту он ложился на землю, потом снова по свисту поднимался, менял шаг и направление по едва заметному прикосновению руки. Галоп у него был мягкий и плавный, а на его спине легко помещалось даже по три знаменитых всадника из селения Молодых Волков.

Как раз заходило солнце, когда я на разукрашенном коне, окруженный сверстниками, подъехал в сиянии красных и желтых лучей к шатру Танто, чтобы поделиться с братом своей гордостью и радостью.

Танто внимательно осмотрел коня, одобрительно кивая головой, потом сел на него и, меняя ход от шага до галопа, проехал вокруг Площади Большого Костра и осадил его на полном скаку так, что копыта мелькнули прямо над нашими головами.

Танто улыбался.

— Хороший конь, — сказал он. — Береги его, и он будет твоим другом, который сумеет тебя уберечь.

Он на минуту скрылся в шатре, вынес волчью шкуру и пару стремян и набросил их на спину моего коня.

О, как же я был богат!

— Прими этот дар, — сказал Танто, — от своего брата, и пусть поможет тебе Великий Дух в твоей молодой жизни. Завтра, прежде чем солнце поднимется над верхушками деревьев, — он показал на буки на востоке, — приходи ко мне, а твой конь пусть тем временем пасется вместе с конями других воинов.

Задолго до назначенного срока я был у брата. Из нескольких шатров поднимался в небо дым тонкими и прямыми струями, обильная роса и сползающий к реке туман обещали ясную погоду. Со стороны леса в чистом воздухе доносилось громкое щебетание птиц.

Мягкий ветерок благоухал сосновой смолой и лесными травами.

А я был счастлив. Добр ко мне был месяц Ягод. Я одержал победу у озера возле Красного каньона. Меня похвалили Овасес и Танто. Отец прислал чуч

десного коня, а сегодня впервые мой старший брат берет меня с собой в лес.

Ожидая его, я, как молодой пес, бегал вокруг типи, размахивал от радости руками и кричал об охоте, на которую я отправляюсь. Ничего не видя вокруг, я наскочил на воина Черную Руку, который возвращался с ночной охоты и нес на плечах дикую козу. Я наскочил на него так сильно, что едва не сбил его с ног, и сразу убедился в том, что у Черной Руки очень тяжелая рука. Было больно, но ни воину, ни мне это не испортило настроения.

Черная Рука даже улыбался.

— Ты великий охотник, ути. Но все же я бы тебе посоветовал взять с собой оружие. Звери возвращаются сейчас с ночной охоты в логовища, и что ты будешь делать, если встретишь одинокого волка?

— Я не испугаюсь, Черная Рука! А кроме того, со мной идет в лес Танто, мой брат. А он слишком великий охотник, чтобы бояться мугакоона.

— Танто — храбрый юноша, — признал Черная Рука. — Но и величайший охотник не знает всего, и величайший охотник учится на своих ошибках. Ибо каждая ошибка — это, может быть, и его последняя ошибка. Кто ошибется, будет танцевать танец Смерти на северном небе. Там, — указал он на серую полосу горизонта. — Встретиться бы нам там как можно позже, Молодой Волк.

Черная Рука ушел, бормоча еще что-то про себя, а я, конечно, не поверил его словам. Слишком прекрасен был этот день, чтобы прислушиваться к благо-разумным советам. Я продолжал бегать вокруг типи брата, напевая песенку обо всем, что случилось в последние дни, о дороге через чащу, победоносной битве и предстоящей охоте.

Вид Танто немного разочаровал меня. У брата, кроме томагавка и охотничьего ножа, никакого оружия не было, а мне он дал только мешок из козьей шкуры. Из того, что он не взял никаких припасов, я сделал вывод, что никакого большого похода не будет и что мы отправимся очень недалеко. Мне не полагалось ни о чем спрашивать, хотя любопытство мучило меня нестерпимо, но, когда селение скрылось за деревьями, Танто заговорил сам:

— Я нашел пчел. Мы идем за медом для моего брата и его друзей.

Теперь разочарование сменилось радостью.

Правда, я мечтал о какой-то большой охоте на оленя, белую козу или даже на медведя, но, с другой стороны, ничего лучшего, чем темные соты с медом, нельзя было и пожелать. Поэтому я быстро примирился с тем, что сегодня еще не буду охотиться вместе с Танто как великий охотник, и только глотал слюнки, думая о вкусе меда, который ждал нас в лесной борти. Правда, меня пронимала дрожь, когда я вспоминал, какой «вкус» имеют жала лесного народца, отважно защищающего свой мед.

Думая об этом, я шел вслед за братом и внимательно озирался кругом. Наконец нашел то, что искал: куст кванони, густо покрытый темными продолговатыми ягодами. Танто сел на землю, а я начал рвать ягоды. Когда я собрал их достаточно, мы оба натерли тело резко пахнущим красным соком ягод, который защищает от пчел лучше, чем дым можжевельника.

Мы шли тропинкой на север и возле старой сосны, сложенной и сожженной молнией, свернули на восток, в густой, но очень высокий лес, заросший понизу кустарником.

Здесь уже нужно было идти осторожнее, чем по тропинке. Ведь мы вошли в страну братьев хищников, которые, хотя солнце уже взошло, все еще могли возвращаться с охоты в свои логова. Нужно бы-

ло ступать осторожно, чтобы не хрустнула сухая веточка и не зашуршали листья, остерегаться задеть тонкий ствол молодого деревца, надо было все время идти против ветра, чтобы сразу заметить зверя, прежде чем он нас почует.

По тому, как брат осматривался вокруг, я понял, что мы приближаемся к цели. Мы миновали маленький ручеек, который бесшумно вился среди обросших мхом камней, потом — цветущие ягодные кусты и рощу тесно переплетавшихся между собой грабов. Когда мы вышли из нее, вдруг послышался треск сломанной ветки. Танто схватил меня за руку и стиснул ее так, что я чуть не крикнул. И тут же я услышал громкое гудение разъяренного пчелиного роя, какое-то тихое ворчание и громкое чмокание.

Брат хорошо понял, кто успел нас опередить. Таща меня за руку, он начал отступать. Но в этот момент и я заметил около невысокого дуба бурого медведя с сотами в лапах.

И по сей день я со стыдом вспоминаю, что потерял тогда рассудок, забыл осторожность и, вырвав свою руку у Танто, как безумный, бросился бежать, куда глаза глядят. Испуганные глаза плохо видят. Я споткнулся о сухой корень и растянулся во весь рост с истошным криком. За спиной я услышал короткое злое рычание медведя. Наверно, это был враг людей медведь-отшельник, уже и без того раздраженный пчелами.

Брат подхватил меня с земли, и мы помчались к высоким деревьям. За нами трещали ветки под лапами медведя. Мы хорошо знали, что даже самый быстрый бег не спасет нас и если мы не успеем взобраться на высокое дерево, то будем танцевать сегодня танец Смерти на северном небе.

К счастью, Танто удалось ухватиться за нижнюю ветку большого граба, он молниеносно вскарабкался на нее и подал мне руку.

Сопение медведя я слышал уже за собой. Я что-то кричал. Брат подхватил меня и подтянул вверх, как рыбак маленькую плотвицу. Едва я схватился пальцами за ветку, как почувствовал, что кто-то бьет меня по ноге, срывает мокасин: медведь не прекратил погони. Мы лезли вверх, а он лез за нами и остановился лишь тогда, когда тонкие ветки начали под ним подгибаться. Он рычал, скалил клыки и пытался трясти ветки, на которых мы сидели.

Это был старый медведь-отшельник со шкурой, испещренной множеством шрамов, с разорванным ухом и свирепыми, налившимися кровью глазками.

Я вскарабкался как можно выше и дрожал, судорожно вцепившись в ветку. Но к Танто уже вернулась спокойствие и присутствие духа. Он отломил большую ветку и начал стегать ею разбойника по носу.

Дерзость Танто придала мне отваги. Я тоже начал бросать в медведя мелкие ветки и кричать:

— О Мокве, медведь, мохнатый брат! Уйди отсюда, не то мы убьем тебя, и дух твой должен будет лезть по деревьям, как рыжая белка. А это же стыд для такого воина, как ты.

А Танто:

— О Мокве, медведь, злой брат! В моем шатре уже есть одна шкура больше и чернее твоей. Но наступают зимние холода, и я ищу вторую шкуру. Поэтому, если хочешь сберечь свой мех, иди и оставь нас в покое!

Медведь, убедившись, что не достанет нас, медленно слез с дерева. Я в упоении выкрикивал попеременно похвалы, угрозы и ругательства, но вскоре умолк. Хитрый враг начал сперва вырывать корни, а потом пытался повалить дерево, напирая на него всей тушей. Танто, не переставая, ругал медведя и

бросал в него ветками. Дерево качалось, хотя ствол у него был толстый.

Наконец медведю надоели напрасные усилия. Он прорычал еще несколько раз все ленивее и тише и наконец опустился на четыре лапы, зевнул и медленно пошел в чащу молодых грабов. Мы прислушивались в напряженном молчании. Треск ломающихся веток постепенно затихал вдаль. Танто рассмеялся и, когда в лесу снова воцарилась спокойная тишина жаркого полудня, бесшумно соскользнул на землю, а я последовал за ним.

Но не успели мы сделать и пяти шагов, как с противоположной стороны, с той, откуда мы раньше пришли, высочил тот же медведь. К счастью, Танто увидел его сразу. Я завизжал, колени у меня ослабели, я был уверен, что уже ничто меня не спасет. Но брат успел подбросить меня на ветку и, как птица, взметнулся из-под самых зубов зверя. Я совсем утратил мужество. Вспоминая предостережения Черной Руки о том, что первая ошибка охотника может быть и его последней ошибкой, я потерял веру в спасение, даже веру в предусмотрительность и мудрость своего брата.

А у него самого даже глаза побелели от ярости; он метнул сначала томагавк, потом нож. Но рукоятка томагавка задела за ветку, и он не попал в цель. А нож вместо того, чтобы попасть в самую пасть, поднятую к нам, только скользнул по клыкам, поранив губы, и пробил переднюю лапу.

Разразилась целая буря — отшельник бесился, его рычание разносилось над лесом, как раскаты августовских гроз. Молодые деревца, вырванные с корнем, летели во все стороны, земля, подбрасываемая вверх могучими лапами, долетала до нас, засыпала глаза и рот. Маленький камешек угодил мне в верхнюю губу, и я почувствовал во рту вкус крови.

Лес вокруг замер. Кроме треска деревьев, ломаемых бурным братом, и его рычания, ничего не было слышно. Маленькая трясогузка, севшая возле меня на ветку, так оцепенела от страха, что я мог бы взять ее рукой.

Подножие нашего дерева выглядело так, будто здесь вели бой сто воинов. В зеленом мху виднелись черные пятна ободранного дерна, в воздух все еще летели ветки, комья земли и клочки медвежьей шерсти, вырванной им самим в бешеной ярости. Даже Танто замолк и смотрел на отшельника такими глазами, которые напоминали мои — глаза испуганного ути, а не взрослого охотника.

Тени деревьев вновь начали ложиться косо. Не знаю, не помню, сколько времени могло пройти с тех пор, как мы снова залезли на дерево. Стиснутые на ветках пальцы оцепенели, перед глазами у меня мелькали темные латны.

Вдруг я ожил: Танто, выпрямившись и приложив руки ко рту, издал высокий, громкий крик. Медведь же замолчал и, подняв морду кверху, начал недоверчиво нюхать воздух. Он еще на минуту лег у подножия нашего дерева, зализывая раненую лапу и принохиваясь.

Тут услышал и я что-то вроде далекого фыркания коней и топота копыт по мягкому грунту. Танто снова начал кричать.

А медведь, по-видимому, понял, что ему угрожает опасность. Он вскочил и бесшумно, быстрой рысцой скрылся в лесной чаще.

Нас спасли Овасес и Большое Крыло. Никто из них не промолвил ни слова, но Танто, рассказывая о том, что произошло, опустил голову и смотрел в землю так же, как это делал я, когда мне приходилось признаваться в какой-нибудь мальчишеской глупости.

Мы возвращались в селение следом за Овасесом. Когда мы уже шли по тропинке, ведущей к лагерю, и когда ко мне вернулась вся моя храбрость, я промолвил непринужденным тоном:

— Я считаю, брат, что даже величайший охотник не знает всего и величайший охотник учится на собственных ошибках. Иначе можно сделать такую ошибку, которую уже не исправишь, и придется танцевать танец Смерти на северном небе. Почему ты не взял с собой лук, о мой мудрый брат?

Но на этот раз мудрость Черной Руки обернулась прстием меня. Не вовремя я повторил его слова. Рука у Танто была еще тяжелее, чем у Овасеса и Черной Руки: всыпал он мне действительно по-братски.

Так я узнал другую истину: над чужими ошибками не следует смеяться.

Но, разумеется, с этих пор ни я, ни сам Танто не ходили в лес без лука и острых стрел в колчане.

V

Среди чащи леса слышу поступь зверя,
В вышине я вижу гусей вереницы.
На путях подводных —
Стаи быстрой рыбы,
Что, как стрелы луна,
В глубине мелькают.
О, великий выйдет из меня охотник,
Стрелы мои будут смерть нести и гибель.
(Из охотничьих песен).

В этот вечер я долго не мог заснуть. О нашем приключении я не все рассказал даже Прыгающей Сове, но каким-то чудом многие знали о нем больше, чем этого хотелось бы Танто и мне.

Дело дошло даже до того, что я подрался с одним ути из рода Оленя, который начал петь песенку о двух великих охотниках, поймавших в чаще леса свой собственный страх.

Сначала мне не давал уснуть еще свежий стыд, потом же из каждого сна на меня надвигалась изрыгающая огонь и дым пасть медведя, а в голове отдавалось его рычание. Наконец, я вскочил на ноги потому что, хотя я и широко открыл глаза, рычание не смолкло. Сердце у меня замерло, и только немного погодя я понял, что это отзвук далекой грозы. Края оленьей шкуры у входа в шатер ярко выделялись на фоне неба, освещенного отблесками молний.

Я отогнул шкуру. Гром затих, и только синие молнии дрожали и металлись по небу, будто крылья птицы, подбитой стрелой охотника. Гроза обходила нас широкой дугой. Над черным лесом мчались стаи туч, будто стаи духов, будто пенящая волна водопада. Я не мог оторвать от них глаз. Над селением веял быстрый чистый ветер. Ко мне возвращалось спокойствие, и вместе с тем я почувствовал большую усталость... Молнии все еще сверкали над лесом, но они казались уже такими тихими и спокойными, как полет лебедя.

Возвращаясь в шатер, я внезапно услышал у самого входа тихий визг. Это был Тауга. Я сначала обрадовался, потому что он уже три дня пропадал в лесу. Правда, в этом ничего удивительного не было, так как мы летом никогда не кормим собак, и они сами для себя охотятся, но всегда приятно снова увидеть собаку-друга. Однако, когда я наклонился к нему, вся моя радость улетучилась. Нос у пса был сухой и горячий. Он тяжело дышал и весь дрожал.

— Что с тобой, Тауга? — крикнул я.

Он даже не поднял головы. Правда, он попытался встать, когда я опустился возле него на колени и



«Горькая Ягода начал его ощупывать» (стр. 60).



«Он... наступал, угрожая клювом и здоровым крылом» (стр. 61).

поднял его большую голову, но передние лапы у него сразу подломились, и он снова упал на землю, беспомощно скуля, как маленький голодный щенок.

Никога возле нас не было, и я просто расплакался. Мой Тауга, большой грозный волк, от которого бежали седые дикие волки, скулил, как слепой щенок. А ведь мы всегда боялись болезней больше, чем самых страшных зверей. Болезни посылали злые духи, питающиеся падалью и гнилой водой болот.

Не вытирая слез, я побежал в шатер, вынес свою волчью шкуру и разостлал около пса. Его живот был весь в сухих листьях и хвое. Вероятно, ослабевший от болезни Тауга долго полз, стараясь добраться до шатра своего хозяина. Я перекатил собаку на шкуру, подтащил к догорающему костру и подбросил в него охাপку свежих веток можжевельника, дым которых приносит здоровье. А потом? Потом я решил совершить самый смелый поступок, на который способен маленький ути: пойти без разрешения к колдуну, к Горькой Ягоде.

Никто из нас еще не был у него. Независимо от того, жил ли он у нас или в селении над озером, мы всегда со страхом обходили жилище колдуна. Даже воины неохотно подходили к его типи, зная, что Горькая Ягода в любую минуту, если только захочет, может превратиться в волка, змею, медведя или исчезнуть из глаз, как рассеянный ветром туман над озером.

Я шел к его типи, а ноги у меня подгибались от страха. Сколько раз я хотел повернуть назад, но перед моими глазами возникал образ друга и призывал мне идти вперед, даже наперекор собственному страху.

Весь лагерь спал. Ночь снова была тихой, луна зашла. Я остановился у входа в типи Горькой Ягоды. Впервые я был возле него так близко, что мог потрогать рукой шкуру у входа. В ночном мраке, при неясном свете звезд, нарисованные на шкуре изображения то ли зверей, то ли людей протягивали ко мне когти и пасти. Из клюва птицы-грозы, висевшей над входом, в меня летели молнии. Над моей головой наклонились повешенные у входа копыя. Надежды на них медвежьих черепа сверкали глазницами, наполненными гнилушками.

Нет, я не мог решиться коснуться завесы и уже хотел отступить, когда она внезапно дрогнула и передо мной, сверкая белками глаз, появился Горькая Ягода. Я вскрикнул. А он наклонился, внимательно посмотрел на меня и наконец сказал:

— Я ждал тебя, мой сын.

Я не мог промолвить ни слова, глубже вздохнуть, даже шевельнуться. Мне хотелось убежать, но все во мне замерло.

Горькая Ягода кивнул головой.

Откуда он знал о моем присутствии?

— Я знал, что ты придешь, — повторил он и умолк, будто бы ожидая моих слов.

Я переселил себя и прошептал:

— Мой Тауга, мой Тауга...

— Знаю.— Горькая Ягода выпрямился надо мной, страшный и огромный.— Знаю, твой Тауга болен.

Я снова расплакался.

— Отец,— промолвил я,— отец... Не допусти, отец, чтобы вечный мрак окутал его.

— Иди в свой шатер и жди меня. Я отгону от него Духа Смерти.

Когда он скрылся в типи, я побежал назад, к собаке. Скорость моим ногам придавали и страх перед Горькой Ягодой и радость, что он выслушал мою просьбу.

Тауга продолжал лежать на шкуре. Он повалился на бок, из открытой пасти свешивался язык. Я опу-

стился возле него на колени и стал быстро и сбивчиво рассказывать ему, что все теперь будет хорошо, что придет Горькая Ягода и вылечит его и что мы еще будем бегать вместе в лес на охоту, выслеживать оленя, волка и серого медведя.

Но Тауга ничего не слышал и дышал все чаще и слабее... Хотя он был одной из самых чутких собак в лагере, он даже не вздрогнул, когда колдун наклонился над ним.

Горькая Ягода начал его ощупывать, внимательно поглядел в глаза, раскрыл пасть, вытащил язык и, тщательно осмотрев его, надавил на живот. Когда Тауга застонал от нажима его тяжелых рук, колдун кивнул головой и стал что-то шептать про себя. Не смея шевельнуться, я смотрел с благоговейным страхом, как Горькая Ягода насыпал на ладонь щепотку принесенного с собой зелья, растер его в порошок, а потом завернул в тоненький ломтик мяса, свернув его валиком. Затем он начал жарить мясо над костром, что-то напевая на незнакомом мне языке. Когда мясо скорчилось на огне, а вокруг распространился странный и резкий запах, Горькая Ягода оборвал свою песенку, всунул мясной шарик в пасть Тауги и крепко придержал ее, пока пес не проглотил лекарство. Наконец, он отгреб огонь на другое место и положил Таугу на горячую золу.

Проходили долгие минуты, оба мы сидели неподвижно. Во мне все возрастало чувство благодарности к Горькой Ягоде. Тауга перестал скулить, начал дышать спокойнее и постепенно засыпал.

Когда пес заснул, колдун встал и положил руку мне на плечо.

— Ты должен, сын мой, накормить его завтра свежей кроличьей печенкой.

— Май-оо, хорошо,— ответил я.

Горькая Ягода ушел.

После ночной грозы утро было чистым, как вода горного ручейка. Добрые духи благопритствовали мне. Не было ветра, легко будет подойти к кроличьим норам. Прыгающая Сова хотел сопроводить меня, но я не согласился: я знал, что я, и только я, могу спасти моего друга, что только мной добытая кроличья печенка принесет ему здоровье. Таков был приказ Горькой Ягоды.

Больше всего кроличьих нор находилось у подножия Скалы Прыгающей Козы. Поэтому я пошел туда, взяв лук и пять острых стрел.

Первые лучи солнца застали меня уже возле этой скалы.

Я перешел через два ручья с водой холодной, как лед, небольшое, совсем черное озерцо и наконец очутился у склона, где чаще всего можно было встретить кроликов. Здесь я остановился, положил лук и стрелы на землю и, повернувшись лицом в сторону большого леса, начал молиться Нана-бошо, Духу лесов и покровителю животных.

— О Нана-бошо! Позволь мне убить в твоей стране белого кролика, выпусти на мою тропу одного маленького зверька. Он мне нужен, чтобы спасти большого и умного пса — моего друга Таугу. Будь сегодня добр ко мне, добрее, чем когда-либо, о великий Нана-бошо! Направь мои шаги на путь кролика, направь кролика на путь моей стрелы!

Однако Дух лесов не скоро услышал мои слова.

Солнце поднималось все выше, а я все еще беспомощно бродил между большими каменными глыбами. Я неподвижно замирал на долгие минуты, шаривая глазами каждый, даже самый маленький кусочек большого склона Скалы Прыгающей Козы, непрестанно повторяя в душе молитвы Нана-бошо.

Однако время проходило напрасно. И что хуже всего, поднялся легкий ветерок. Мне пришлось обойти склон, чтобы оказаться с подветренной стороны. Я уже терял надежду, считая, что Нана-бошо не хочет меня выслушать и что для него ценнее жизнь одного трусливого кролика, чем моего храброго Тауги. Но как раз тогда, когда сомнения овладевали мной, на расстоянии двух полетов стрелы от меня из-за высокой каменной глыбы вдруг выскочил кролик. Он как-то бессмысленно огляделся вокруг, будто опьяненный солнечным светом, медленно посккал к ближайшему кусту и спрятался в его тени.

Я должен был подходить к нему по широкой дуге, чтобы все время быть с подветренной стороны. К счастью, и солнце светило с моей стороны, благоприятствуя мне и слезя глаза кролику.

Я припал к земле и начал подкрадываться, медленно, пядь за пядью, продвигаясь вперед. Я не приподнимался, хотя острые камни ранили мне грудь и локти. Я знал, что могу выиграть только выдержкой, и хотя каждый шаг тянулся бесконечно долго, хотя я и боялся, что кролик убежит из-под куста и спрячется в своей норе, спешить мне было нельзя, пока я не приближусь на расстояние верного выстрела. Наконец я добрался до низкого куста можжевельника, закрывавшего меня от кролика, осторожно поднялся, стал на одно колено и натянул лук.

И в это мгновение кролик бешеным прыжком бросился в сторону. Но он опоздал на какую-то долю секунды. А я на ту же долю секунды остолбенел. Ведь я не предвидел, что, кроме меня, на кролика охотится еще кто-то другой.

Огромный серый ком упал на серую спину зверька. Остолбенев, я смотрел, как большой горный орел, впившись когтями в бока пронзительно кричащего кролика, широкими взмахами крыльев уносит вверх свою добычу. Но лук был натянут, стрела на тетиве. Меня охватила ярость, что грабитель уносит выслеженного мной кролика. Еще один взмах крыльев, второй, третий... и тетива моего лука тонко запела. Прежде чем орел поднялся на безопасную высоту, за ним понеслась стрела. Задыхаясь от возбуждения и неожиданной радости, я увидел, как стрела догнала орла и впилась под правое крыло.

Большая птица затрепетала крыльями, еще немного, последними усилиями, поднялась вверх, но тут же начала медленно падать на распростертых крыльях. Я подбежал к орлу. Он был еще жив и готовился к борьбе. Он взерошил перья. Его правое крыло беспомощно свисало, но он изо всех сил бил другим, не отступал передо мной и целился клювом в мою сторону, яростно шипя. Он был огромен, почти с меня ростом. Я сначала попятился от него, он же, бесстрашный, грозный и злой, наступал, угрожая клювом и здоровым крылом. Мне приходилось остерегаться: одного удара огромного клюва было бы достаточно, чтобы размозжить кости руки. Я взялся за томагавк.

Борьба была недолгой. Я вырвал из когтей мертвой птицы кролика, которого даже не пришлось добывать, и забросил за спину двойную добычу. Орел был очень тяжел. Крылья свисали по бокам, хвост волочился по земле. Как мы выглядели? Вероятно, казалось, будто большая птица, держа меня в когтях, направляет мои шаги. Когда я увидел нашу общую тень, я испугался: она напоминала те фигуры, которые были изображены на нашем тотемном столбе. Тень огромного человека-птицы.

День был жаркий, и я с трудом дотащился до лагеря. Гордость и радость неожиданной победы придавали мне силы. Но вместе с тем где-то в глубине души рождалось сожаление, что такого прекрасного,

такого большого и грозного воина, как этот орел, нестигла стрела маленького мальчика, который еще не имеет никаких заслуг. Перед глазами у меня все еще стоял образ раненой птицы, которая боролась до последней минуты, не складывала крыльев, не прятала под них голову.

Однако я обо всем забыл, когда при входе в лагерь меня приветствовал радостный крик друзей. Они выбежали мне навстречу, крича и смеясь. Я увидел их глаза, совсем круглые от удивления и зависти. Разумеется, беря пример со взрослых воинов, возвращавшихся с охоты, я не обращал внимания на детский визг маленьких ути, которые еще никогда не убивали горного орла.

Я шел прямо к шатру Овасеса.

Крик мальчишек вызвал старого воина из шатра. Я положил птицу к его ногам. Он наклонился над орлом, начал внимательно рассматривать его крылья и только тогда, когда увидел мою стрелу, обернулся ко мне и посмотрел на меня внимательным долгим взглядом. Все замолчали, он же извлек стрелу из туловища птицы и, вручая ее мне, сказал:

— Ути, ты совершил первый мужской подвиг. Иди покорми своего пса, как приказывал Горькая Ягода, а потом приходи ко мне.

Тауга чувствовал себя уже гораздо лучше. Горькая Ягода был великим колдуном. Его заклинания и зелье имели целебную силу. Я забыл о том, что только что совершил свой первый мужской подвиг, и, увидев Таугу, который при моем приближении поднялся на ноги, чуть не разревелся, как девочка. Пес, приветствуя меня повизгиванием, шел ко мне, пошатываясь на ослабевших лапах. Я вернул его на место. Смеясь, я рассказал ему о своей охоте, быстро выпотрошил кролика и вынул печень.

Тауга набросился на нее, как здоровый голодный пес. По-видимому, уже ничто не угрожало ему.

День был прекрасен, мир был прекрасен, меня ждала награда Овасеса. Я шел через площадь к его шатру, стараясь не смотреть по сторонам и скрыть радость, разгоравшуюся во мне все больше, как костер из сухого можжевельника.

Овасес ждал меня у входа в типи. Он дружески взял меня за руку и ввел внутрь.

Я был здесь впервые и с благоговением осматривался вокруг. Шатер был полон медвежьих, волчьих и оленьих черепов, красивого старого оружия, томагавков с рукоятками, украшенными резьбой, почерневших от старости луков, украшенных перьями копий, блестящих гладких шкур, чародейских знаков, охраняющих от злых духов.

По приказу учителя я сел на одну из медвежьих шкур. Он присел против меня, опираясь спиной на мягкий сверток шкур, и раскурил маленькую трубочку. Наконец Овасес поднял руку в знак того, что я могу начинать свой рассказ.

Воины ценят свои слова. Поэтому я не сразу подчинился приказу и не начал сейчас же молоть языком, как девушки, возвращающиеся с речки.

Прикрыв глаза, я вспоминал всю свою охоту на кролика, неожиданное нападение орла, полет моей стрелы.

Наконец я заговорил, но сперва начал, как полагалось гостю в типи Овасеса, восхвалять его собственные великие охотничьи подвиги, черепа убитых животных, его славную борьбу с серым медведем, его мудрость учителя. Старик слушал внимательно, закрыв глаза, не шевелясь, не говоря ни слова; порой могло показаться, что он спит, если бы из его трубочки не поднимался непрерывно небольшими клубами дым. Он поднял веки лишь тогда, когда я начал рассказывать, как увидел кролика на склоне Ска-

лы Прыгающей Козы. И с этой минуты он не сводил с меня глаз, хотя порой слова застревали у меня в горле. Если бы даже я захотел что-нибудь прибавить, что-нибудь преувеличить, дать понять, что я, собственно, охотился не на кролика, а на орла, я не мог бы этого сделать. Я не мог отвести глаз от черных блестящих зрачков Овасеса. Я говорил все тихо, слова текли все медленнее. Когда я кончил, почувствовал себя слабым и утомленным, как после долгой дороги без еды и питья, весь мой великий мужской подвиг казался мне сейчас пустяком, не стоящим внимания. Но Овасес встал, и на его лице я увидел редкого гостя — улыбку. Он наклонился ко мне и, положив свою руку на мою, сказал:

— Мои глаза счастливы, что могут смотреть на храброго сына Высокого Орла.

Мое сердце пело триумфальную песню.

— Мой отец, — ответил я гордо, — происходит из рода Текумсе.

— Текумсе, — кивнул головой Овасес, — был великим вождем. Он был величайшим из вождей нашего племени. Он, так же как Понтиак, водил воинов на победоносные битвы, охотников — на большие охоты, собирал стариков на мудрые советы. Его голоса слушались все племена, и, пока он был жив, тень поражения не падала на тропы воинов, а счастье гостило у каждого рода. Когда же он погиб, в каждом племени пели по нему траурные песни.

И тут Овасес, который никогда без нужды не ускорила шага, не скривил губ и не повысил голоса, вдруг выпрямился и стиснул кулаки. Его голос загремел, как эхо надвигающейся грозы.

— Текумсе, деда твоего отца, убили белые. Они пригласили его на большой совет, чтобы выкурить с ним трубку мира, а он вместо слов мира встретил смерть. Из его кожи они наделали ремней для заточки ножей. Его тело они не позволили похоронить в Долине Смерти, чтобы дух великого вождя не нашел дороги в Страну Вечного Покоя.

Я не смел произнести ни одного слова даже шепотом. Гнев Овасеса заставил мои волосы подняться дыбом, частая дрожь пробегала у меня по спине. Наконец воин умолк, тяжело дыша. Он сел против меня и сказал усталым голосом:

— Текумсе сейчас в Стране Вечного Покоя. Он всегда с гордостью смотрел на твоего отца. Сегодня он впервые смотрит на тебя. Для наших племен настали дни без солнца. Белых больше, чем листьев в лесу. Они сильнее нас. Сильнее всех племен и родов. Но каждый мальчик, вступающий на тропу мужчины, — это новая капля крови в наших жилах. Ты сделал это сегодня. Пусть же твои ноги никогда не собьются с тропы воинов.

Еще никто и никогда не говорил мне таких слов. Я должен был быть счастливым. Однако я не был счастливым.

В этот день мне не хотелось больше слышать чьи-либо голоса, даже голос Прыгающей Совы, даже лай Тауги. Я убежал из селения к Скале Безмолвного Воина. Взобравшись на нее, я уселся на высоком уступе над водной глубиной и смотрел на лес. Верхушки деревьев гнулись под ногами северного ветра. Это был мой лес, мой друг и мой дом.

Когда-то по его тропинкам проходил дед моего отца, Великий Текумсе. От звука его голоса серые медведи дрожали, как маленькие щенята, и бледнели самые грозные враги. Как погиб Текумсе? Перед моими глазами вставал настигнутый стрелой большой орел, поднимающийся вверх окровавленный клюв и не склоняющий головы под ударом. Слезы жгли мне глаза. Северный ветер гнал низкие черные тучи, солнце село за лесом.

Уже в полной темноте я услышал где-то неподалеку уханье сойча — звук, которым мы с Совой часто пользовались как условным призывом. Я спустился со скалы, и из темноты ко мне выбежал мой друг.

— Почему мой брат носит печаль в сердце? — горячо зашептал Сова. — Разве Сова уже перестал быть тебе другом?

Я не сумел больше держать себя, как мужчина, и горячо обнял его. Он удивленно замолчал. Я же объяснял быстро и сбивчиво:

— Нет, Сова. Ты для меня то же, что для орла воздух. Уши мои всегда открыты, когда ты говоришь со мной, Сова. Но сегодня солнце для меня не светит, хоть я и убил большого орла. Мне грустно, Сова.

— Друг еще немного помолчал, мягко снял мои руки со своих плеч. Я увидел, что он улыбнулся.

— Овасес разрешил нам в награду сегодня ночью поехать на рыбную ловлю, — сказал он. — Оставь свою грусть.

— Рассказать ли ему про Текумсе? Нет. Пусть хоть его мысли не омрачают горечь и гнев, бессильные, как руки маленьких детей. Поэтому я только кивнул головой и побежал за ним.

А впрочем, весенний дождь, девичий плач и грусть мальчика короче полета ласточки. Когда мы добежали до берега реки, где лежали наши каное, я уже смеялся, как Сова, и хвастался своей утренней победой. Сова принес наши луки и стрелы и небольшой запас еды. Можно было сразу отправляться в путь. Овасес разрешил даже взять его собственное каное, и мы столкнули его в спокойное течение.

Мы плыли по течению, быстро работая веслами и держась внутренней стороны излучины реки. Здесь нужно было быть особенно осторожными, так как быстрое течение могло снести нас к противоположному берегу, на острые скалы. Поэтому мы упорно и молча работали веслами, пока не миновали поворот и пока лодка не стала рассекать носом спокойную гладь вновь широко разлившейся реки.

Высокий лес спускался здесь к самым берегам. Мы проплывали мимо протоптанных в густой траве и кустарнике тропинок к водопоям. В ночной тишине мы слышали порой шум пробирающихся сквозь прибрежные заросли животных. Наши весла бесшумно погружались в воду. Поэтому нам нетрудно было различить несущийся над самой землей звук лисьих шагов, немного более слышный и быстрый бег волка или тяжелый топот копыт лося. Сейчас же за одним из поворотов мы наткнулись на целое семейство прачек — маленьких смешных зверьков, которые каждый кусочек своей пищи тщательно полощут в воде, прежде чем съесть. Их вспугнул лишь наш громкий смех.

Мы плыли долго, тщательно огибая водовороты и камни, торчавшие из воды, как огромные грибы из мха. Речка посветлела, звезды вышли из-за туч, северный ветер уже давно ушел на юг. До цели — Озера Белой Выдры — мы добрались только тогда, когда восточная сторона неба прояснилась, засияла, как голубые глаза моей матери.

Когда взошло солнце, которого мы с нетерпением ждали, потому что восход солнца — лучшее время для ловли, в воде засверкали искры. Их было множество, больше, чем звезд на августовском небе. Мы плыли к песчаным отмелям, где на раннем солнце греются жирные большие щуки.

Вдруг Сова бросил весло и схватил лук. Я проследил за его взглядом: по берегу шла на водопой семья оленей. Впереди шагал большой, как прибрежная скала, рогатый бык, солнце зажгло белые огоньки на его рогах. Он шагал, топя копытами, не заботясь о шуме, который поднимал, гордый, как

великий вождь. За ним шла лань, а рядом с ней семенил на дрожащих, худых, подгибающихся ножках маленький олененок.

Я схватил Сову за руку и прошептал:

— Положи лук.

— Что?

— Положи лук, говорю тебе.

Олень остановился и посмотрел в нашу сторону. Он стал так, чтобы заслонить своим телом лань и олененка.

— Положи лук,— повторил я.

Сова внимательно посмотрел на меня, потом пожал плечами и бросил лук на дно лодки. Мы отплыли все дальше. Олень наклонил голову к воде, олененок мекнул так, будто засмеялась девочка.

— Все равно для выстрела было слишком далеко,— сказал я равнодушно, но Сова, сердитый за то, что я не дал ему испытать силу его лука, даже головы не повернул.

Солнце уже поднялось над верхушками деревьев, когда мы подплыли к первой мели. Но только тень нашей лодки задела стаю рыб, она сорвалась с места так быстро, что вода вокруг закипела. Мы подплыли неосторожно, как дети! Нужно было возвращаться на глубину. Вода постепенно успокаивалась. Проходили долгие минуты ожидания, и теплый солнечный свет снова привлек рыб на отмель. Их серебряные спины блестели под водой, как лезвия ножей.

Только тогда, когда самоуверенные жирные щуки опять успокоились и неподвижно замерли, мы начали легкими ударами весел приближаться к отмели так, чтобы на этот раз тень лодки не коснулась их. Наконец мы приблизились на расстояние, удобное для выстрела. У меня в этот день особого желания ловить рыбу не было. Зато Сова свирепствовал. Каждая его стрела всплывала на поверхность вместе с рыбой. Когда пришло время возвращаться, все дно лодки было покрыто большими и жирными щуками. В этот день у Совы была счастливая рука.

Типи, где жили мы с Совой, был слишком мал для нашего пира. В сумерки мы разожгли за шатром большой костер, вокруг которого собрались самые младшие Волки лагеря. Запах жареной рыбы привлек к костру не только Молодых Волков, но и собак со всего лагеря.

Мы жарили рыбу на медленном огне, нанизав ее на прутья или стрелы, а Прыгающая Сова рассказывал о дороге к озеру, о стаях рыб, об оленях на водопое. Он хвастался своим уловом. Впрочем, он имел на это право, потому что молодым ребятам редко удавалось поймать на Озере Белой Выдры столько крупной рыбы.

Меня спрашивали о моем орле. Но мне по-прежнему не хотелось слагать об этом песни или слишком подробно рассказывать. Я выбрал себе большую жирную щуку и молча наслаждался заслуженным отдыхом и вкусной едой.

Из-за верхушек сосен вышел узкий серп месяца, когда над всем нашим селением внезапно загремел голос барабанов. Мы вскочили на ноги. Это были торжественные звуки: низкое басистое гудение, которое мы сейчас слышали, обычно означало начало каких-нибудь торжеств, охотничьих или военных плясок. Конечно, никому уже не хотелось думать о рыбе. Половиной моей щуки занялся Тауга, мы же побегали на Площадь Большого Костра.

Он уже пылал. Возле него на круглом камне лежал огромный охотничий барабан. Его выносили только тогда, когда Горькая Ягода должен был плясать в честь великих духов или богов.

Вокруг костра стояли все воины селения в самых парадных одеждах— с султанами из орлиных и совиных перьев, в куртках и штанах с вышитыми на них родовыми тотемными знаками. Мы, маленькие мальчики, стали за их спинами и, дрожа от нетерпения, ожидали минуты, когда перед нашими глазами появится Горькая Ягода, грозный и таинственный. Воины пели песню перьев:

О великие воины.

Слушайте голос орлиных перьев.

Поющих о мужестве.

Слушайте голос орлиных перьев.

Поющих о полете большой птицы.

Слушайте, как поет перо совы,

И пусть ваша поступь будет легка

И неслышна, как ее полет.

О воины.

Слушайте Песню Перьев.

Песня, начатая низкими и тихими голосами, поднималась все выше, звучала все сильнее. Мы слушали песню о перьях орла и совы, ласточки и диких гусей, лебедей и ястребов.

Когда песня смолкла, в наступившей тишине вдруг раздался крик охотящегося орла, и в круг воинов вбежал колдун Горькая Ягода. На этот раз он был с ног до головы убран птичьими перьями. Вместе с его первым шагом бубны и дудки громко завопили и тут же умолкли.

Когда я увидел Горькую Ягоду, сердце у меня забилось и остановилось дыхание. К плечам Горькой Ягоды были прикреплены большие крылья убитого мной орла. В голове моей промелькнула мысль, еще робкая, но уже полная надежды. Не мне одному пришла она в голову, потому что и Прыгающая Сова, увидев крылья на плечах колдуна, схватил меня за руку и крепко пожал ее. Но мы не обменялись ни единым словом. Никакой мужчина не должен говорить вслух о своих надеждах, пока они не сбываются.

Мы протиснулись в первый круг воинов. Тут же, возле нас, пробежал Горькая Ягода, кружась, как исполнинская птица вокруг костра. Снова наступила тишина, слышен был только свист перьев на плечах Горькой Ягоды, его частое дыхание и треск горящих веток в костре.

Наконец, будто поднимаясь на крыльях, колдун вскочил на огромный барабан, к которому подбежало восемь воинов. Они начали левыми руками поворачивать барабан, а правыми отбивать такт танцующему колдуну. Я стиснул руки на груди: Горькая Ягода исполнял танец охотящегося орла. Он то медленно парил на распростертых крыльях, то быстро кружился вокруг. Иногда, сложив крылья, он быстро падал на колени, чтобы спустя минуту снова подняться резким прыжком и опять описывать широкие круги, как это делают большие горные орлы.

Гром бубнов все усиливался, порой он на миг замирал, чтобы вновь набрать быстроту и силу. В его все ускоряющийся ритм стал вливаться новый звук— высокий, режущий уши свист флейты.

И тогда из круга воинов выскочил помощник Горькой Ягоды, Голубая Птица. Я схватил Прыгающую Сову за руку, мы переглянулись. У Голубой Птицы ниже колен были привязаны кроличьи лапы, а вдоль лица, возле ушей, с султана свешивались два пучка кроличьих ушей.

Итак, это был танец орла, охотящегося на кролика. Горькая Ягода продолжал кружиться на большом барабане, топот его ног все учащался. Звуки дудок пронзали ночь. Пламя костра взвивалось все выше...

И вот в одно мгновение «орел» — Горькая Ягода — бросился на кролика — Голубую Птицу. И тогда — тогда я понял, что моя надежда сбывается! Как раз в

этот момент из круга воинов вылетела длинная тупая стрела и вонзилась между перьями колдуна. Орел-колдун упал.

Наступила великая тишина. Только далекое эхо доносило до нас гудение бубна. Никто не смел пошевеливаться, никто не смел даже вздохнуть. Казалось, что даже красные языки пламени неподвижно застыли. А когда пронзительный свист дудки вновь прервал тишину и вновь ожили бубны, колдун вскричал, обратил лицо к луне и вскинул вверх руки с криком:

— Сат-Ок!

— Са-а-ат-О-о-ок! Са-ат-О-ок!

Все повторили крик колдуна.

Это имя впервые пронеслось над селением, поляной, рекой и лесом.

Колдун закружился в последний раз. А потом подбежал ко мне, схватил меня за руку, вытащил на середину круга.

— Сат-Ок! Сат-Ок! Сат-Ок! — все быстрее кричали воины, все пронзительнее свистели дудки, все громче били бубны.

А меня охватили радость и гордость. Ведь великий колдун Горькая Ягода своим танцем рассказал всему селению историю моей победы над орлом и дал мне имя. Отныне меня звали Сат-Ок, Длинное Перо. Уже никто не называет меня ути — малыш.

У меня есть имя!

И я начал плясать танец победы и радости.

И только когда у меня перехватило дыхание, когда после одного из прыжков я упал на колени и мне трудно было подняться, а кто-то наклонился надо мной и помог мне встать, — только тогда я увидел, что в кругу воинов, впервые выкликавших мое имя, находился и Высокий Орел, мой отец, внук великого Текумса.

VI

Маниту, Маниту, Маниту,
Я слабый, ты сильный.
Я покорен тебе,
Маниту, Маниту,
Приди мне на помощь.

(Из военных песен).

Через два дня после того, как я получил имя, в час, когда солнце стояло в самой высшей точке своего пути, а мы, Молодые Волки, только что закончили свое ежедневное учение у Овасеса, до нас долетел с пригорка трехкратный крик суслика. Это часовой лагеря подал знак, что приближается чужой всадник. Уже через минуту конские копыта застучали по тропинке.

По раскраске и убору коня мы узнали, что прибывший принадлежит к одному из южных родов нашего племени. Конь зарылся копытами в землю, поднимая клубы пыли, а всадник тяжело сполз с его хребта. Он поднял в знак приветствия правую руку и потом приблизился к нам. Мы ждали, когда он заговорит.

— Ведите меня к вождю, Молодые Волки, — проговорил он охрипшим голосом, — я хочу видеть Высокого Орла.

Я выступил вперед.

— Высокий Орел еще здесь. Я его сын. Иди за мной, — сказал я и повел его к шатру Овасеса, где всегда останавливался отец во время пребывания в лагере.

Шедший за мной воин тяжело дышал, он весь был покрыт толстым слоем пыли, губы у него заеплись и потрескались, он шел какой-то деревянной походкой, как человек, который долгие часы провел на ко-

не. Порой он даже шатался и только перед входом в шатер расправил плечи.

Это был мужчина лет тридцати, высокий и худой. В волосах, связанных на макушке пучком, торчало два совиных пера. По обнаженной груди и плечам стекали узенькие ручейки пота, прорезывая в слое пыли канавки с темными краями.

Сколько дней провел он в седле? Что его гнало?

Отец сидел в типе Овасеса вместе с хозяином и Тенто. Когда прибывший воин вошел, отец, видя, что тот еле держится на ногах, сейчас же указал ему место рядом с собой и дал зажженную трубку. Гость жадно затянулся, хотел что-то сказать, но голос у него сорвался. Я стоял у входа неподвижно, молча и молил духов, чтобы меня не прогнали.

Никто из взрослых никак не проявлял своих чувств, но я ясно видел, что они обеспокоены внезапным посещением. Овасес щурил глаза и качал головой, а это показывало, что в его мыслях нет покоя.

— Какие вести принес? — спросил отец у чужого воина.

Тот поднял голову.

— Род Танов был вынужден вернуться к главному лагерю племени. На земли Танов вступил Вап-нап-ао с отрядом вооруженных белых из Королевской Конной.

Итак, я снова услышал имя Вап-нап-ао, и опять его прозносили приглушенным и полным ненависти голосом. Что же означало это имя? Каков был тот, кто его носил?

Прибывший продолжал:

— Вап-нап-ао направляется в сторону главного лагеря и несет с собой бумагу, приказывающую нашему племени идти в резервацию. Наши разведчики видели уже Вап-нап-ао возле усадьбы Толстого Купца, где люди из Королевской Конной обычно разбивают свои лагеря.

Отец встал.

— Иди поешь и отдохни, — сказал он гостю из рода Танов, а затем приказал брату: — Позови Горькую Ягоду. Пусть соберет всех на Площади Большого Костра.

Через минуту звук большого барабана стал созывать обитателей лагеря на совет. Такого ритма бубна мы еще не знали. Но, очевидно, это был грозный клич, потому что воины на этот раз шли на совет не спокойным, полным достоинства шагом, а бежали, как на голос военной тревоги. Даже спутанные кони, которые паслись вокруг шатров, начали беспокойно вертеться, прядать ушами и раздувать ноздри.

Вместе с другими мальчишками мы уселись несколько поодаль от Большого Костра, ибо нам не разрешалось не только принимать участие в совете, но и прислушиваться к нему. Мы сидели и молча смотрели на круг старших.

Сначала долго говорил посланец рода Танов по имени Рваный Ремень, затем стал говорить отец, потом — Большое Крыло. Кто-то из младших крикнул что-то пронзительным голосом, но мы не разобрали его слов. Мы только увидели, как несколько других младших воинов после этого возгласа подняли вверх ножи. Потом снова говорил отец. Молодые воины склонили головы. В конце держал речь Горькая Ягода.

Уже взошла луна, загорелся костер, а совет все еще продолжался. Я сидел, прижавшись к Софе. Вечер не был холодным, но мы накрылись шкурой медведя: нас пробирала дрожь, как от морозного ветра. Наконец раздался свист орлиной дудки, созывавшей молодежь. Совет закончился. Мы приблизились к стоявшим неподвижно воинам, и отец сказал нам:

— Слушайте внимательно мои слова, Молодые Волки. В наши леса, в наши прерии пришел чужой человек со своими белыми воинами. Чужой человек хочет отобрать у нас лес и равнины и хочет, чтобы мы пошли в другие края, в такой лес, который называется резервацией и откуда нельзя выйти, как из западни. Но наше племя — свободное племя и таким остается. Белых слишком много, чтобы с ними бороться. У них есть такая сила, какой у нас нет. У них есть такое оружие, какого у нас нет. Но мы должны их задержать и запутать свои следы. Вы вернетесь к главному лагерю и вместе с женщинами и детьми отправитесь на земли Соленых Скал. Вас поведет Овасес. Воины останутся со мной. Вы выступите перед рассветом. Я кончил.

Мы, маленькие ребята, не многое поняли из слов отца. Мы впервые в жизни услышали слово «резервация», впервые узнали, что существует лес, где невозможно жить, лес-западня, а не дом свободных племен. Мы этого не понимали, не знали, что это значит, — ни Сова, ни я, ни близнецы из племени Капотов. Слишком мало мы еще слышали о белых людях — лишь то, что пелось в песнях о битвах наших отцов и дедов, то, что рассказывал мне Овасес о Текумсе. Мы знали только, что это чужие, незнакомые и грозные враги.

Я должен был во что бы то ни стало сегодня же вечером поговорить с братом Танто. Он, наверное, сможет многое мне объяснить. Ведь он был свидетелем совещания в шатре Овасеса, когда впервые прозвучало имя Вап-нап-ао. Он, наверное, понимает, чем грозит чужое слово «резервация», и сможет объяснить, почему наше большое и сильное племя, где столько храбрых воинов, не может начать борьбу с племенем белых людей. Мы знали о белых людях, что они редко заходят в наши леса и что происходят они из племени, которое называется Королевская Конная.

Я должен был поговорить с братом. Мы с Прыгающей Совой упаковали как можно быстрее наши вьюки, потом побежали к шатру Танто.

К счастью, он был один. Когда я подошел к нему, он даже улыбнулся. Это придало мне смелости.

— Танто, брат мой, — попросил я, — расскажи мне и Сове, кто такой Вап-нап-ао, почему мы не можем бороться с белыми, почему они загоняют нас в запретный лес, кто такие белые? Танто, два дня тому назад я завоевал имя. Расскажи нам все это, чтобы мы не были подобны младенцам, для которых мир не больше материнской груди.

Брат в первое мгновение буркнул, что не время, что надо собирать шатры. Но в конце концов согласился.

Не желая, чтобы нас застали в шатре живущие вместе с ним другие молодые воины, Танто повел нас к реке, туда, где она огибает Скалу Безмолвного Воина.

Была уже глубокая ночь. Волны переливались в блеске луны, как рыба чешуя. Издалека доносился вой волка-одиночки.

Танто говорил:

— За много поколений до того, как родился дед нашего отца Великий Текумсе, наши племена населяли всю землю, где мы живем, всю землю, которую белые называют Америкой, — от моря до моря, от северных снегов до больших гор на юге.

Ни одно из наших племен не испытывало недостатка в лесах для охоты, тропах для кочевья, широких равнинах, где паслись стада бизонов. Когда одно племя сталкивалось с другим, когда они боролись за места для охоты, борьба была благородной, без лжи и предательства. И потому, когда прибыли на нашу

землю первые белые люди, мы не встретили их ни стрелами, ни ударами томагавков.

Но им понравилась наша земля. Их прибывало все больше и больше. Они начали строить свои селения, отбирать у нас леса и равнины. Набравшись силы, они перестали быть тихими и смиренными. Стали безжалостно убивать нас. У них было оружие, которого мы не знали. Их могущество все возрастало. Пользуясь старыми распрямами между племенами, они нагнали одно племя на другое, а потом убивали победителей. Они убивали каждого встреченного индейца. Для них хорош был только мертвый индеец. За смерть каждого из хозяев нашей земли они платили своим воинам большую цену. Они сдирали с голов скальпы, за которые белые вожди выдавали награду. Самую большую награду они давали за скальп воина, но платили и за скальпы женщин и детей. Когда мы защищались, против нас выступало их войско и вырезало племена так, как стая волков вырезает зимой стадо оленей. Уже тогда, во времена Великого Текумсе, они были в тысячу раз сильнее нас. Под предводительством Текумсе наши племена пошли в последний великий бой с белыми и этот бой проиграла. А Текумсе погиб, когда пошел договариваться с вождями белых о спасении уцелевших женщин и детей. С тех пор мы стали такими слабыми, а белые такими сильными, что даже перестали уже нас убивать, перестали выдавать награды за скальпы. Но им все еще мало нашей земли, наших лесов. Они выбирали самые плохие, самые оскудевшие зверем леса, самые бедные рыбой реки и переселяли туда свободные племена, не спрашивая, хотят ли они там жить, прокормятся ли они там. Они назвали эти места резервациями и сгоняют в них все племена, все сохранившиеся еще свободные роды. В резервациях царит голод, принесенные белыми болезни убивают людей, маленькие мальчики умирают, плюя кровью, прежде чем успеют добыть себе имя. А воины Королевской Конной гонят в резервации тех, кто еще свободен, гонят, как зверей в западню, под власть Кен-Маниту, Духа смерти.

Танто на минуту умолк, но мы не отозвались ни словом. В речке плеснулась рыба. Зашумели крылья большой совы.

Танто продолжал:

— Мы последнее из свободных племен. Людям из Королевской Конной не удалось загнать нас в резервацию. С тех пор, как наш отец стал вождем — а этому больше лет, чем нам с тобой, — его преследует приказ белых вождей присягнуть им в покорности и пойти со своим племенем в резервацию. Но отец сказал, что пока он жив, он не послушается этого приказа и никому не принесет такой присяги. Он сказал, что родился свободным и свободными рождены его род и его племя. И с тех пор как он стал вождем, нас преследуют люди из Королевской Конной. Мы слишком маленькое племя, чтобы белым стоило посылать против нас большое войско. Но они преследуют нас непрерывно. Иногда нам удается даже на несколько лет уйти от погони, исчезнуть в чаще, скрыться от глаз белых вождей. Некоторые белые охотники и некоторые купцы, такие, как Толстый Купец, стали нашими друзьями и не доносят Королевской Конной о наших стойбищах и селениях. Но мы все время должны переселяться с места на место, чтобы путать следы.

И вот теперь они опять напали на наш след. Их ведет Вап-нап-ао. Его послал король белых людей, живущий за большой соленой водой. А сам Вап-нап-ао, Белая Змея, — маленький вождь из Королевской Конной. Ему обещали большую награду, если он поймает наше племя и загонит в резервацию в южной про-

винции Альберта. Он уже раз охотился на нас, когда я был двухлетним ути. Но тогда его настигла стрела Большого Крыла, и мы думали, что он погиб. Нам удалось запутать след. И с тех пор, как ты родился, племя жило спокойно. А теперь Вап-нап-ао опять вернулся. И мы опять должны отправиться в путь.

...Когда небо на востоке посветлело, а последние звезды скрылись за лесом, мы двинулись в дорогу. Все наши пожитки были уложены на сделанные из шестов волокуши, один конец которых укреплался на спине коня, а другой волочился по земле. Даже собаки тащили маленькие носилки — марш должен был быть быстрым.

Засыпав костры, мы один за другим двинулись вслед за Овасесом к главному лагерю.

VII

Придите, о духи, из далеких долин,
Придите и укажите мне мой новый путь.
Придите, о духи, ибо ветер шепчет о смерти
И каждый лист мне шепчет о ней.
Придите, о духи, и укажите мне
Солнечный путь в Страну Великого Покоя.

(Песня смерти).

Мы шли уже второй день, шли поспешным маршем через чащу, изредка только останавливаясь для еды. А ночевки, хотя и начинались поздно ночью, оканчивались задолго до рассвета. По утрам мы все яснее слышали с разных сторон далекие звуки бубнов, сзывавших все ветви нашего племени в Долину Стремительного Потока. Мы уже были близко от этой долины.

Когда мы прошли границу леса, перед нами открылся вид на скалистые горные склоны. Большие скалы нависали над нами, будто угрожая нам серыми каменными кулаками. Тропинка стала виться вверх широкими зигзагами, и наконец около полудня, когда солнце уже начало больно печь натруженные плечи и слепить глаза, перед нами открылась узкая горловина скалистого ущелья. Здесь начинался каньон, который вел к Стремительному Потоку.

Казалось, что какой-то могучий богатырь расколол в этом месте томагавком скалу пополам и проделал в ней глубокую, полную мрака щель. Мы вошли в нее, как в страну теней. Каменные стены по бокам росли с каждым шагом. Сначала они были высотой с нас, потом — как взрослый воин, а через несколько сотен шагов поднялись так, что мы едва могли увидеть высоко вверху узенький кусочек неба. Здесь царил холод и мрак, со стен стекала вода, собираясь в маленькое озеро. Измученные кони остановились утолить жажду. Мы тоже прильнули к обжигающей холодом воде озера. Наконец между двумя скалистыми стенами показался свет долины.

Она была с полмили шириной. Посередине протекала речка, питая своей влагой буйные леса по обоим берегам. Долина тянулась с севера на юг, и в окружающих ее скалах, казалось, не было ни малейшей трещинки. Только прямо перед нами, на противоположном берегу реки, из широкой щели вырывался большой поток. Там пролежала дорога в главную долину, где должны были собраться все ветви нашего племени. Брод находился несколько выше по реке. В это время года вода не достигала даже брюха лошади. Мы легко перешли реку и вышли на огромный луг, заросший травой, острый запах которой разносился далеко вокруг.

Затем мы вошли в другой каньон. Поток справа и стена слева все еще бежали на юг. Только после часа марша мы подошли к такому месту, где каньон повернул на восток, а стена скал слева неожиданно оборвалась, образуя острый угол с другой, которая тянулась на север.

Мы остановились на краю поляны, за которой начинался лес, где густые кроны деревьев так переплелись, что у подножий их царил вечный сумрак.

На этой поляне, перед лесом, находилось главное стойбище племени шеванезов.

На следующий день вечером прибыли воины во главе с отцом. Поскольку Королевская Конная еще не выступила в поход, отец и воины, выйдя из лагеря Молодых Волков, пошли по большой дуге в противоположном главному стойбищу направлении. Они хотели как можно дальше отвести преследователей от главного лагеря. И только вчера вечером они повернули к нам, не оставляя уже за собой следов, чтобы собрать побольше воинов и либо вступить в бой, либо месяцами водить врагов по ложному следу.

Возвращающегося с воинами вождя не приветствовали на этот раз ни радостными песнями, ни плясками. Все держались обособленно — отдельно воины, уже раскрашенные в военные цвета, отдельно женщины и дети, собравшиеся возле табуна выючных лошадей, отдельно мы, Молодые Волки. Овасес еще не разрешил нам позидаться со своими матерями и семьями. Все стойбище молчало. Свернуты были яркие типы женщин, даже маленькие дети играли молча.

Вскоре после возвращения отца и воинов на лагерную площадь вышел Горькая Ягода и насыпал из цветного песка фигуры белых людей, покрывая их шаманскими знаками и соединяя их изображением Вап-нап-ао, Белой Змеи.

Все шеванезы окружили его плотным кольцом. В первых рядах стояли раскрашенные для военных танцев воины. За их спинами столпились молодежь, женщины — у многих из них были заплаканы глаза, — далее стояли маленькие дети и старики с трясущимися головами.

Когда из круга воинов выступил мой отец, Горькая Ягода в полной тишине, то крича по-орлиному, то шипя, как змея, начал свой танец вокруг фигур из цветного песка. Я еще не видел такого танца. Колдун то корчился, как бы притаившись, то бросался вперед большими прыжками, как куница. Он сначала трижды обошел фигуры вокруг, потом устремился на них, лихорадочными движениями сгреб песок и наконец разбросал его пригоршнями, как пепел, на все четыре стороны.

Затем, обратившись к отцу, он сказал высоким, почти женским, каким-то не своим голосом:

— Веди воинов против белых. Пусть начинают борьбу. Духи наших отцов и духи отцов наших отцов говорят мне, что они помогут вам победить.

Но мой отец молчал. Я хорошо видел его лицо, и мне показалось — хотя после слов Горькой Ягоды у него не дрогнула даже бровь, — что в его глазах вспыхнул огонь страшного гнева.

Горькая Ягода снова сделал шаг в сторону отца и опять начал повторять:

— Веди своих воинов против белых... Духи наших отцов и отцов наших отцов...

Но тут произошло то, чего никто не ожидал.

Отец поднял руку вверх и прервал колдуна. Этого никогда не бывало. Почему отец сделал это как раз тогда, когда устами колдуна духи призывали его на-

чать победоносную борьбу? По-видимому, никто этого не понимал, так как даже шеренга воинов неспокойно задвигалась.

Отец же сказал:

— Нет, Горькая Ягода, не на победу ты посылаешь нас. Совет воинов решил иначе. Мы не выйдем на открытый бой. Не духи нам погут, а сила собственных рук и хитрость лисицы.— Тут мне показалось, что в голосе отца прозвучала более веселая нотка.— А если ты хочешь идти с нами туда, где грозит опасность борьбы, то утетишь наши сердца, ибо твоя рука пригодится нам так же, как и твое колдовство и беседы с духами.

Я обомлел от страха. Кажется, обомлели и другие, потому что наступила такая тишина, что не слышно было даже человеческого дыхания. Ведь это впервые главный вождь племени выступил против голоса духов, которые вещали устами колдуна. А Горькая Ягода — господин жизни и смерти — мог одной своей мыслью, одним движением руки наслать на него удар молнии. Велик, видно, был гнев отца за то, что духи промолвили устами колдуна иное, чем решил совет воинов. Они стали друг против друга, отец и шаман, молча глядя друг другу в глаза.

Мой страх сменился гневом — я в любой момент готов был броситься на помощь отцу, даже против духов и молний. Ведь у меня уже было имя!

Но Горькая Ягода не выдержал взгляда отца. Он поднял руку вверх и сказал:

— Ты обладаешь хитростью лисицы, мудростью совы и силой медведя. Будет так, о вождь, как ты прикажешь.

Отец с усмешкой склонил голову. Сейчас, в военное время, все решали он и совет воинов. Их голос был сильнее, чем голос духов.

Горькая Ягода уступил. Он медленно отошел за круг воинов.

Тогда воины по знаку отца зажгли большой костер, приготовленный для военных танцев. Яркое пламя быстро взвилось вверх и осветило обнаженные до пояса фигуры воинов, заблестело на лезвиях ножей и томагавков, отразилось в глазах.

У костра стал отец. Его убор из перьев, спускающихся до самой земли, покачивался. На висках блестящие тонко отточенные рога бизона. Грудь, раскрашенная поперечными желтыми и красными полосами, казалась пылающим огнем.

Он снова поднял вверх руку, и на этот знак отозвались бубны, свирели и дудки. Их медленный сначала ритм постепенно втягивал воинов одного за другим в широкий круг. Начинался военный танец.

Вот воины выступают в поход, идя долгим и далеким маршем, вот они подкрадываются к лагерю врагов, вот притаились в темноте, натягивают луки, держат наготове копыя и томагавки. Потом все замирает в ожидании приказа вождя, а когда над долиной разносится страшный военный клич, бубны, дудки и свирели впадают в бешеный ритм, а воины бросаются в атаку, и начинается бой. Боевой клич тревожит покой звезд и раскатывается сильнее грома между скалистыми стенами долины.

Наконец выходит старейшая из женщин племени и заводит военную песню, прославляя в ней отвагу и подвиги своих сыновей. После каждого куплета песни круг танцующих воинов, куда уже затесались и мы, мальчишки, останавливается, и все мы вскидываем вверх руки и трижды восклицаем:

— О Маниту! Тингав-сусима! Тингав-сусима!

— О Маниту! Помоги победить! Помоги победить! Помоги победить!

И вновь начинается танец, стремительный, как смертельная битва, и вновь заводит старая индианка свою песню о мужественных воинах, которые совершили великие подвиги, а теперь почивают в Стране Вечного Покоя.

Уже светало, когда пламя костра погасло и закончились пляски и пение. В полном молчании воины, разделившись на два отряда — пеший и конный, ушли в темноту каньона, исчезли в нем бесшумно, как духи ночи.

Ранним утром длинная вереница вьючных лошадей двинулась на север. Среди нас уже не было ни одного воина, только мы, Молодые Волки, имели оружие и были единственной защитой стариков, женщин и детей, спасающихся от белых.

Перед отправлением в дорогу Овасес объявил нам, что с нынешнего дня мы можем видеться и говорить с родными.

Это разрешение действовало на нас, как искра, упавшая на голую кожу. Всем нам захотелось сейчас же броситься искать в толпе своих матерей, которые еще вчера приветствовали нас издали жестами, взглядами и улыбками.

Нам хотелось коснуться их рук и вблизи услышать их голос, ощутить их ладони на своих волосах. Но нас сдержала легкая улыбка и насмешливый взгляд старого воина. Поэтому в первой половине дня мы позволили сначала разехаться вдоль каравана самым младшим. И только когда они возвратились, мы галопом ринулись вперед.

Мне было известно, что мать находится где-то во главе шествия, и я так погнал коня, что он несколько раз споткнулся на всем скаку. Послышался крик нескольких девушек, их хохот и насмешки. Однако матери я нигде не мог найти. Но ведь утром все хорошо видели ее высокую фигуру в головной группе идущих. Сконфуженный насмешками девушек, я еще раз обогнал весь караван, который вел один из стариков — огромный, сгорбленный мужчина. Он ехал на небольшой лошадке, такой низенькой, что его ноги чуть ли не тащились по земле. За этим стариком следовали двое других — глухой Большой Глаз из рода Танов и знаменитый когда-то воин Черный Медведь, который в борьбе с медведем уже на пороге глубокой старости потерял левую руку по локоть.

Далее шли вьючные лошади, волочившие на носилках свернутые палатки. А уже за ними растянулся караван женщин, детей, молодых девушек. Вьючные лошади ступали медленно, неся большие тюки, на которых сидели, покачиваясь в такт лошадиным шагам, прирученные детьми сороки, галки и вороны.

Вот проезжает маленькая девочка из нашего рода, держа на руках двух бобров. На плече ее старшей сестры, идущей рядом, сидит рыжая белка, прикрывшись пушистым хвостом. Несколькими шагами дальше шествует малыш лет четырех, вызывающий даже у меня, Молодого Волка, уже получившего имя, некоторую зависть: он ведет на длинном ремне бурого медведя, который в несколько раз больше, чем он сам. Зверь шагает с ленивой важностью, покачиваясь, как ствол дерева на спокойной речной волне.

А вот приближается большая группа женщин. И наконец я вижу светлое лицо и косы цвета солнца, встречаю взгляд глаз голубых, как небо в северной стране. Это мать!

Я помчался к ней и осадил коня так резко, что несколько женщин крикнули что-то от страха или гнева, а мой конь встал на дыбы и чуть не опрокинулся на спину. Еще до того, как он опустился на передние

ноги, я прыгнул и подбежал к матери, протягивавшей ко мне руки.

Очень красива была моя мать, жена знаменитого вождя племени шеванезов. Не такая, как другие женщины, светловолосая и светлокочая — ведь звали ее Белой Тучкой, — высокая и стройная в своем платье из тонкой оленьей кожи, богато вышитом знаками и цветами племени, с золотыми браслетами на украшенных бахромой рукавах.

Она смеялась и звала меня по имени. Я впервые услышал свое мужское имя, произнесенное устами матери.

— Сат-Ок! Я знала, что ты придешь, Сат-Ок!

Не подобает мальчику, который уже имеет имя, слишком нежно здороваться с матерью. Но она крепко обняла меня, как делала это раньше. Мне нужно было изо всех сил крепиться, чтобы мои глаза не наполнились слезами, и я не мог, просто не мог вымолвить ни слова.

— Ты уже скоро станешь мужчиной, — говорила мать. — Собственно, ты уже почти мужчина. У тебя есть имя... такое красивое имя. Я ждала тебя, Сат-Ок.

Сам того не желая, я задержал караван. Нас окружили другие женщины, что-то болтая наперебой, смеясь и изливая, как свойственно женщинам, много ненужных восторгов и мало нужных слов. Кончилось тем, что один из стариков, ведущих караван, заметив эту суматоху, сдержал коня, будто намереваясь повернуть назад, что-то крикнул и даже погрозил мне кулаком.

Я немедленно очутился на лошади, женщины умолкли, все снова пустились в путь. Дальше я ехал возле матери, то и дело поглядывая на нее, и молчал, не зная, что говорить, о чем рассказывать. Ведь она сама сказала, что я почти мужчина, и я, конечно, не мог, как ребенок, говорить о том, что давно не видал ее, что очень соскучился по ней и что она продолжает быть, как и прежде, сердцем моего сердца. Как мужчина я должен был сохранять суровость и спокойствие. Но все же я не мог сдерживать улыбки. О чем же рассказывать? О большом-большом орле, застреленном мной на склонах Скалы Прыгающей Козы? О походах на Озеро Белой Выдры? О поучениях Овасеса? Столько нужно было всего рассказать, что в конце концов я не рассказал ничего.

Зато мать говорила много своим низким голосом. Она говорила о том, что ей очень не хватало меня, что она ждала этой минуты, когда наконец снова увидит меня, что отец рассказывал ей обо мне, что он был доволен своим сыном, когда я получил имя и когда он слышал от Овасеса о моих успехах в учении в лагере Молодых Волков.

— А Танта? — спрашивала мать. — Был ли Танта добр к тебе? Заботился ли о тебе?

— Танта, — ответил я, — хороший брат, и он будет великим воином. Про него говорят, что он самый храбрый из молодых охотников.

Мать умолкла. Глаза у нее стали тревожные. В них, как тень тучи, промелькнула печаль. Я понял. Ведь и отец и Танта были сейчас в пути, где их могли встретить не только люди из Королевской Конной, но и пули из их ружей.

В эту минуту к нам подъехали две молодые девушки. Они были одеты так же, как мать, но на головах у них были повязки в знак того, что они еще не имеют мужей.

Первую из них я узнал сразу — это была моя сестра Тинагет, Стройная Береза. Другую я тоже немного помнил, ее большие, глубоко посаженные глаза, продолговатое лицо и быструю улыбку. Да, это была подруга сестры — Тинглит, Березовый Листок.

Они приветствовали меня улыбками.

Я никогда еще не разговаривал с молодыми женщинами и не очень-то знал, как ответить на их приветствие и что им говорить. Подняв руку, я сказал: «Будьте здоровы» — и... это было все.

Тинагет легонько погладила меня по плечу, а Тинглит, наклонившись к ней, что-то шептала, тихо смеясь.

Они улыбались и смотрели на меня, а я чувствовал, что тут мне не помогут ни наука Овасеса, ни умение охотиться в чаще, что кровь приливает к моим щекам и что ничего интересного ни матери, ни девушкам я сказать не сумею.

Наконец, чтобы как-нибудь прервать молчание, которое становилось все глупее, я взял в руки лasso, прикрепленное у моего правого колена.

— Это твой подарок, Тинагет?.. — начал я неуверенно.

Сестра кивнула головой.

— Да, братец. Я сама его сплела из конского волоса. Я хотела, чтобы у моего брата было самое крепкое лasso, и трижды вымачивала его в горячем бобровом жире.

И снова воцарилось молчание.

Это нестерпимо тяготило меня. Большой радостью была встреча с матерью, сестрой и даже с Тинглит, которая — теперь я хорошо вспомнил это — часто приносила к нам в шатер сладкие медовые соты. Но я не умел с ними разговаривать, и хотя мне не хотелось еще с ними прощаться, все же я стал понемногу сдерживать коня, чтобы несколько отстать от них.

Но Тинглит не собиралась оставлять меня в покое. Она тоже сдержала своего коня и поравнялась со мной. Потом положила руку на шею моего коня и, став внезапно серьезной, спросила:

— Где Танта?

— Танта? — Я гордо усмехнулся. — Танта отличился, и Совет старейших разрешил ему идти одной дорогой со старшими. Танта — храбрый молодой воин.

— Расскажи мне о нем.

Я пожал плечами.

— Ведь он тебе не брат! Почему я должен тебе о нем рассказывать?

— Ты... — начала она быстро и как будто гневно, но вдруг весело рассмеялась: — Разве тебе трудно? Я запрямился.

— Скажи: почему?

Тинглит снова стала серьезной. Она наклонилась ко мне, и я увидел вблизи ее большие глаза, черные, как речная глубина, со светлыми искорками на дне.

Она сказала так:

— Я хочу, чтобы ты рассказал мне о нем, потому что мои мысли всегда кружатся вокруг него, как чайки вокруг гнезд. Я просила богов, чтобы он вернулся в селение и я бы могла посмотреть в его глаза, как в озеро, над которым мы разбиваем стойбище. А теперь, когда я была уверена, что Маниту услышал мою просьбу, твой брат, о котором я всегда думаю, ушел с воинами.

Она проговорила это быстро, тихо, но твердо.

Я не понял, о чем она говорит, но сообразил, что для нее это очень важно.

— И мать, и сестра, и я, — ответил я важно, — гордись тем, что Танта допустили на тропу зрелых воинов. Он сильнее многих сильных ловцов и мудр, как воины из Совета старейших. Когда он идет в лес, перед ним склоняются медведи и олени. Деревья уступают ему дорогу. Он не боится ни орлов, ни скал. И даже медведи... — Но тут, вспомнив о походе за медом диких пчел, я прервал хвалебную песню. Злясь на самого себя, я резко сказал: — Зачем же

все-таки я должен рассказывать молодой девушке о храбром воине?

Глаза Тинглист сверкнули, будто я ее ударил. Но в конце концов она все же рассмеялась и пожалала плечами.

— Ты глуп, мой Сат-Ок,— шепнула она и, подогнав коня, подъехала к моей сестре.

И снова они, по девичьему обычаю, начали о чем-то шептаться, сопровождая слова смехом, а смех жемствами, такими быстрыми и нелепыми, как полет чайки.

Я был зол. Как она посмела? Я был очень зол. Но... вместе с тем я понимал, что чего-то не знаю. Ведь Тинглист была не только не из нашей семьи, но и не из нашего рода. Что же ей было нужно от моего брата? И почему ее мысли кружатся вокруг него, как чайки вокруг гнезда?

Я чувствовал себя так, будто встретил в чаще след неизвестного мне зверя или нашел перо незнакомой птицы.

Наш караван двигался между скалами, которые становились все выше. Солнце уже миновало зенит, и вскоре мы вышли на небольшую поляну, усеянную камнями и покрытую пожелтевшей травой. Так как старики, возглавлявшие караван, остановились, чтобы разбить стойбище, я повернул к своим, к Молодым Волкам.

Привал был недолгим. Больше всего хлопот было с детьми, разбегавшимися среди скал. Все время были слышны крики матерей. Это нас очень смешило. Мы даже забавлялись охотой за толстым малышом из рода Танов, который, казалось, главную цель жизни видел в том, чтобы все время прятаться от своей матери, молодой женщины, еще более круглой, чем он сам. Призывая его, она непрерывно вопила высоким, тонким голосом.

А малыш был шустрый. Как хитрый сурок, он исчезал среди скал, притавившись в какой-нибудь щели. Наконец мать взялась за ремень, и над лагерем разнесся страшный визг. Так закончилась наша единственная охота на этой поляне.

Однако мне было не по себе. Меня угнетала размовка с Тинглист. Даже не ее обидные слова, а сама причина, из-за которой она рассердилась.

А так как мы, Молодые Волки, привыкли во всех трудных случаях обращаться к Овасесу, а мои сомнения не могли рассеять ни Прыгающая Сова, ни близнецы из рода Капотов, ни двое других ути, мы с Совой отправились в конце концов искать учителя. Караван готовился продолжать путь, и мы нашли Овасеса возле лошадей. Старый воин осматривал кожу, которой были обвязаны их копыта во время тяжелого пути по каменной местности. Мы подождали, пока он кончит.

Когда караван тронулся, он сейчас же спросил, чего мы хотим от него.

Это было, собственно, очень трудно объяснить. Но я все же коротко повторил ему разговор с Тинглист, и на мгновение меня снова охватило бешенство потому, что даже Овасес, всегда суровый Овасес не мог сдержать улыбки, когда я закончил свой рассказ вопросом:

— Почему она назвала меня глупым, отец? И откуда эти вопросы и это расположение чужой девушки к моему брату?

К счастью, Овасес больше не смеялся надо мной.

— У молодых девушек,— сказал он,— легко слетают с языка глупые слова. Но и ты не был умен. Бывает так, что чужая девушка имеет право спрашивать о молодом мужчине. Она это делает тогда, когда чувствует к нему большое расположение и когда хочет избрать его своим мужем. Такое располо-

жение соединяет мужчину и женщину, и каждый воин умеет его уважать. Тинглист хочет стать таким другом твоему брату, как твоя мать твоему отцу. Поэтому она и спрашивала о нем.

Мне стало очень неприятно. Действительно, гнев девушки был понятен. Я не знал, что сказать, но в это время Сова спросил Овасеса:

— А у тебя, отец, была женщина-друг?

— Да.

— Расскажешь ли ты нам о ней?

— Нет.

Мы молчали. Перед нашими глазами высоко над долиной висели два ястреба. Обернутые кожей копыта лошадей тихо постукивали по каменной дорожке.

— Я, ваш учитель,— снова начал Овасес,— не расскажу вам о женщине, о которой спрашивает ути из рода Совы. Но учитель должен отвечать на вопросы. Поэтому я повторю вам быль, которую часто поют женщины, и хотя вы ее еще не слышали, но я много раз слышал из уст той, о которой спрашивает Сова.

И вот он, этот рассказ Овасеса:

«На берегу широкой реки стоит молодая девушка Шамак — Прекрасная. Ее волосы, как крыло черной птицы, чело, как диск луны, глаза, как вечерние звезды.

Это самая красивая девушка свободного племени. Два молодых вождя, два великих воина стоят перед ней. Каждый из них хочет взять ее в свой шатер. Это хочет сделать Красный Лис. Он большой, как скала, и сильнее бизона. Это хочет сделать Идаго — Великан, от стрелы которого не ускользнет и ласточка и от ножа которого гибнут серые медведи.

Красный Лис прибыл к девушке со стороны Больших Равнин. Идаго сошел с высоких, сверкающих снегом гор.

Красный Лис по дороге к ней загнал десять коней и один победил целую стаю волков.

Идаго, спеша к реке, около которой жила девушка, прошел сквозь снежные бури и боролся с серым медведем.

Встретившись у ног Прекрасной, они направили друг на друга луки. Сверкнули длинные ножи. Но она удержала их руки. Тот, по ком она тосковала, о ком пела песни и которого ждала, был Идаго. Но законы свободного племени не позволяли ей решить этот спор двух великих охотников без испытания.

Она удержала их стрелы и ножи.

— Я не хочу,— сказала она,— входить в шатер мужа через ручей крови. Достаточно крови льется на нашей горестной земле с тех пор, как пришли белые. Вот река,— продолжала она.— Не боритесь друг с другом, боритесь с ее водами. Смотрите, вожди, ты, Красный Лис, и ты, Идаго. Сегодня утром я видела на том берегу реки куст красных ягод. Его ветви свисают над водой, и ягоды на них блестят ярче капель крови. Кто из вас первый принесет мне ветку на свадебный венок, тот приведет меня в свой шатер.

И тут она подала знак. И оба вождя бросились в волны большой реки. И тогда Прекрасная заплакала, пряча лицо в черных волосах, ибо в ее сердце вновь пробудилась любовь к Идаго, и оно сильнее забило от надежды и страха. Она желала, чтобы он первым сорвал ветку с красными ягодами в честь этой любви.

Она смотрела, как над водой плывут рыжие хвосты, воткнутые в султан Красного Лиса, и покачивается над волнами белый султан Идаго. Слушала, как бегут и бьются о берег быстрые волны. Слушала, как стучит ее собственное сердце.

Белый султан первым достиг куста красных ягод, и тогда Прекрасная закричала:

— О могучий Идаго! О великий Идаго, возвращайся ко мне! Возвращайся, как орел в гнездо! Тебя я избираю, о тебе я пела песни!

Но Идаго все медленнее, все слабее рассекает руками волны. А около него не только мелькает красный хвост Лиса, но и вода окрашивается кровью. Краснеют сильнее гроздь красных ягод. А в боку горного вождя торчит нож Красного Лиса. Он вырвал из рук Идаго ветку с ягодами и поднял ее над своей головой. Склонилась тогда Прекрасная над рекой, опустила в воду свои длинные черные косы, протянула руки к пловцам.

Первым подплыл Красный Лис. И тогда девушка крикнула:

— Иди по воде, вождь! Подойди ко мне! Приветствую тебя! Подай мне ветку ягод и подай мне свой нож, чтобы я могла обрезать ее для венка.

А когда Красный Лис подал ей ветку и нож, красный от крови Идаго, она обратила его против предателя. В ее руке была большая сила, сила любви. Она дважды ударила Красного Лиса и столкнула его в глубокую воду.

А потом она бросила свои длинные косы навстречу протянутым рукам Идаго и спасла его. Когда же он, ослабевший, опустился на колени у ее ног, она надела на его голову венок из красных ягод.

С того дня над шатром Идаго и Шамак кружились дикие голуби и пели песни любви.

Овасес умолк. Молчали и мы. Лошади шли спокойным шагом. Как всегда вечером, утих шум извещающего вдоль долины каравана. Овасес погнал своего коня, но мы остались позади.

Мы не знали, о чем говорить. До сих пор о женщинах, о девушках мы привыкли думать с презрением, смеяться над их болтливостью, насмехаться над их непониманием мужских дел. Но вот на этот раз сам Овасес повторил нам песню о девушке, и мы впервые услышали, что и женщина может быть героем.

Мы уже вступали на Землю Соленых Скал. Это была жестокая и страшная земля. Она лежала среди больших горных кражей. Посредине ее протекал один-единственный тихий ручеек. По берегам его кое-где росли низкие, карликовые сосны со скрюченными ветвями и с иглами, покрытыми соленой пылью.

Соленая серая пыль была здесь повсюду — она покрывала скалы и редкую бурую траву. Легкий ветерок поднимал ее в воздух и закрывал солнце. Изредка здесь можно было увидеть черного кролика или блестящие глазки суслика — единственных обитателей этой страны, которую обходили люди и звери, где трудно было жить и тяжело дышать. Человек должен был избегать ее, особенно во время летнего зноя, иначе он высыхал на глазах, кашлял, плевал кровью, умирал: соль съедала легкие.

Мы смотрели на Землю Соленых Скал тревожными глазами. Но в то же время моя память все время возвращалась к образу Прекрасной, склонившейся над большой рекой. Какая она была? Как звучал ее голос?

Сова, наверно, думал о том же. Он был серьезен, серьезнее, чем когда-либо. Наконец он обернулся ко мне.

— Твоя сестра Тинагет, — сказал он робко, — очень красива.

Тинагет? Я любил ее. Любил ее веселый голос и песенки. Однако мне больше нравились светлые глаза и солнечные волосы матери.

Но мать была красивой, как мать, — наверно, совсем по-другому, чем жена Идаго. И тогда я

вспомнил огромные черные глаза Тинглит с мелькающими на их дне светлыми искорками, ее голос, ее улыбку.

Я покачал головой.

— Сова, — сказал я, — Тинглит много красивее.

Долина Соленых Скал имела три выхода, однако с лошадьми и детьми можно было пройти только по одному. Мы разбили стойбище как раз у подножия этого перевала.

В долине царил тишина. Наш лагерь не был веселым. Мы не разжигали веселых, трескучих костров, не было слышно радостных или насмешливых песен женщин и девушек.

Овасес приказал нам вести обычную жизнь. Уже на другой день он собрал Молодых Волков учиться метать томагавки, и на другой же день после прибытия сюда женщины вернулись к своим обычным занятиям. Но все делалось молча, без песен, которые обычно во всем сопутствовали шеванезам.

Мы, мальчишки, часто отправлялись к большому каньону, к старой стоянке, высматривая, не возвращаются ли воины. На нас также лежала обязанность обеспечивать всех едой.

Земля Соленых Скал была безопасным и тайным убежищем. Овасес говорил, что еще никогда белый человек не находил к ней дороги.

Но это была убогая земля.

Целыми днями, часто до поздней ночи, мы носились по окрестным ущельям и склонам гор, охотясь за всем, что годилось в пищу: за кроликами и сусликами, белками, дикобразами...

Мы добывали мяса, сколько могли. Но его всегда не хватало. Тем более, что Овасес запретил женщинам трогать запасы сушеного и тертого мяса. Что еще хуже, окрестности были очень бедны ягодами, грибами и съедобными кореньями. Поэтому хотя голод еще и не начался, но сытость уже кончилась.

Проходил день за днем. Кончился месяц Красных Листьев и Большой Росы, а воины все еще не возвращались.

Не раз мы с Совой останавливались на скалистых склонах и просили Великого Духа, чтобы он помог нам хотя бы раз убить в этой суровой долине большого оленя или лося. Мы клялись пойти за это на Святую Гору и просидеть там в честь Маниту пять дней и пять ночей без еды и без питья. Но ни к чему были просьбы и клятвы. Мы не встретили оленя, не встретили лося.

Наконец на девятнадцатый день нашего пребывания в Долине Соленых Скал стоявший на страже мальчик из рода Танов оповестил, что прибывает один из наших воинов.

Случилось это в полдень, когда женщины готовили пищу.

Мы выбежали навстречу посланцу. Это был Желтый Мокасин, который когда-то привел мне в лагерь Молодых Волков коня и которого отец обычно посылал гонцом.

Конь Желтого Мокасина был загнан почти до смерти. Да и сам воин выглядел так, будто он много дней не касался ни еды, ни питья. Мы приветствовали его радостными криками. Но он проехал мимо, как будто не заметил нас, даже не поднял руки.

Он заговорил лишь тогда, когда подъехал к костру, где сидели Овасес и трое старшин племени.

— Воины, — начал он бесконечно усталым голосом, — придут к вечеру. Велено, чтобы женщины приготовили лыко и истертые гнилушки из дубовой коры, а также много горячей воды. У нас есть раненые.

Все слушали в полном молчании. Один из стариков невнятно бормотал что-то. Глухой Большой Глаз

встал и напряженно смотрел на губы Желтого Мокакина, чтобы понять, что он говорит. Желтый Мокакин был настолько утомлен, что не мог громко говорить, он почти шептал.

— Есть ли убитые? — спросил Овасес.

Его резкий голос подстегнул Желтого Мокакина. Он снова выпрямился и ответил громко и внятно:

— Убитых нет, есть только раненые.

Овасес приказал подать гонцу еду и воду. Все молчали. Над племенем нависла угроза несчастья.

Когда солнце уже скрылось за вершинами скал и в долине начал сгущаться мрак, снова послышался крик дозорного. В глубине долины появился возвращающийся отряд, возглавляемый отцом. На этот раз мы не выбежали навстречу. Все племя собралось, ожидая своих отцов и братьев.

Всадники подстегнули измученных коней. Хотя лица воинов были раскрашены в цвета победы, ни они, ни мы не испускали криков радости. Между лошадьми на растянутых одеялах лежали раненые. Когда отряд остановился, мы бросились помогать женщинам переносить раненых в шатры под надзор стариков и колдуна.

У воинов были удивительные раны — как будто орел вырвал у них куски тела. Это были следы огнестрельного оружия белых.

Только тогда, когда все раненые были перенесены в свои типи, Овасес разрешил Молодым Волкам разойтись по своим семьям, чтобы поздороваться с отцами и братьями. Я возвращался в наш шатер медленно, неуверенными шагами. Я очень гордился отцом, который привел отряд к победе, и братом, который хотя и не прошел еще посвящения, все же был допущен к борьбе вместе со старшими.

Я только что помог перенести в шатер Быструю Стрелу. Это был отец того толстого малыша, который причинил столько хлопот своей матери, крикливой и веселой женщине с круглым, как луна, лицом. Теперь она не кричала и не смеялась, а малыш притих в углу типи, прижавшись к своему медвежонку.

У Быстрой Стрелы на спине была рана, такая большая, как две сложенные вместе ладони. Пуля попала ему в грудь — Быстрая Стрела не поворачивался к врагу спиной, — но, выходя через спину, она вырвала кусок мяса, как удар медвежьей лапы.

Быстрая Стрела не стонал. Глаза его были полузакрыты. Он часто дышал, а по лицу его катились крупными каплями пот. Жена его беззвучно плакала. Глаза толстого малыша блестели, как у перепуганного зверька.

Только перед самой нашей палаткой я пустился бежать, с радостным криком бросился на грудь отцу, потом обнял брата. Они были утомлены и молчаливы. Молчала и Тинагет, занятая приготовлением пищи. Говорила только мать. Она говорила о том, как мы ждали их возвращения, как мальчишки охотились, а женщины собирали ягоды и грибы, как всю долину непрерывно оглашали крики матерей, разыскивавших своих маленьких ути. Ее низкий голос звучал, как воркованье голубя. Она говорила о пустяках, но я хорошо знал, что она кружится вокруг невысказанных вопросов. Потому что ни ей, ни сестре, ни мне не полагалось задавать какие-либо вопросы о походе, если отец сам не хотел об этом рассказывать. Я чувствовал, однако, как эти вопросы просятся матери на язык, как она то и дело посматривает то на Тинагет, то на меня, то на Танта, ища помощи, ожидая, что ей подкажут самое нужное слово.

Наконец она решилась.

— Заслужил ли, — спросила она, — заслужил ли Танта того, чтобы и в дальнейшем ходить тропою воинов?

Танто даже не вздрогнул, зато отец удивленно и недовольно посмотрел на мать. У нас в семье было известно, что мать всегда поступает иначе, чем другие женщины племени, настоящие индианки. Мы знали также, что некоторые женщины, которые пытались следовать ее примеру, встречали суровое порицание у своих мужей. Отец никогда даже голоса не повышал на мать. Но все же, когда она поступала вопреки старым обычаям племени, он не мог сдерживать движения тихого гнева.

Но осмелевшая мать, улыбаясь, повторила вопрос: — Заслужил ли Танта...

— Танта, — перебил ее будто бы сурово отец, — Танта заслужил одобрение лучших воинов. Это все.

Танто делал вид, будто все это его не касается и его больше всего интересует кроличья печенка, которую готовит Тинагет. Однако он не мог сдержаться, чтобы не бросить быстрый взгляд на мать и на меня и не поднять гордо голову. А я? Я уже забыл о Быстрой Стреле. И теперь уже только завидовал брату, завидовал ему, как никогда в жизни. За то, что отец похвалил его важным и суровым голосом перед женщинами, можно было пойти на все. Даже на страдание. Может быть, даже на большее.

Мне хотелось, чтобы Танта поскорее кончил есть: я оттащил бы его тогда в сторону и расспросил бы обо всем подробно. Я был уверен, что похвала отца развжжет ему язык, и я узнаю все о походе. Но я не предвидел одного обстоятельства. Я просто не предвидел того, что ...откинется пола типи и сюда войдет незваная и непрошенная Тинглит.

А Тинглит действительно вошла. Она была, как мать и Тинагет, празднично одета в платье из тонкой оленьей кожи, расшитое блестящими цветными бусами. В косы она вплела яркие лесные цветы, на лбу у нее была повязка из белого конского волоса.

И хотя она нарушила все мои планы, хотя по одному взгляду брата я понял, что Танта уже для меня потерял, я не мог на нее сердиться. Я сразу вспомнил Прекрасную. Тинглит действительно была, как молодая весна.

Мой взгляд, должно быть, был слишком уж красноречивым, так как Тинагет не выдержала и фыркнула от смеха.

— Сат-Ок, братишка, ты смотришь на Тинглит, как медведь на медовые соты.

Меня охватили стыд и гнев, ибо даже отец громко рассмеялся.

— Сат-Ок, Сат-Ок, — смеялся он, — берегись. К такому меду прилипнуть легко, но оторваться трудно даже воину.

Стыд одержал верх. Я забыл о всякой осторожности.

— Мне это не страшно! — крикнул я, показывая на Танта. — Не ко мне приклеится Березовый Листок! Не обо мне расспрашивают красивые девушки! Взгляды Танта и обеих девушек были остры, как стрелы. Даже мать посмотрела на меня с укором. Невольно я коснулся вещей более серьезных, чем мог предположить. Теперь и Тинглит и Танта пылали румянцем. Отец нахмурился и начал внимательно присматриваться к ним. Наконец он спросил, и голос его звучал сурово и неприятно:

— Танта!

— Да, отец.

— Виделся ли ты с этой девушкой последнее время?

— Да, отец.

Только теперь я испугался.

Старые законы племени не разрешали молодому воину перед посвящением видеться ни с одной женщиной три новолуния.

К посвящению молодой воин должен прийти чистым, как вода потока. Признание Танто в том, что он виделся с Тинглим, угрожало ему отсрочкой посвящения на долгое время и позором перед всем племенем. Я затаил дыхание, даже мать побледнела.

Отец же как будто не понял слов Танто.

— Я спрашиваю, виделся ли ты с ней? — повторил он.

— Только... только издали, отец.

В шатре наступила тишина. И во всем этом был виноват я! Только я! Из-за меня Танто могли жестоко обидеть, а Тинглим могла быть опозорена.

Ну и что же из того, что они виделись? Это же была та дружба, о которой рассказывал Овасес, такая же, как между Прекрасной и Идаго.

Что решит отец?

Обо мне уже все забыли. Смотрели только в лицо отца. Отец встал, подошел к очагу, закурил трубку, потом встал перед Тинглим и долго смотрел на нее. Девушка даже не вздрогнула, она опустила свои большие черные глаза со светлыми искорками на дне, и только ее темные щеки все больше краснели. Мать тоже встала и сделала какой-то жест, будто хотела сказать что-то. Но отец остановил ее движением руки и обратился к Танто:

— Я говорил здесь твоей матери, твоей сестре и брату, что ты заслужил похвалу воинов. Ты признался, что виделся с этой девушкой. Ты виделся с ней издали?

— Да, отец.

— Вы не разговаривали друг с другом?

— Нет, отец.

— Не касались друг друга?

— Нет, отец.

Я облегченно вздохнул, как будто над моей головой пронеслась большая опасность. Лицо отца немного смягчилось. Он кивнул головой.

— Если так, я прощаю тебя. Через двадцать дней состоится Праздник Посвящения, и поэтому я прощаю тебя. Пройдешь посвящение и станешь мужчиной. Сегодня ты пойдешь на неделю в горы и там, вдали от людей, проси Великого Духа, чтобы он помог тебе выдержать испытание крови. Ты же, девушка, — обернулся он к Тинглим, — иди отсюда.

Он повернулся к выходу из шатра, но уже на пороге на мгновение задержался и... улыбнулся Тинглим.

— Если захочешь... если вы оба захотите, ты вернешься в типи. Но уже в типи этого воина, — добавил он, показывая на Танто, и, рассмеявшись, вышел.

Так я сначала стал причиной несчастья, а потом именно благодаря мне отец значительно раньше, чем Танто и Тинглим могли об этом мечтать, согласился, чтобы Тинглим вошла в типи его сына. Таким образом, я стал и причиной радости. Когда девушка ушла, Танто огрел меня дважды ремнем по спине, но это был уже притворный гнев. А мать меня просто расцеловала. Лишь Тинагет не хотела со мной разговаривать. Я пригрозил ей, что напущу в ее платье красных муравьев. Тогда Танто опять бросился на меня, и мы стали бороться. Он сразу победил меня, но в его голосе была радость, а в ударах только игра.

Однако отец приказал ему немедленно выступить в путь. Мать с сестрой вышли, чтобы приготовить ему коня. Я же помогал ему осмотреть стрелы, почистить нож, приготовить праздничную одежду, и он в конце концов согласился, чтобы я немного проводил его. Он был очень счастлив. Через двадцать дней он должен был стать воином. Отец похвалил его, разрешил жениться. Нужно было воспользо-

ваться радостью брата. И, когда мы двинулись в путь, я несмело спросил:

— Ты мне расскажешь, Танто?

— О чем? — Он притворился, будто не понимает.

— О... о походе и битве.

— Отец запретил.

— Танто!

Я провожал его в глубь долины, в сторону Черных Скал. Танто ехал на своем небольшом беспокойном мустанге, глядя на ясный диск луны. Я не раз хотел прервать его задумчивость, но у меня не хватало храбрости. Наконец он сам придержал коня.

Мы уселись на большую черную каменную глыбу среди глубокой ночной тишины.

Я долго ждал первых слов брата. И вот он заговорил:

— Запомни хорошенько: белые из Королевской Конной не слепы и не глухи. Я говорю тебе это, потому что до того, как вышел на военную тропу, сам так думал. Я думал, что сила и храбрость наших воинов заставят Вап-нап-ао и его людей превратиться в маленьких детей, которые с плачем разбегутся перед нами. Я не знал, Сат-Ок, что пуля быстрее стрелы, что их кони так же сильны, как и наши, что их глаза достаточно внимательны, чтобы высмотреть цель и заметить след на лесных дорогах. Отец хотел завести их далеко в чащу, к мокрым болотам. Туда, где тропинки часто кончаются на дне трясины и где даже лоси чаще находят смерть, чем дорогу. Но Вап-нап-ао недаром носит имя Белой Змеи. Он ядовит, как змея, и хитер, как змея. Когда мы двинулись в сторону болот, он не пошел по нашему следу, а расставил дозоры на тех дорогах, по которым мы могли возвращаться. И когда мы возвращались от болот, меня послали вперед как разведчика. Я наткнулся на один такой дозор. Тогда я убил человека.

— Убил человека?

— Да. Ты слышал, что отец меня сегодня похвалил. Большое Крыло и Сломанный Нож тоже хвалили меня за то, что тот белый не успел даже крикнуть. Я добыл его оружие. Я знал, что делаю это затем, чтобы сохранить свободу племени, чтобы нас не загнали в резервацию, где женщины и дети будут умирать, а голод выбьет луки из рук воинов. Я ненавижу того человека из Королевской Конной. Но сердце мое неспокойно. Нехорошо убивать человека, даже когда это враг.

— Ты же воин, Танто! — возмущился я.

— Да, я воин и останусь воином, — ответил он резко. — И никто никогда не скажет, что я повернулся к врагу спиной. Но смерть притягивает смерть. Я убил одного. Но мы не сбили их со следа, не улетели по воздуху. Вап-нап-ао пошел по нашим следам. И шел много дней. Он не потерял их ни в волнах большой реки, ни в стране озер, ни на равнине. И тогда мы поняли, что смерть притягивает смерть и мы должны вступить в бой. Но мы не могли этого сделать ни в чаще, ни на равнине, потому что их оружие настолько сильнее нашего, насколько удар медведя сильнее удара рогов молодого оленя. И мы вынуждены были повернуть в сторону гор, хотя таким образом наводили белых на след всего племени. Но только горы могли быть нашими союзниками.

Мы обошли вход в Землю Соленых Скал и пошли в Совиные Горы к каньону Шепчущих Скал. Мы уже не путали наших следов, но только потому, что приходилось очень спешить, так как наши запасы кончались и мы должны были возвращаться к вам. На Совете Старейших Голубая Птица сказал: «Белых может задержать только их собственная кровь. Вап-нап-ао уже не потеряет нашего следа, но он не

сразу решится переступить через собственную кровь. Он будет ждать, станет созывать новых воинов, и так минует месяц, а может быть, и два. А нам, быть может, удастся отвести все племя в другую, более безопасную сторону. Когда выпадет снег, собаки Вап-нап-ао потеряют нюх и потеряют след. Возможно, они вернутся только к весне. А мы тогда уже будем далеко. Совет Старейших согласился с тем, что только кровь задержит людей из Королевской Конной.

Мы ждали их в каньоне Шепчущих Скал. Коней мы угнали в глубь долины, а сами засели на высоких скалах над крутым поворотом реки, вдоль которой бежала дорога. Мы ждали целую ночь, до холодного рассвета. Над рекой стлался туман. Мы ждали до тех пор, пока стоявший на страже Желтый Мокасин не начал лаять, как голодный шакал, которому ночью не повезло на охоте. Это был знак, что идут белые. Когда я их увидел, я на мгновение вновь перестал быть воином. У меня было сердце маленького ути. Я боялся не за себя. Но когда я увидел этих людей в больших, сытых конях, с ружьями, сверкающими в первых лучах солнца, я понял, что если мы даже убьем их, то придут другие. Что они будут бежать по следам нашего племени, как зимой волки мчатся по оленьему следу. Что они сумеют переступить через кровь. Но потом отец выглянул из-за скалы и поднял руку. Полетели наши первые стрелы. Тогда я убил второго человека. Моя стрела впиалась в затылок белого, который ехал позади всех. Шесть раз отец поднимал руку, и шесть раз летели вниз стрелы из наших луков. Белым негде было спрятаться, но их пули тоже находили цель. Белые стреляют из оружия, которое грохочет сильнее, чем гром. Этот грохот разбудил Духа Гор, разбудил дремлющие камни, и они начали скатываться по склону и падать на людей Вап-нап-ао. Тогда Вап-нап-ао, большой человек с красными волосами, приказал им отступить. Я послал ему вслед стрелы, но они подвели меня. Ослабла тетива. Белые убежали. Убежали недалеко. Но мы уже не могли достигнуть их стрелами, а они целый день осыпали оба склона каньона своими пулями. Мы целый день ждали, слыша, как они лопаются около нас, как шуршат по камням, и ничего не могли сделать. Все мы были воинами, не знающими страха, и все же ничего не могли сделать. Наше оружие было бесполезно, слабо, как руки стариков. Дремлющие скалы скатывались вниз, но уже угрожали не белым, а только нам. Эти камни столкнули вниз Сломанного Ножа. Он попал в плен к белым, а мы не могли тронуться с места, пока не кончился день — самый длинный день в моей жизни.

Белые отступили. Не переступили через свою кровь. Быть может, пройдет две луны, прежде чем Вап-нап-ао возвратится искать наши следы в горах. Мы раскрасили свои лица в цвета победы. Мы победили. Это была большая победа, Сат-Ок. Так сказал отец. Так сказали все старые воины. Твой брат гордится тем, что его нож не дремал, что его стрелы пели Песню Смерти. Но смерть притягивает смерть. Наше племя — последнее племя свободных людей, которые не принесли присягу белому королю. В каньоне Безмолвных Скал мы красили лица в цвета победы и пели песни победы, но белых больше, чем звезд на августовском небе. Понимаешь, Сат-Ок?

— Понимаю.

Я попрощался с братом, когда небо на востоке уже посветлело. А приближаясь к лагерю, услышал песню, которую редко поют женщины в мирное время.

Это была Песня Смерти.

Ночью умср Быстрая Стрела, отец толстого мальчика, который так ловко прятался в скалах, муж крикливой и веселой женщины.

Восходящее солнце легло длинной светлой полосой на волны ручья. Это была Дорога Солнца. Я смотрел на нее внимательно и долго, потому что сам когда-нибудь вступлю на нее. Это дорога, по которой отправляются в Страну Вечного Покоя души больших скал, воинов, крупных животных, оленей и лосей, души старых больших деревьев.

А когда на воду ложится лунный луч и его слабый свет отражается в волнах реки или озера, тогда Дорогой Луны уходят души женщин, маленьких детей, кустов, цветов, ягод и маленьких зверушек. Но для ног мужчины лунные лучи слишком слабы. Могут прогнуться или сломаться под ними. Мы уходим Дорогой Солнца — такой, которая блестит сейчас перед моими глазами и по которой сегодня на рассвете ушел от нас Быстрая Стрела.

Когда же солнце прошло своей тропой через все небо и снова бросило светлую дорогу на волны ручья, протекающего в долине, к первой Песне Смерти, которую пели женщины из рода Оленя, прибавилась еще одна песня. Дорогой Солнца ушел в этот день второй воин из племени свободных шеванезов.

VIII

Пусть опустится тьма и окружит нас,
Пусть блеск солнца не слепит наши глаза,
Пусть смолкнут голоса живого мира,
Ибо души наши жаждут покоя.

В эту ночь я не мог заснуть, хотя и был очень утомлен. Над всей долиной пыла, не смолкая, Песня Смерти. Я прятал голову под шкуру, закрывал уши. Но она неслась отовсюду, замедляла бег сердца, твердила, что смерть притягивает смерть.

Вместе со звуками песни явились призраки: незнакомые воины с рассеченной грудью, все покрытые огромными ранами. Широко раскрытые рты, что-то кричащие в тишине, протянутые руки, жадущие чего-то недостижимого. Плечи и спины, до того напряженные в нечеловеческом усилии, что из них сочится кровь. И созерцающие все это лица белых, бледные, улыбающиеся лица, бесчисленные, как звезды на августовском небе. В их темных глазницах глаза сверкали, как у рысей или волков.

Они все ближе подходили ко мне. Они заполнили все небо, всю землю, наклонялись надо мной, ко мне приближались их волчьи глаза, рысьи глаза, глаза сов... Я стал кричать и с криком выбежал из палатки.

Тут я очнулся. Ночь была холодная и чистая, но она не могла дать утешение сердцу и отогнать дурные видения. Гул бубнов и похоронное пение снова захлестнули меня широкой волной. Посреди площади, возле скончавшихся от ран воинов, сидели все женщины племени. Вокруг них стояли товарищи погибших. Ночь уже клонилась к рассвету, костры догорали, отбрасывая слабый свет на тела убитых. Обе вдовы уже отрезали свои косы, их головы были белыми от пепла.

Толстый мальчик сидел возле своего отца. Он не плакал. Глаза его, блестящие и неподвижные, были широко раскрыты. Теперь его лицо уже не было похоже на лицо маленького ути. Когда я встретил его взгляд, сердце у меня дрогнуло: это были глаза Быстрой Стрелы. Так, значит, он не ушел совсем: частица его души осталась в этом маленьком

толстом ути, который когда-нибудь, как отец, поднимет топор на медведя, чтобы добыть мясо для своего рода, а если понадобится, преградит белым путем к своему селению.

Утром со стороны лесной долины появились четыре воина и колдун. Они несли на плечах сделанные ночью по указаниям шамана носилки. На этих носилках Быстрая Стрела и еще один умерший воин должны будут совершить свой последний путь в пещеру у подножия Кенскета — Скалы Умерших.

Завидев воинов, жены убитых начали снаряжать своих мужей в последнюю дорогу, тихо напевая им:

О славный мой муж!
Я обуваю тебя в мокасины из кожи карибу,
Чтобы шаг твой был легок
И чтобы ты быстро дошел до Великой Страны Покоя.
Я крашу твоё лицо в цвета любви и дружбы,
Ибо Гиче-Маниту выкурит с тобой священную трубку.
Эта рубашка всегда будет напоминать тебе
О твоих великих подвигах на земле.
Живи счастливо рядом с Великим Духом,
И пусть орлиные перья поют тебе о твоей славной жизни.

Горькая Ягода обходил круг воинов и Молодых Волков, выбирая тех, кто будет провожать обоих умерших к месту последнего прощания. В этом шествии должны были участвовать отцы и сыновья, самые старшие и самые молодые из тех, кто имеет уже свои имена, чтобы каждый мог найти дорогу к Пещере Безмолвных Воинов, если бы даже он остался на земле совсем один. Во главе шествия должен был идти мой отец. Я же был самым младшим из тех, кого выбрал Горькая Ягода.

Мы двинулись в путь ранним утром. Впереди шел воин в уборе из черных перьев. Нас вел монотонный, медленный звон его бубна. Вслед за ним шли двое других с деревянными трещотками. Привязанные к их ногам у щиколоток конские хвосты заматали на тропинке следы мокасинов, как заматает свои следы каждый брат смерти.

Мы шли без слов, без разговоров и песен, вслушиваясь в звуки бубна и трещоток. Все, кто принадлежал к роду убитых, покрасили лица сажей и поранили себе ножами грудь, принося свою кровь в жертву душам умерших...

Мы направляли свой путь в глубь Солёных Скал. Вокруг было пустынно. Здесь уже начиналась иссохшая земля молчания и голода. Только порой среди кустов неторопливо пробежит шакал, а над скалами тяжело пролетит стервятник, эти единственные обитатели сердца Солёных Скал.

Совсем под вечер мы остановились перед двумя темными скалами, стерегущими вход в последнее ущелье всей большой долины. Этот вход охраняли еще и сложенные у подножия скал медвежьи черепа. Каждый из участников шествия клал внутрь черепа жертвенную щепотку табаку и просил духов медведей, чтобы они защищали живых от злых духов. Здесь шествие остановилось.

Мы раскрасили свои тела в цвета, означающие приветствие, и все воины выкурили калюмет — трубку мира, пуская священный дым в небо, на землю и на все четыре стороны света.

Снискав себе благосклонность духов, мы могли уже двинуться в дальнейший путь. Дорога шла через ущелье, в котором мы все чаще встречали высушенные солнцем и промытые дождями скелеты животных. Ибо всякий, кто когда-либо заблудился среди стен последнего ущелья Долины Солёных Скал и не нашел выхода, должен был неминуемо погибнуть

от жажды и голода. Здесь были только камни и соленая пыль.

Мы вышли к пропасти, разделяющей две последние части ущелья. Позади нас были Черные Скалы — Кускета. Перед нами, за пропастью, Кенскет — Скалы Умерших.

Отец, подойдя к краю обрыва, поднял вверх руки и, повернувшись лицом к мертвым, начал петь единственную песню, какую когда-либо слышало это ущелье, песню, которая поется только здесь, у порога Кенскета:

Пусть спустится тьма и окружит нас,
Пусть блеск солнца не слепит наших глаз,
Пусть смолкнут голоса живого мира,
Ибо души наши жаждут покоя.
Пусть спустится тьма и войдет в наши сердца,
Пусть заслонит от нас селения, реки, озера.
Мы жаждем вечного покоя,
Мы жаждем вечного покоя,
Веди нас, Великий Дух,
В свою страну безмолвия.
Мы жаждем вечного покоя,
Мы жаждем вечного покоя.

Ни одно эхо не откликнулось на песню отца. Здесь царила великая тишина, тишина страны умерших.

Мы двинулись дальше. Барабан и трещотки уже молчали.

Процессия скользила почти бесшумно по узкой тропинке, нависшей над пропастью. Когда тропинка перешла в широкую площадку, мы расположились на отдых.

До Пещеры Безмолвных Воинов было уже недалеко. Но мы должны были переждать здесь ночь, ибо посещать мертвых можно только на рассвете.

Вход в пещеру преграждали большие каменные глыбы.

Мы шли узким каменным коридором. Слабый утренний свет быстро померк у нас за спиной. Теперь мы шагали в полной темноте, и даже я вынужден был нагибать голову, чтобы не задеть свод.

Наконец, коридор кончился, и мы зажгли факелы. Их пламя даже не дрожало: так тих и неподвижен был здесь воздух. Мы стояли у порога такого большого грота, что свет факелов не доходил до его стен. Стены и своды тонули в темноте, более черной, чем самая черная ночь. Мы стояли неподвижно, только воины, несшие носилки, опустили мертвых на землю, а рядом с ними положили весь их земной скарб: оружие, пищу, одежду. В отряд Безмолвных Воинов прибыло двое новых братьев.

Свет факелов не достигал стен и сводов, но он вырвал из мрака десятки тех сынов племени шеванезов, души которых давно уже отошли Дорогой Солнца. Все они когда-то плясали военный танец, мчались верхом по равнину, пробирались с луками через лесную чащу. Теперь они неподвижно сидят здесь годами, десятками, а могут быть, даже сотнями лет так, как посадили их те, что их принесли, те, которые теперь тоже, наверное, спят рядом с ними.

Вот около тотемного столба сидят два воина — вождь и колдун. Сидят, опираясь руками на подогнутые колени, и лица их обращены к выходу из пещеры — в сторону северо-западного ветра. На них богатые одежды с еще живыми, яркими красками. На голове вождя длинный белый убор из перьев, ниспадающий до земли, как крылья убитого орла. Перед каждым из них оружие, трубка, посуда с пищей.



«Перед вечером к берегу озера начали причаливать
 маленькие и большие каное» (стр. 76).



«Шесть раз отец поднимал руку» (стр. 73).



За ними — другие. Большинство из них сидит, опираясь руками на колени, опустив головы. Но некоторых, особенно великих, оставили здесь в тех позах, в которых их постигла смерть. Одни сидят на конях, другие лежат в лодках, в каноэ из березовой коры...

Все эти тела людей и животных за долгие годы высохли и окаменели, превратились в каменные глыбы среди каменных стен. Пламя отражается в их волосах, одежде и оружии слабым мигающим блеском. Все покрыто мелкими прозрачными кристалликами соли. Здесь все высыхает и пропитывается солью — такова эта земля, таковы скалы, такова Пещера Безмолвных Воинов.

На стенах пещеры написана история племени, история великих и славных событий, борьбы, охот, странствий. Отец, обходя грот, освещает факелом стены, покрытые таинственными знаками. Каждый из этих рисунков и изображений — это один день истории шеванезов. Но и эти знаки так же, как давно умершие воины, перестали уже говорить с нами. Их язык за долгие века умер, утерян во время долгой, жестокой борьбы с белыми, когда вожди и колдуньи погибали так быстро, что не успевали передать язык знаков своим преемникам, своим сыновьям. И теперь уже почти никто из племени не умел их прочесть. Даже Горькая Ягода и отец знают лишь некоторые из них.

Неужели и мы умолкнем, так что когда-нибудь сын моего сына или внук моего внука не сможет прочесть знаков, которыми я попрощаюсь здесь со своим отцом?..

IX

Дай мне силу Мичи-Мокве, горного медведя,
Дай мне ловкость секусь-горностаю,
И я буду прославлять твоё имя
В песнях и плясках, о Великий Дух!
Позволь мне стать мужчиной,
Дай мне славу воина...

Сегодня утром ударили бубны. С самого рассвета они громко возвещали о том, что племя шеванезов возвратилось в свои леса над озером, что великие воины племени отогнали Вап-нап-ао и людей из Королевской Конной, что племя снова свободно. Они объявляли о Празднике Посвящения и большом Совете вождей. Приближается время охоты. Белые исчезли бесследно. Вскоре повеет Кей-вей-кеен, северо-западный ветер, напоминая, что приближается зима. Пора выделить каждому роду места для охоты, заготовить запасы мехов и мяса. Наступают дни труда и сытости. Совет вождей назовет юношей, которые после окончания охоты пройдут испытание крови — посвящение.

Бубны гремели с утра до вечера, созывая все племя на большой праздник. Кей-вей-кеен, сгибавший верхушки сосен, далеко разносил голос бубнов. Над лесом неподвижно висел серый ястреб. Наконец он затрепетал крыльями и медленно, будто плывя вниз по спокойному потоку, скрылся за стеной леса.

Вслед за ним пошло солнце. Оно начало опускаться все ниже, просвечиваясь сквозь сосны и буки, кедры и ели. Его вечерние лучи разбудили буроого медведя, предупредили стадо оленей о приближении рыси. Наконец оно опустилось на озеро, наполнив серебряной водой, своими последними лучами послало привет серым волкам и, расстилая Дорогу Солнца, исчезло на западе — там, где лежит Страна Вечного Покоя.

Потом появился месяц — победитель солнца. Но его победа не будет долговечной, перед рассветом

он вновь исчезнет, гонимый острыми, как стрелы наших луков, солнечными лучами. Вечером же вновь возвратится — непобежденный.

Овасес говорит, что эта борьба длится испокон веков и старейшие отцы старейших воинов не помнят ее начала. Рассказывают только, что Солнце и Месяц, два молодых брата, рожденные Землей, встретили когда-то в юности на одной тропинке горкоганос — утреннюю звезду и влюбились в нее. И с тех пор они неустанно борются между собой за женщину, звезду, укравшую их сердца.

Северо-западный ветер разносит далеко над лесом голоса бубнов — их слышат луна и лес, медведь, олень и рысь, слышат все шеванезы.

Перед вечером к берегу озера начали причаливать маленькие и большие каноэ. Воины молча вытаскивали на песчаный берег легкие березовые челны, их жены раскидывали типи из шкур.

С другой стороны доносился конский топот. Это прибывали всадники с равнин. Они тоже быстро, в молчании, ставили свои палатки. Лагерь все увеличивался, люди продолжали прибывать, но ночь перед великим праздником — это ночь молчания. Уже смолкли бубны, и лишь порой раздавалось ржание коня или стук топора, рубящего ветки для костра.

Утром берег озера походил на лесную поляну, пеструю от разноцветных типи. Посреди лагеря на широкой площади возвышался большой шатер, окрашенный в красный цвет, с тотемными знаками всех наших родов. Это шасса-типи, в котором совершается испытание крови.

Мы с Совой и Таугой уже с самого рассвета слонялись по лагерю. Прибыли все воины Танов, Капотов, Викминчей и Сампичей. Прибыли и воины сивашей, которые, как и мы, не хотели служить белым и присоединились к нашему племени. Ростом они были ниже наших мужчин, скулы у них сильно выдавались, а на верхней губе виднелись реденькие усы. Они носили на голове не уборы из перьев, а большие шапки из лисьего меха, с которых по обе стороны лица спускались на плечи лисьи хвосты. Мы принимали их, как братьев, хотя прежде, по словам Овасеса, наш военный клич не раз нарушал спокойный сон сивашей.

С восходом солнца начались первые пляски. Это еще не было настоящее празднество, однако на площади собрались почти все жители лагеря, чтобы посмотреть состязание воинов.

Вот из толпы появляется высокий мужчина, покрытый конской шкурой; это Утнач — Отважная Птица — из рода Викминчей. Он одним большим прыжком выскакивает на самую середину площади, а потом начинает красться легким шагом пумы. Остановился — и в руке его засверкал нож, как луч луны в зеркале воды.

С противоположной стороны выходит, тяжело ступая, воин, покрытый медвежьей шкурой, — друг Отважной Птицы.

И вот оба воина — медведь и охотник — начинают кружиться один вокруг другого, испытывая свои силы. Отважная Птица, низко пригибаясь к земле и то замедляя, то ускоряя шаги, обегает то большими, то меньшими кругами большого, поднывавшегося на задние лапы медведя. И вдруг Отважная Птица, выждав удобное мгновение, бросается вперед быстро, как горностаю. В первый момент казалось, что он погибнет от удара поднятой вверх медвежьей лапы, но он низко пригнулся и вонзил нож в бурый мех. Большой мокве зарычал, зашатался, хотел обхватить охотника лапами, но тот уже снова на

безопасном расстоянии и снова кружится вокруг него, выжидая удобную минуту для следующего прыжка.

Одобрительный шум пробегает среди зрителей: Утнач снова бросается вперед.

Борьба протекает в молчании. Слышится только тяжелое дыхание борцов. Медведь хочет наклонить морду, но Утнач поддерживает головой его нижнюю челюсть, чтобы медведь не схватил его сверху клыками. Вот они столкнулись грудью с грудью. Зверь пытается разодрать когтями передних лап спину охотника, но ее защищает плащ из двойной толстой конской шкуры.

Наконец воин вонзает медведю нож в сердце. И молниеносно отскакивает весь залитый потом, запыхавшийся и бледный. Медведь еще мгновение стоит на задних лапах, потом тяжело падает на землю.

Так рассказал Утнач своим танцем о борьбе с Мичи-Мокве, большим медведем...

В это утро Танта и шесть других юношей начали свою последнюю трехдневную подготовку к церемонии посвящения, к минуте, когда они вступят на тропу мужчины-воина. Они находились в отдельных шатрах на краю лагеря и почти не показывались. Не прикасаясь ни к еде, ни к питью, они все три дня молились великому Маниту, чтобы он дал им отвагу и мужество, ловкость и силу, презрение к боли и страданию, через которые они должны пройти на пороге своих новых дней — дней взрослого воина.

Наконец, на третий день наступило время празднества.

С самого рассвета разгремелись бубны и раскричались трещотки, все наряжались в праздничную одежду; даже мы, мальчики, надевали кафтаны из белых оленьих шкур, украшенные бахромой на груди и рукавах и расшитые разноцветными бусами.

В этот день Танта и шестеро его ровесников вышли из своих типи. С полудня до вечера никто, кроме них, не ступал на Площадь Большого Костра. Только они имели право на состязание в ловкости и силе. Это был их праздник, праздник Тану-Тукау — Праздник Посвящения.

На большой площади земля гудела под копытами коней, сверкали лезвия томагавков и ножей, бросаемых в цель, свистели оперенные стрелы. Когда кончал один, начинал другой. Они соскальзывали на полном галопе под брюхо коня, перепрыгивали с одного коня на другого, низко свесившись с коня набок, стреляли из луков в цель или, уцепившись под брюхом коня так, что голова почти касалась земли, метали ножи в подвешенный к дереву кусок мяса.

Вот Танта, наш Танта уже в шестой раз мчится галопом вокруг цели, и в шестой раз его нож вонзается в цель.

Танта — самый красивый и самый ловкий из всех. Об этом говорит рокот восхищения, который приветствует его чаще, чем других, об этом говорит мне Сова и подтверждают близнецы из рода Капотов, это видно по взглядам отца и Овасеса, а прежде всего по глазам Тинглат.

Наконец большой бубен, грохочущий, как гром, прерывает состязание молодежи. Он оповещает, что воины, молодежь и Молодые Волки должны собраться в красном типе, чтобы стать свидетелями посвящения семи шеванезов.

Это было первое торжество посвящения, которое я должен был увидеть. Оно было для меня тем

более важным, что его героем был сегодня наш Танта.

Я волновался так, как будто сам должен был пройти испытание крови. Разумеется, я стоял неподвижно, с равнодушным лицом, но сердце едва не выскакивало у меня из груди, как тогда, когда я увидел на пути моей стрелы большого орла и когда впервые ступил на порог шатра Горькой Ягоды.

В этом чувстве смешались страх и радость, неясная надежда и тревога за брата. Я не знал, где Танта. Я принужден был крепко сжимать челюсти, чтобы не было видно, как дрожат губы, и едва сдерживал слишком учащенное дыхание. Впрочем, и Сова, который тоже впервые переступил порог шасса-типи, всматривался широко раскрытыми глазами в тотемный столб и в колдуна, стоявшего под ним. И я отчетливо видел, как порой по телу моего друга пробегала беспокойная дрожь.

Горькая Ягода был наряжен скромнее, чем обычно. На нем была только повязка из орлиных перьев, на спине шкура бизона, а голову он покрыл скальпом бизона с рогами. Но его суровое старческое лицо пересекали сегодня особенно резкие и грозные морщины, и никогда еще так пронзительно не сверкали его глаза. Такое лицо было, наверно, у Канаги, повелителя тьмы, злого духа.

Вдруг умолк голос большого бубна, гудевшего снаружи, и на пороге типи появились отец и брат.

Обнаженный Танта стоял будто в маленьком прозрачном облаке. Это наш отец перед началом посвящения окуривал его дымом, напевая песню отца, ведущего сына на посвящение:

Пусть дым Гичи-Маниту
Даст твоему телу
Отвагу и силу,
Чтобы ты не замечал боли,
Чтобы ты был мужественным.
Иди же,
Иди, танцуй и пой,
И ты вступишь на тропу воинов.

Как только отец умолк, сейчас же заговорили бубны воинов, орлиные пищики и трещотки. Танта медленным шагом шел к ожидавшему его колдуну. Я не видел лица Танта, хотя он шел прямо на меня в ярком свете костра. Я не видел его, хотя смотрел на него широко открытыми глазами.

Колдун носился в пляске вокруг Танта под грохот бубнов, завывание дудок, скрип трещоток. В его руке сверкал длинный и тонкий нож с блестящей рукояткой. Наконец брат остановился перед тотемным столбом.

Тогда Горькая Ягода быстрым движением оттянул у брата кожу на груди и ударил ножом. Острие ножа пробило кожу. По лезвию начали стекать капли крови. Я до боли таращил глаза, чтобы увидеть, не дрогнет ли лицо брата, не опустит ли он веки перед ударом, но я видел только его туманный силуэт. Бубны, дудки и трещотки не умолкали. Это означало, что Танта достойно проходит испытание.

Наконец, когда колдун на миг отскочил от него, как злая птица от жертвы, мой взгляд прояснился. Я уже ясно видел, как Горькая Ягода продевает тонкие кожаные ремешки сквозь пробитую на груди кожу и привязывает их к тотемному столбу. Я видел, отчетливо видел, что даже веки брата не дрогнули, что он стоит так спокойно, так равнодушно, как горный орел на краю своего гнезда. А Горькая Ягода наклонился к его ногам и, пробив кожу икр костяными крючками, прицепил к ним священные медвежьи черепа.

Тогда снова умолк шум, и опять на пороге появились две фигуры. Это вождь Танов вел на посвя-

шение своего сына Паипушиу — Маленького Филина. Через минуту Паипушиу уже стоял рядом с Танто, так же, как и он, не выказывая и следа страха или боли под ударами ножа и костяных крючков.

Эти двое, как самые младшие из всех шеванезов, проходивших в этот день испытание крови, должны были начать празднество.

Я плохо помню их танец; среди треволнений того вечера я утерял где-то воспоминание о лице отца, грозной фигуре Горькой Ягоды, силуэтах Танто и Паипушиу. Будто сквозь густой туман, я вижу лишь, как они то приближаются к тотемному столбу, то отходят от него, я чувствую запах хвои, которой усыпана земля, пальцы друга, сжимающие мое плечо, вижу неподвижные тени на стенах шатра. Отчетливо помнится лишь одно — слова и мелодия песни, которую пели юноши:

Маниту, сделай,
Чтобы дорога через леса и степи
Была для нас всегда открыта,
Чтобы сильнее стали наши руки,
А глаза быстрее.
Дай нам силу брата-медведя,
Сделай храбрыми, как волки,
Ловкими, как хищная пума.

Но вот воспоминания проясняются. Я вижу, как Танто быстрыми, мелкими шагами подбегает к столбу. Вижу, как оба юноши на момент неподвижно замирают, чтобы затем внезапным прыжком назад разорвать узы, связывающие их с тотемным столбом. Тонкие ремешки разрывают кожу у них на груди. Кровь течет широким ручьем, с грохотом отрываются от ног медвежий черепа, а шум трещоток так усиливается, что я не слышу собственных мыслей. Наконец Горькая Ягода поднимает руку, и в шатре повисает тишина. Танто и Паипушиу выбегают из шатра, я слышу их трехкратный клич — клич орла-бедителя. Они уже мужчины. Перед ними уже только дорога воинов и охотников, дорога мужчин и стариков и, наконец... Дорога Солнца.

Х

Нана-бошо — Великий Дух леса!
Помоги нам и накорми нас!
Сделай, чтоб у нас всегда было мясо,
А наши женщины и дети
Никогда не знали голода.
Укажи нам следы зверей.
О Нана-бошо — Великий Дух леса!

Наступила осень — индейское лето, пора большой охоты. Леса сменили окраску, пожелтели, покраснели. Сильное дыхание Кей-вей-кеена срывало листья с веток. Маленькие пауки начали путешествовать по лесу на своих серебряных нитях. Все чаще среди древесных стволов разносилось протяжное эхо переклички собирающихся волчьих стай. На всех лесных тропинках шелестела под ногами сухая листва. Воины говорили: «Сестра Кей-вей-кеена — зима, Унатис, ткет для матери-земли покрывало с цветными узорами. Мать не замерзнет под снегом».

Это был месяц северо-западного ветра. Каждый вечер с восходом луны начинались пляски и пение в честь Великого Духа, чтобы он помог в охоте и защитил от зубов хищных братьев. Продолжались они, впрочем, недолго, потому что ежедневно перед рассветом селение пустело. Мужчины покидали его, исчезая в тени лесов. Иногда меня будило шуршание их каноэ, перетаскиваемых по береговому песку, или плеск весел.

В лесу пахло опавшей листвой. Этот запах нес предчувствие большой охоты; собаки бегали, раздувая ноздри, и глухо ворчали. Тауга каждую ночь исчезал: бежал на далекий зов волчицы. В чистом небе проносились птичьи стаи, улетающие на юг.

Только женщины не выходили в эти дни из лагеря, работая усерднее и старательнее, чем когда-либо. Они готовили рамы для сушки шкур, ножи, чтобы их очищать, делали клетки для копчения мяса, приносили от ближних соляных источников куски соли и перемалывали их в порошок.

— Запомните: когда вас разбудит перед рассветом крик диких гусей, не раздумывая, отправляйтесь сразу на охоту.

Так говорил всегда Овасес. Теперь я повторяю это, а потом будет повторять мой сын, мой внук. Крик диких гусей предвещает хорошую охоту.

Именно он и разбудил меня и Сову в тот день, когда... Но расскажу все по порядку.

Нас разбудили крики гусей, раздавшиеся среди тишины. Воины, должно быть, уже ушли из лагеря, а женщины еще не начали работу. Далекий дрожащий птичий крик вырвал из сна Сову и меня одновременно. Мы быстро вскочили. Желание спать прошло.

— Слышишь? — прошептал Сова. — Гуси кричат.

— Слышу.

— Идем?

— Идем.

Мы пошли против северо-западного ветра. Он был свеж, и мы пили его, как воду из горного ручья. Мы шли с подветренной стороны, чтобы нас не мог учуять ни один из чутких обитателей леса, а в этом месяце их больше, чем когда-либо. Мы ступали осторожно, внимательно и сосредоточенно осматриваясь вокруг. И не только затем, чтобы не спугнуть дичь, но и затем, чтобы самим не стать дичью. Мы должны были остерегаться. Ведь после битвы с Королевской Конной прошел всего месяц. Мы знали, что Вап-нап-ао не забыл о нас, что он вернется на старый след.

По первому же звуку бубна каждый, кто только находился в лесу, должен был как можно скорее возвратиться в лагерь: ведь во время охоты он оставался почти совсем беззащитным. Идя через чащу, надо было внимательно следить за поведением маленьких зверушек и лесных птичек, наших друзей.

Никто лучше их не сумеет предупредить нас о присутствии в лесу чужих.

Посчастливилось ли нам сегодня? Мы избрали направление, по которому, судя по следам, не пошли сегодня взрослые охотники. Путь лежал через молодой еще лес, выросший на месте старого пожара.

Мы шли молча, ища следов какого-нибудь крупного животного, но ежеминутно отрывали взгляд от земли: не выгянет ли из-за ближнего ствола большой человек с белым лицом, не запищит ли Белая Змея, не закричит ли пронзительным голосом маленькая птичка, предупреждая об опасности?

Мы нагибались, проходя под гибкими ветками деревьев, старались не наступить на шуршащие, сухие листья. Когда миновал молодой лес, мы снова оказались между толстыми, поросшими мхом стволами, Сова внезапно остановился.

Мы переглянулись. Кей-вей-кеен принес хриплое мычание оленя. Мы слушали. Спустя немного времени откуда-то справа послышался более громкий, отчетливый рев. Это было, должно быть, сильный, большой самец, страшный для соперников.

Никто не ответил на его зов. Нужно ли нам идти на этот голос? Решить было трудно: голос слышался довольно близко и с той стороны, где ветер мог предостеречь оленя от нас. Мы без слов обменялись взглядами: дальше мы пойдем прямо в сторону Ок-ван-ао — Длинного Озера.

Лес становился все более сырым, дымился испарениями. Ветер нес клочья белого тумана, пролетавшие над нами, как духи птиц.

Сова, шедший впереди, вдруг нагнулся: нашу дорожку пересек след лося. Через полтора десятка шагов мы увидели помет животного. Он был еще теплый: лось только что прошел. Нужно было идти как можно быстрее и как можно тише.

Теперь впереди шел я. Мы остановились перед небольшой полянкой — маленьким просветом в густой чаще. Земля здесь прогибалась под ногами. Мы тревожно осматривались, но вокруг было тихо. Белка сидела на ветке и лущила шишку, дальше две птички с красными брюшками спокойно о чем-то сплетничали. Ничто не указывало на то, что лось лежит где-то поблизости. А лоси — мы хорошо это знали — часто сворачивают со своей дороги, делают круг и ложатся отдохнуть около своих старых следов — сами себя стерегут.

К счастью, мы обнаружили среди трясины узкую песчаную полосу, ведущую к самому озеру. Здесь уж земля не зашипит под тобой, не плеснет водой. На песке мы снова увидели следы лося.

И вот мы слышим его голос. Он, наверное, уже долго бродил, ища подругу. Его рев то и дело обрывается, переходя в разочарованный стон, а через минуту снова возобновляется с той же ноты. Он повторяет зов. Умолкает. Прислушивается. Когда он молчит, мы замираем. Когда же снова начинает свой упрямый зов, бежим, не заботясь о тишине. Рев доносится с одного и того же места. Мы все приближаемся.

Такой голос бывает только у молодых лосей, уверенных в своей силе и не знающих горечи поражений.

Мы остановились, так как вновь наступила тишина. Никто не отвечает ему. Мы переглянулись: что делать? Попробовать подойти к нему или подманить его ближе? Мы уже приготовили луки. Смочили слюной перья на стрелах. Не услышит ли лось биение наших сердец?

Лось снова заревел, и все с того же самого места. Мы подошли еще на несколько шагов и наткнулись на старую березу с толстой корой. Наверное, лесной дух поставил ее на нашем пути и уже решил за нас: дальше подходить к зверю или подманить его.

Мы обняли ствол дерева руками и шептали прямо в кору: «О сестра-береза, дай нам своей коры! Мы сделаем из нее рожок, чтобы подманить большого лося. Дай нам своей коры, а мы за это напоим тебя его кровью и будем поминать о тебе».

Сова лучше меня умел подманивать. Он подрезал две полосы коры вдоль и поперек, бесшумно снял ее с дерева, молниеносно свернул из нее рожок и приложил к губам.

Снова прозвучал рев лося. Но на этот раз, когда он утих, прислушиваясь, ему ответили не только эхо и молчание, ему ответил низкий, глубокий голос — любовный отклик самки. Лицо Совы покраснело от напряжения, а я кивнул головой, как это обычно делал Овасес, когда хотел кого-нибудь похвалить. Да и было за что: Сова умел подманивать, как взрослый охотник.

Удалось! Едва лишь смолк рожок Совы, от озера до нас донесся победный рев лося — теперь

уже гордый и радостный. «Иду,— означал он,— иду».

Мы бросились за деревья. Я спрятался за толстым стволом сосны. Сова — по ту сторону песчаной полосы в густых кустах.

Ветер сначала принес еще один глухой стон. Потом загудела земля, затрещали ветки, зачавкало болото под большими копытами.

И наконец на самом краю песчаной полосы из кустов показалась огромная голова, увенчанная развесистыми лопатами рогов, показалась на расстоянии неполного полета стрелы от меня.

Лось остановился над своим собственным следом. Медленно наклонил голову, лоя нижний ветер, потом выгнул шею вверх, и из его горла снова вырвался рев и долго дрожал в воздухе.

Однако на этот раз «самка» молчала. Взгляд лося упал на сплетение корней ближайшей сосны, на поминавшее корону рогов лося, приготовившегося к бсю. Лось вздрогнул, наклонил голову, выгнул хребет, подобно луку, и прыгнул.

Его рога с глухим шумом вошли в землю. Разлетелись вверх обломки дерева и комья песка. Лось зашатался, покачнувшись в сторону. Он стоял на широко расставленных ногах, качая головой, на рогах смешно болтался кусок корня.

Лось постепенно приходил в себя, он лениво стряхнул песок и поднял голову для нового рева.

Больше я ждать не мог.

— Великий Дух, помоги мне,— прошептал я и выскочил на тропинку. Лось стоял между мной и перепутавшимися деревьями. Перед ним открывалась дорога к озеру, но там уже ждал Сова с копьем в руках. Чтобы отступить, лосю нужно было сделать почти полный поворот.

Выскакивая из-за ствола, я, как велит охотничий обычай, предупредил его окриком. Окрик оказал на него действие удара: он вздрогнул, напрягся для прыжка, но успел сделать лишь поворот, ибо в эту минуту в его бок глубоко вонзилась стрела из моего лука. В последний раз мы услышали его рев; в его далеко разносящемся крике дрожала боль и мука последних минут.

Он сделал отчаянный прыжок, уже зная, что составляет с самой смертью, но теперь дорогу ему преградил Сова и вогнал копье в другой бок животного. И несмотря на это, он продолжал бежать, песок летел из-под копыт... Я бросил лук. На бегу доставая нож, я догнал лося на границе песчаной полосы и леса, сумел уцепиться левой рукой за рога и повиснуть на них. Нож мягко вошел в горло. Из рассеченной шеи хлынула кровь. Я успел еще отскочить, прежде чем наш первый лось тяжело упал на передние ноги. Он умер сразу. Смерть догнала его прыжками Молодых Волков.

Мы плясали танец победы, а потом благодарили лося за то, что он дал себя убить, что подарил нам свое мясо. Мы долго и сердечно просили прощения у него и у его духа, просили сохранить добрую память о Молодых Волках из племени шеванезов, напоминали о том, что сейчас время большой охоты и племя должно сделать запасы еды на зиму. Мы желали ему счастья в Стране Вечного Покоя, мы прощались с ним, зная, что он уже сегодня вечером отойдет в эту страну Дорогой Солнца, на запад, через волны Длинного Озера.

Никогда еще Овасес так не хвалил нас, как в этот день, а другие мальчишки, несмотря на все свои старания, не могли скрыть своей зависти. Овасес послал целый десяток Молодых Волков за нашей до-

бичей. Я жалел только, что не могу найти Танто и похвалиться перед ним своей победой.

В этот же день Овасес разрешил нам отправиться на его собственном каноэ на Зеленое Озеро, где гнездились дикие утки.

Каноэ Овасеса считалось самым быстрым из всех лодок селения. Построил ему его, наверное, сам Дух Воды. Гребя без всяких усилий и труда, мы почти летели над низкой волной Зеленого Озера, проскальзывали под ветвями нависших над берегом деревьев. В темном зеркале воды отражались небо и облака. Мы плыли, будто по небу, и вот возле нас, в глубине озера, вдруг увидели вереницу диких гусей. Печальным криком прощались они с нашей страной, летя в вышине вместе с Кей-вей-кееном.

Мы направлялись к поросшему осокой берегу. Здесь уже нужно было плыть бесшумно. Мы приближались к зарослям, откуда доносился гомон болтливых диких уток. Мы вынули весла из воды, едва заметное течение само несло нас в сторону зарослей. Мы потянулись к колчанам за стрелами...

Но этому дню не суждено было закончиться веселым пиром из утиных ножек и крылышек, ибо внезапно в спокойный шум воды и птичий гомон ворвался тревожный, дрожащий звук бубна. Он навязчиво, монотонно гудел низким голосом. Когда он умолкал на минуту, ему сначала отвечало эхо, а потом еще более слабый, чем эхо, звук — голоса бубнов из других, далеких селений.

Тотчас же была оставлена всякая мысль об охоте. Мы рассекали веслами спокойные волны, и никогда еще дорога назад не казалась нам такой длинной, а чудесный челн Овасеса таким тяжелым. Нам казалось, что мы стоим на месте, приклеившись к поверхности воды, что из-за прибрежных деревьев уже протягиваются чужие руки, выглядывают чужие, белые лица. Озеро внезапно притихло, испуганное плеском наших весел.

К берегу мы пристали с такой скоростью, что нос челна выскочил на прибрежный песок, и помчались на площадку, к палатке колдуна.

Горькая Ягода сидел перед своим шатром с бубном между коленями. Все селение собралось вокруг него. Ежеминутно на берег выскакивали все новые челны, из леса бегом возвращались охотники.

Теперь удары нашего бубна раздавались редко. Горькая Ягода после первых сигналов прислушивался к вестям, которые несли другие бубны с южной стороны. Он низко наклонил голову, и мы не видели его взгляда, но его руки, лежащие на бубне, все время слегка дрожали.

Наконец сквозь окружающую его толпу протиснулся мой отец, и только тогда Горькая Ягода поднял голову. На мрачный вопрошающий взгляд отца

он ответил только кивком головы. Все напряженно смотрели на них, так как мало кто понимал язык бубнов. Никто еще не знал, что нам принесят их сигналы, хотя, собственно, они могли означать лишь одно: весть о новом несчастье. Однако никто не осмеливался задать вопрос вслух. Только мать подошла к отцу и легко коснулась рукой его плеча.

Отец повернулся лицом к югу и сказал лишь одно слово:

— Белые!

Потом посмотрел на мать. В ярком свете осеннего полудня сияли ее светлые волосы, белая кожа, глаза, как небо. Все смотрели на нее. В глазах отца были отчаяние и гнев. Он повторил:

— Белые!

Мать опустила голову, повернулась и молча отошла к своему типи.

Я огляделся вокруг — ведь это была правда, — и меня охватил такой леденящий страх, какой нападает на человека только в дурном сне.

У меня тоже кожа и волосы были светлее, чем у всех других. Как я ненавидел сейчас этих белых, и как сильно любил свою мать! Я не знал, убежать ли мне отсюда, или сразу погибнуть, или броситься бежать через реку, озеро, лес, настичь Вап-нап-ао и вонзить в его горло нож, как в горло большого лося. Но я был среди своих. Мне напомнило об этом пожатие сухой, горячей руки Совы.

В это мгновение умолк голос бубнов с юга. Тогда отец сказал:

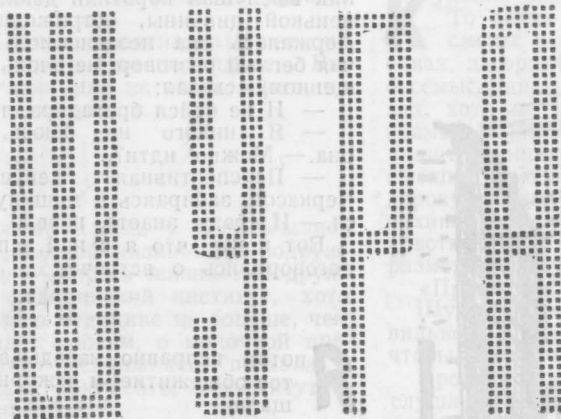
— Пусть бубен Горькой Ягоды созовет всех вождей племени на совет, пусть не медлят ни минуты.

Совет состоялся еще до захода солнца. Было решено, что боя не будет, что навстречу Вап-нап-ао отправятся три воина — Овасес, Таноне и Танто, которых будет гонцом послых. Быть может, белые захотят наказать послых за бой в каньоне Безмолвных Скал? Об этом говорил Голубая Птица, и от этого предостерегал Большое Крыло. Однако большинство воинов из Совета Старейших считало, что Вап-нап-ао так не делает, ибо не только мы нарушили закон, борясь с Королевской Конной, но и он нарушил закон, с первой же минуты посылая в шеванезов пули, ранившие многих и причинившие смерть двум воинам.

Бубны с юга говорили, что Вап-нап-ао хочет переговоров. Для безопасности Совет Старейших решил послать не самых выдающихся вождей, а только достаточно опытных и умных воинов, чтобы Вап-нап-ао — Белая Змея не смог обмануть их.

В эту ночь ни одна девушка не пела в селении над озером.

(Продолжение следует.)



Рисунки Ю. Вечерского.

Очерк

Собрание было назначено на семь. Часы показывали тридцать пять восьмого...

Уже отзвучали чумацкие возгласы давно не видавшихся дружков. Уже рядовые товарищи выпили графин воды, предназначенный для президиума. А с открытием все медлили.

Представитель райкома качал головой и каждую минуту демонстративно смотрел на часы (очевидно, с воспитательной целью). Красавец комсорг Павло Нестеренко все спрашивал девушку-регистраторшу: «Ну как?» И она томно отвечала: «Ще нема кворума, Павлик».

Да и как быть кворуму, когда объекты раскиданы по всему строительному району, аж до самого Северного Донца: кому топтать пешком, кому ехать на грузовике... И умыться надо: работа у большинства пыльная. И, конечно, никто не захочет точности ради ввалиться на собрание в заляпанной раствором спецовке. Хоть на ситчик, хоть на сукно, а переменить надо... Есть поговорка: «Начальство не опаздывает, а задерживается». Рабочие, выходит, тоже.

— Споем? — предложил кто-то.

Девчата в уголке подняли песню. Зал поддержал.

Это была хорошая песня. Не барабанная — мужественная, тронутая грустью. В песне пелось про длинную завьюженную дорогу, про целинную землю, про разлуку и ожидание встречи.

Откуда-то из боковой дэсри появился клубный баянист, с ходу развернувший меха. Хор зазвучал стройнее.

Здравствуй, простор широкий,
Весну и молодость встречай свою!..

— А теперь «Комсомольцы-добровольцы». — потребовал баском мой сосед.

— Ни, «Рушничок». Знаешь это: «Рідна мати мене...»

— Не треба «Рушничок», давай «Тревожную молодость».

— Так что же в конце концов? — капризно спросил баянист.

— Пятнадцатого гидросооружения сдавать, — сказал комсорг. — Давай «Тревожную молодость». И тотчас несколько голосов вступили тихо:

Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная —
И нету других забот.

Пели девчата с лицами, на всю жизнь обожженными свирепым степным солнцем; чуть заметно подрагивали в такт песне их загорбелые руки в ссадинах, с коротко остриженными черными ногтями... Пели парни... И даже самые юные, даже самые невзрачные из них казались в эту минуту могучими и бесстрашными мужами, каких показывают в кино. Они пели истоиво, словно подтверждали какое-то важное обещание, которое готовились исполнить любой ценой.

Я знал, что у них тысяча забот, связанных с общежитием и зарплатой, иногда совсем никудышной (у бетонщиц выходило всего по четыреста рублей), связанных с чьим-то легкомысленным поведением на танцах, с красивым платышком в магазинной витрине, с маминым письмом («вертайся, дню, до дому»). И все-таки они пели: «И нету других забот».

Было что-то особенное в том, что пели они негромко — весь зал, словно один человек, размышляющий вслух.

И снег, и ветер, и звезд ночной полет!
Меня мое сердце в тревожную даль зовет.

И подумалось: надо же заработать право так петь такую песню. Каждый может спеть любую песню, и, как мотыльки, будут слетать с его губ те самые слова, с которыми другие шли на бой. Но так петь, как пели эти ребята в длинном неуютном зале, временно перестроенном из поселковой прачечной, надо иметь право. Чтобы каждое слово было твоим.

Право на песню! Вот в первом ряду поют девчата. Все незнакомые. Вернее, полужаные.



(поселок небольшой, каждое лицо, конечно, видишь десятки раз). Одну я припомнил: Шура Броваренко. Я ее встречал на гидроучастке.

Как-то мы с начальником строительства Черкасовым ездили к Северному Донцу. По дороге остановились у канала с пологими берегами, для крепости засыпанными щебнем. Это был канал подкачки, по которому донецкая вода пойдет в новое море (так требует введенная газетчиками

традиция: всякий приличный водоем у электростанции есть уже море). На берегу канала начальник выслушал короткий доклад его хозяйки, тоненькой дивчины, остриженной под мальчишка. Держалась она независимо. Начальник, заключая беглый разговор, не очень понятный непосвященному, сказал:

— И не бойся бригадира, ты же мастер.

— Я никого не боюсь, — гордо отрезала она. — Можно идти?..

— Перспективная девушка! — пробормотал Черкасов, забираясь в машину, и вдруг засмеялся. — И сразу, знаете, повела свою политику.

Вот и все, что я о ней вспомнил. Тут же мы договорились о встрече.

★

Я потом исправно наведывался в девятнадцатое общежитие, и дежурная неизменно сообщала:

— Она на участке.

Потом наконец я ее застал.

Шура жила в угловой комнате с тремя Галями. Одну называли Галей-рыжей, другую просто Галей, а третью, ничего лучшего не придумав, перекрестили в Анюту. Просто Галя и Анюта работали мотористками на бетонном заводе. Рыжая Галя, полная простодушная дивчина, работала в аптеке помощником фармацевта. Кроме того, она училась в десятом классе вечерней школы.

Когда я пришел, она сидела на краешке стула, положив полную белую руку на худенькое загорелое плечо Шуры, и почтительно слушала какие-то математические рассуждения.

— Надо помочь: у них тоже аврал, у школьников, — сказала Шура. Это «тоже» означало, что единственной мерой напряжения для нее служит собственная работа, та, которая должна быть закончена к пятнадцатому июня.

Я осмотрелся. Комната была, как многие другие в этом общежитии: стол, четыре кровати, тумбочки, зеркало. Казенный уют в рамках сметы жилищно-коммунального отдела.

Приятно отличало эту комнату только отсутствие золотых кудрявых пастушков и серебряных кошек, заливчатского гобелена «Птица-тройка» и традиционного набора фотографий: «брат-солдат», «папа и мама молодые», «бабушка в гробу, а вокруг родичи», «киноартист Николай Рыбников», «школьная подружка» и так далее.

Зато здесь было много книг, больше, чем в любой другой комнате. Книги в деловом беспорядке лежали на столе, на кроватях, на окне, громоздились на зыбких тумбочках, грозя повалить их.

Обе Гали скоро ушли. Мы с Шурой заговорили о книгах.

Есть люди, которые думают, что книги — это одно, а жизнь — это совсем другое, что книги и жизнь несоизмеримы, как диагональ квадрата с его стороной (курс геометрии пройден недавно!). И в жизни будто не бывает тех переворачивающих землю подвигов, той сжигающей сердце любви, той дружбы, о которых пишут в книгах.

Книжный взгляд на мир вреден. Дожидаюсь Ромео, можно не выйти замуж и вообще остаться старой девой; безумно ища подвига, можно уехать от своей удачи куда-нибудь в противоположную сторону: удача в Харькове, а ты сломя голову мчишься на Урал; бесконечно доверяясь людям, можно пригреть у себя на груди змею..

Лично Шура ненавидит таких людей. Она считает так: если что в жизни не на уровне книг, от нас зависит сделать, чтоб было на уровне. Так она считает.

Не думайте, что в свои девятнадцать лет она начиталась книг и ничего еще не видала... Видала! Может быть, пока еще не очень много, но достаточно, чтобы разобраться.

✱

Сразу после десятого класса у нее начались столкновения с «прозой жизни». Это подружка так говорила — «проза жизни». Подружка сманила ее в медицинский институт, хотя прежде Шура думала о медицине не больше, чем о лесоразведении или, скажем, о молочной промышленности. Однако послушалась, поехала в Днепрпетровск, сдала документы в институт и была занесена в список.

«Ой, что ж я с собой делаю! Я ж строителем хотела быть», — уныло размышляла Шура.

И тут ей попался на улице плакат: «Запорожский гидроэнерготехникум производит набор...» Она постояла-постояла перед плакатом, вернулась в институт и забрала документы у секретарши, сочувственно сказавшей: «Понимаю, конкурс».

Ни черта секретарша не поняла, не боялась Шура конкурса.

В рудничном поселке Желтые Воды, где она выросла, шла большая стройка. Шура и сама немножко приложила к ней руки. Это когда строили школу и старшеклассников попросили помочь.

Собственно, девочки ничего интересного там не делали. Таскали носилки с мусором, обдававшим их тучами пыли, подносили штукатурный раствор. Но когда школа со своими партами, картами, глобусами и заспиртованными ужками переехала из ободранного барака в новое трехэтажное здание, Шура узнала, что чувствует человек, который что-то построил.

Словом, она поехала в Запорожье... «Хочу строить!» — это было единственное объяснение. Ладно, но есть же строительные институты.

Техникум быстрее. Для десятиклассников два с половиной года, а там пять с половиной.

Она торопилась. Она хотела быстрее начать... Так ее воспитали, что настоящая жизнь начинается только тогда, когда человек сделает что-нибудь стоящее. Шура не знала за собой особых талантов, не метила ни в киноартистки, ни в летчицы. Но была твердо уверена, что сможет сделать что-нибудь стоящее (разве можно жить без такой уверенности?). И она торопилась. Занятия в техникуме, не слишком отличавшиеся от школьных, она считала неизбежной, хотя и тягостной платой за право делать дело.

Наконец практика. На канал Каховское море — Кривой Рог она ехала. «Як на весілля» (что по-русски означает не веселье, а свадьбу). Ей рисовались разные героические картины: штурмы, прорывы, авралы и ночь, непременно ночь, черная, как тушь, когда придется с риском для жизни отстаивать сооружения от огромных, как полагается на море, волн.

Девчат устроили бетонщиками на первой насосной станции у самого Каховского моря.

— Будете, как на курорте, — сказал мастер. — Купание здесь хорошее.

✱

Купание было отменное. Работа была плохая. То бетон не подвезут, и девчата половину смены лежат на плитах в лифчиках и трусиках, загорают и рассказывают байки. То велят бессмысленно перетаскивать материалы на носилках, хотя на каждом шагу торчат всякие механизмы. Наряды составлялись не так, как объясняли в техникуме. Здесь они зависели от каких-то высших (а может, и низших) соображений: «Сидорову подкинуть», «Иваненко прижать», «Шупахина привести в равновесие». В столовой воровство, грязь, какие-то особенные мухи, каждая размером с жука.

«Проза жизни».

Шура напустилась на прораба: «то-то неправильно...», «то-то преступление...», «мы требуем, чтобы немедленно...» и дальше в таком духе.

Прораб почему-то не обиделся. Наоборот, выслушав обличительную речь, он пришел в умиление и сказал:

— Ничего, девочка, привыкнешь. Я и сам когда-то был таким... голубоглазым...

Больше Шура говорить с ним не стала: не о чем с таким говорить!

Был голубоглазым, а потом, когда трудно стало, переменял цвет глаз!

Пошли к начальству повыше. Их выслушали и удивились: «Ну, есть недостатки. Но в пределах нормы (есть, оказывается, норма недостатков!). План же выполняется. И непонятно, почему именно они шумят. С ними обошлись по-божески, дали четвертый разряд. Ну и загорайте на здоровье».

Нет, девчата не хотят загорать. Они требуют настоящей работы! И порядка.

Но почему им больше всех надо? Работают же кругом люди, и ничего. И притом постоянные люди, не временные!

«Здесь Советский Союз. А в Советском Союзе мы тоже постоянные».

— Ладно, — сдавалось начальство, — будет бетон, будет порядок, приструним мастера. Только вот столовая не в нашей власти, извините.

Ничего, однако, не переменялось. Практиканты позагорали еще неделю и подняли такой шум, что приехала комиссия «аж с самого Киева».

Все повернулось на сто восемьдесят градусов. Бетон стали доставлять точно ко времени. Работой обеспечивали, дай бог справиться. Даже в столовой развесили ленты клейкой бумаги, жужжащей от налипших мух, и постелили на столы новенькую, пронзительно яркую клеенку.

— Тепер побачимо, шо вы за работники, — многообещающе сказал мастер, — а то критиковать каждая сопля может!

Девчата старались доказать, что они за работники, изо всех сил старались. За качеством ревниво следили сами, чтоб мастеру не к чему было придираться. Может, кто тайно и вздыхал о вольготных деньках, когда можно было позагорать и потрепаться. Но виду не показывали. И начальник, очевидно, ненавидевший их, часто наведывался на насосную. Но ни разу не сделал замечания. Хотя, наверно, был бы рад сделать...

Больше, чем пятьсот пятьдесят рублей — первая в жизни зарплата, — порадовала Шуру характеристика, написанная начальником. Характеристика была дана не ей лично, а всем практикантам. И в ней сверх обычных слов «проявили добросовестное отношение к труду», «показали хо-

рошие производственные навыки» было добавлено нечто совсем неожиданное: «Проявили высокую большевистскую принципиальность». Вот так!

☆

Прошел год, и снова Шура с трепетом ждала комиссии. На этот раз комиссия заседала в техникуме, в кабинете директора. Ей предстояло решить «куда кого» — провести распределение.

Двести выпускников шатались по коридорам, взвинченные, настороженные, натывались друг на друга, обменивались короткими, как заклинания, фразами:

— Братск и Бухтарма... Где это Бухтарма? В Средней Азии?

— Караганда, Сталино. Что в Сталино?

— Воткинск, Баку. Что в Баку?

Волнение роднило всех, хотя причины его были разные: одни боялись, что их не возьмут в Братск, другие, напротив, боялись, что возьмут.

Шуре Броваренко пришлось ждать долго.

От тех, кто уже отмаялся, стало известно, что в Братск и Бухтарму берут одних мальчишек (воиющая несправедливость, поскольку девчонки в большинстве учились лучше).

И Шура вошла в кабинет с твердой решимостью снова проявить высокую большевистскую принципиальность.

— Куда вы хотите, товарищ Броваренко? — спросил заместитель директора.

По известному из газет рецепту полагалось ответить: «Куда требуется». Но Шура знала: ответе она так, пошлют на какую-нибудь ближнюю безоблачную стройку, а ей хотелось, как пишут в тех же газетах, «на передний край».

— В дальнюю экспедицию, — твердо ответила она.

— А еще куда?

— Только в экспедицию.

Она стояла, тоненькая, решительная, остриженная под мальчика — так и вижу ее, — и гневно смотрела на эту комиссию, поправшую священные принципы Восьмого марта. Члены комиссии — шестеро мужчин и одна женщина — усмехнулись. А самый рослый дядя пробасил сочувственно:

— Была бы ты парнем не только по стрижке, я б тебя взял безо всяких.

Ах, значит, они сами признают, что дискриминируют женщин! Она поедет только в экспедицию, в дальнюю экспедицию.

— В распоряжение Сталинского совнархоза, — металлическим голосом сказал заместитель директора. — Вот таким путем.

Сталинский совнархоз ее, по счастью, не принял: не было вакансий. И Шура поехала прямо на Змиевскую ГРЭС, о которой читала в «Радянской Украине». Все-таки ударная комсомольская стройка! Зря ударной не объявят: наверное, что-то такое в ней есть.

☆

Началось все многообещающе. Станция назначения, оказывается, не имела даже названия. На картонном билете было оттиснуто: «Сталино — 295-й километр». Значит, Шуре предстояло не только построить электрический город, но и дать ему имя. Она, конечно, не мог-

ла знать, что на ГРЭС уже давно объявлен конкурс. И десятки ребят, и девчат, и пожилых людей — каждому лестно стать крестным своего города — уже принесли в комитет комсомола бумажки с короткими, в одно-два слова, названиями: «Свет юности», «Зоркий», «Золотые огни», «Красивый», «Огни коммунизма». Потом, на одном собрании, обсуждавшем, что лучше звучит: «Свет юности» или «Светлоград», — поднялся кто-то в последнем ряду и сказал: «Назовем его «Комсомольским». Потому что... понятно!.. «Комсомольским», — решило собрание. И партбюро с постройкомом «оформили» это решение.

Поезд остановился в степи. Хорошо. В Шурины расчеты входило приехать на голое место (с тем, разумеется, чтобы сделать его когда-нибудь настоящим городом). Но, соскочив с подножки и бросив взгляд влево, она увидела, что город уже есть. Прекрасный, во всяком случае на расстоянии, городок с правильными рядами домов — желтых, белых, серых — двух-, трех-, четырех-, этажных. А еще левее торчали ребра электростанции, наполовину затянутые серой шкурой железобетона, да огромным перстом указывала в небо труба, разграфленная на шахматные клетки (Шура знала, для чего: чтоб с самолета было заметнее). Несмотря на ранний час, по ребрам ползали люди, вспыхивали точки электросварки, поворачивался рыжий башенный кран («Сорока-тонный», — определила Шура). Ну, так она не будет зачинательницей. Что поделаешь!..

Кроме нее, с поезда сошел только один пассажир, какой-то парень довольно угрюмого вида. Во всех книгах девушке, впервые приехавшей к месту назначения, непременно попадался попутчик, который ласково (сердито, насмешливо) рассказывает ей вкратце — иногда, впрочем, с цифровыми данными, — что тут за работа, что за люди на стройке (на фабрике, в стойбище, в колхозе), и непременно спрашивает, не убежит ли она, учитывая, что тут нет асфальта, консерватории и Малого театра. Шура ждала чего-нибудь похожего. Но спутник молча шагнул рядом.

— Ну, как тут жизнь? — спросила она наконец.

— В зависимости от характера, — ответил он, — в полной зависимости.

Больше он ничего не сказал.

Примерно на половине пути между поселком и электростанцией Шура увидела убогое двухэтажное здание, в котором она по опыту — у нее уже был опыт — угадала стройуправление. СУ.

Час был ранний. Пришлось долго сидеть на чемодане у обитой железом двери отдела кадров, ждать девяти.

Поеживаясь от холода, Шура размышляла: что она скажет сегодня рабочим вверенной ей (отлично звучит!) смены. Она им скажет: «Главное, товарищи, чтоб каждый «выкладывался». Всего себя, всю душу вкладывал в работу». Нет, так нельзя: получится напыщенно, и потом какое она имеет право... Просто она скажет: «Меня зовут Шура (или, может, лучше Александра Николаевна? Нет, Шура), будем работать вместе».

Тут подошли еще какие-то ребята, человек десять, и наконец, размахивая ключом на веревочке, появилась властного вида женщина. Ее обступили: «Товарищ отдел кадров, обходной лист...» «Товарищ отдел кадров, отпуск...» «Брат хочет на промучасток перейти...» «Паспорт...» Шуру оттеснили. Но «отдел кадров» заметил ее:

— Что там у вас, девушка?

Пробежала глазами бумажку и сказала:
— Нам техников не надо.
— А я куда отсюда не поеду.
Короткий оценивающий взгляд:
— Штукатуром пойдешь?
— Пойду бетонщицей.
— Добре.

А ты размечталась: «Вверенная тебе смена...»
Шура получила записку на гидроучасток...
Направляется... и так далее... бетонщицей IV разряда. По дороге — участок оказался дальним — она все обдумала и, как всегда, пришла к выводу, что все складывается наилучшим образом. Говорят, все умные люди тоже начинали с нижней ступеньки.

Но она еще не понимала, которая ступенька нижняя...

✱

— 3наем мы ваш четвертый разряд, — сказал небритый, невыспавшийся дядя, — будешь работать по третьему. И то скажи спасибо.

— Товарищ прораб, но техникум дает право.
— Теоретически да, а практически вы все сперва тычетесь, как те кутята, все знаете, ни черта не умеете, а плати вам, как настоящим рабочим.

В эту минуту заработок не имел для Шуры ни малейшего значения, но обида перехватила горло.

— Не надейтесь, — с ненавистью сказала Шура, — я отсюда не уйду. Хай буде третий разряд. Впоследствии она хорошо узнала своего мучителя. Василь Кириллович Терещенко оказался добрейшим дядькой, удивительным работником. И Шура потом гадала, зачем этому милому человеку и той женщине из отдела кадров понадобилось вести себя с новенькой так холодно и грозно, будто им на самом деле хотелось, чтоб она плюнула на все и ушла.

Шура даже отважилась как-то спросить об этом Василия Кирилловича. Тот покряхтел, поздыхал и сказал что-то о естественном отборе и маменькиных дочках, которые думают, что творог добывается из вареников... А кроме того, на стройке такая политика.

...Политика действительно такая — это мне и начальник стройки Черкасов говорил. По идее совсем не глупая политика. Прежде чем поставить техника со свеженьким дипломом командовать людьми, надо его испытать на самой рядовой работе, чего он стоит, чего от него ждать. Все правильно. Но зачем нарочно хмурить брови и говорить с новичком голосом оперного дьявола? Разве не проще было бы объяснить: вот, мол, парень (или дивчина), для твоей пользы и для пользы стройки надо начинать с самого начала; носи себе на здоровье в своем ранце маршальский жезл, но сперва, будь ласков, потопай в строю. И вряд ли кто, кроме дураков, обиделся бы на такой разговор.

А так обижаются все. Некоторые просто отчаяваются, и первые месяцы их самостоятельной жизни превращаются в сущий ад. Вот приехала на Змиевскую Маруся, Шурина соученица по техникуму. На свою беду, она не обладала железным характером подруги и растерялась. Техником ее не взяли, и она, поболтавшись немного, попросилась на любую работу. Ее сунули в маляры (хотя на практике она работала по бетону) да еще дали четвертый разряд, такой же, как у опытных рабочих. Те посмотрели-посмотрели, как

она барахтается, и прямо спросили: «Чи приятно тебе, дивчина, есть наш хлеб?» Она застыдилась, расплакалась и сбегала из бригады. Опять пришла просительницей под окошко отдела кадров. «Ну, что с тобой делать? Экая ты!» Маруся теперь и сама считала, что она «экая». Попала в бетонщицы, и опять не заладилось. Тут случилась Шура, и все пошло по-другому.

Сама еще ничего не постигая и ничего не доказавшая, Шура была сильна точным (пусть одолженным у книг) знанием, как все должно быть. Маруся нуждалась в покровительстве, и Шура приняла ее под свое крыло, хотя сама была еще ничем...

— Что ты, как сиротка, жмешься? — кричала Шура. — Тут комсомольская стройка, ты хозяйка чи хто ты? Не можешь работать по четвертому, будем по третьему. Но завоюем же!..

Маруся напросилась в ту бригаду, где работала влиятельная подруга. Это был правильный шаг, хотя Шурино влияние распространялось пока на одну Марусю. Но до поры до времени.

✱

Бригаду поставили на канал подкачки. Работа была, по сути, такая же, как на практике. Только почему-то труднее. Делать приходилось все: бетонировать, конопатить, смолить стыки на железобетонных трубах, рыть канавы, а по шлюзу — так и доски таскать. Особенно тяжело давалось вибрирование. Ручной вибратор весит восемнадцать килограммов. Берешь его, опускаешь в бетон, и забьется он, задрожит. От вибрации бетон укладывается плотнее, поры заполняются — дело важное. Но потом долго не проходит неприятное ощущение, будто ток бежит по руке, когда к чему-нибудь притронешься — хоть к дереву, хоть к железу, хоть к собственной ноге.

После работы садились в грузовик совсем не так, как утром. Утром — ногу на колесо и взлетаешь птицей, а тут с колеса на железный выступ, потом грудью навалишься на борт, перенесешь ногу, потом другую и тяжело плюхнешься в кузов. Усталость свинцовая. Скорей бы дотащиться до кровати! И награда — слова мастера: «Какие новые девочки исполнительные».

В бригаде состояло, по определению бригадира, двенадцать мужчин, четыре женщины и две девчонки. И, как полагается, все этим девчонкам сперва не давалось, хоть они и старались. Простая работа: бери мастерком раствор и заделывай швы. Все вроде бы идет быстро, ровно, хочется петь и дурачиться от радости, что все так идет. И вдруг крик желчной тети Раи:

— А ну, вертайтесь назад, поотпадало, что вы там налепили!

Тетя Рая ни к кому конкретно не обращалась, но все понимали, что «вертаться» надо девчонкам: их грех. Черт знает, почему у них поотпадало, а у других нет!

И все-таки это были хорошие дни. Каждый приносил какую-нибудь видную только им одним победу, какое-нибудь умение... А может, и не одним им видную, потому что двенадцать мужчин и четыре женщины их признали. Даже одинокая, видимо, очень несчастная тетя Рая, волчицей глядевшая на всех, сказала сварливо:

— Вы чего молчите, как те овцы, вы требуйте четвертого разряда, стучите кулаком, а то разве они догадаются!

Они — это были вообще все, кроме тети Раи.

Нет, Шура и Маруся не требовали разряда. Они были вполне вознаграждены этим чудным, кружащим голову ощущением своего могущества, все возрастающего могущества. Вот колодец, он простоят сто лет, может, двести — в нем их бетон...

И даже влиятельный на участке Владимир Федорович Масленников, человек почтенный и в годах (ему, кажется, исполнилось тридцать), стал принимать их всерьез. Раньше при каждой встрече дразнил:

— А ну, техники, если вы вправду техники, скажите мне, через сколько метров надо устанавливать температурные швы на железобетонных трубах?

Шура ответила.

— А ну, если люди не брешут, что вы техники, скажите мне, как называются вот эти симпатичные штуки?

— Связями называются, — сторая от негодования, отвечала Шура, но промолчать не могла: «Еще подумает, что не знаю».

А тут вдруг переменялся Владимир Федорович (кстати, выяснилось, что его можно называть просто Володя). И разговор пошел другой: «Идите, девочки, я вам покажу, как определить объем этого штабеля...», «Смотрите, девочки, как узнают, сколько привезено бетона». И совал прут арматуры в самую середину самосвального кузова, потом мерил измазанную часть и сверялся по табличке. Есть, оказывается, такая табличка для «ЗИЛов» и для «МАЗов», сколько где кубов. Этому, честно говоря, в техникуме не учили.

— Будете мастерами — пригодится, — говорил Володя, — я чувствую, уже скоро вы будете мастерами.

Потом случилась одна история...

Рядом с Шурой вдруг заматерился бетонщик: что-то у него не ладилось. Матерился он громко и смачно, обстоятельно. Она схватила мастерок и подлетела к ругателю, готовая излупить его.

— Ты что? А?

— А ничего, — сказал он добродушно, — привыкай. Вот они уже привыкли.

Действительно, рядом работали две тетки и даже голову не повернули.

— Еще раз позволишь себе, не знаю, что сделаю! — И накнулась на теток: — А вам как не стыдно терпеть?

— И правда, нехорошо это, — неуверенно сказала одна. — Мы тут как-то договорились — штраф, что ли, брат, по рублю за выражение.

— Странно вы рассуждаете. Значит, за рубль любой дурак может сказать гадость? Да?

— Тут все ж таки что? Тут стройка. Шла бы в музыкальную школу, раз у тебя уши нежные.

— Тут стройка, но я не я буду, если эта матерщина не выведется.

— А что ж ты сделаешь?

Она не знала, что делает.

Но потом каждый раз, когда над площадкой в крутую минуту взлетало черное слово, Шура бежала карать обидчика (она считала его обидчиком, хотя он в общем-то ничего худого в виду не имел).

— Что, одной Шурке надо, одна она себя уважает?

И на очередного проштрафившегося вдруг зорали все:

— Замолчи!.. Из бригады выгоним! Надо эту пакостную музыку кончать.

Не то чтоб совсем прекратили — привычка же! — но как-то стали остерегаться. Перешли на заменители, на всякие «елки-моталки».

— Имеешь влияние на людей в положительном смысле. Работаешь хорошо, — сказал Шуре однажды начальник участка и вдруг брякнул: — Будешь с завтрашнего числа мастером. Смотри мне!

Она стала мастером. И сразу исчезло ощущение могущества и легкости, радовавшее ее в последние дни.

☆

Шуру назначили к прорабу Валентину Даниловичу, молоденькому симпатичному инженеру, которому было и стеснительно и лестно, что у него сразу завелись подчиненные. Он чувствовал себя неуверенно, случилось, «плавал» в делах и потому выглядел неприступным. С Шурой он говорил отрывисто и только афоризмами, как генералиссимус Суворов. Она ходила хвостиком за своим прорабом и завидовала его решительности и манерам. Иногда он давал ей поручения: «Сбегай сдай заявку», «Съезди в ДОК (деревобделочный комбинат) за досками», «Слетай на бетонный завод». Она бежала, ехала, летела. И все старалась правильными мыслями о винтике в великом государственном механизме подавить растущее разочарование. Неужели ж это и есть желанная «самостоятельная работа»? Широкое поле деятельности, представлявшееся ей действительно полем — зеленым, веселым, залитым солнцем, где она ходит хозяйкой.

Опять «проза жизни».

Однажды Валентин Данилович подозвал ее и отчеканил:

— Проследи за плотниками. Срок — железо! Качество — все!

Плотники под наблюдением самого прораба готовились устанавливать опалубку на трубчатом перепаде — объекте ответственном и не простом. Это обширный колодец, куда через прямоугольное отверстие потечет вода из канала и, низвергнувшись с трехметровой высоты, уйдет в трубу.

Уже установили стойки, к которым должна крепиться опалубка. Уже плотники с бурлацкими криками: «Раз, два, взяли, ще раз взяли!» — поднимали по веревке шестиметровый щит. И тут Шура посмотрела и ужаснулась: получается криво. Посмотрела еще раз — да, криво.

Значит, стойки поставлены неправильно. Неужели ж сам Валентин Данилович проглядел?

— Эй, прекратите сейчас же, тут трошки в бок пошло!

— Чего еще? — царственно спросил сверху старший рабочий Ваня (Шура перед ним всегда робела: он имел шестой разряд и пятилетний опыт). — Образованность давит?

Шура объяснила.

— Не чепляйся! — рассердился Ваня. — Тут прораб смотрел. — И кивнул своим: — Продолжайте, хлопцы!

— Не продолжайте! — петушиным от волнения голосом завопила она. — Я запрещаю!

— Насажали тут детей на нашу голову, — сказал Ваня, не слишком заботясь о том, чтобы Шура не услышала. — Морока! Ну что у тебя?

Шура опять объяснила.

— Не вижу, — отвечает.

Достала складной метр. Проверили. Разница получилась небольшая.

— Надо переделать!
— Ничего, сойдет с горчичкой. Пятнадцатого же срок, некогда в тонкости вникать.
— Нет, переделайте. Укосим стену — брак будет.

— То еще не брак для строителей. То по книжке брак.

В техникуме действительно ходили слухи о том, что на настоящих стройках допускают и не такие отклонения, и ничего — сходит: комиссии становятся добрее, когда поджимает срок.

Но нет, это же нарушение. Так ее учили. Надо решать!

— Переделывать! — уже другим голосом сказала Шура. — Все!

Подпилили все связи, удерживавшие стойку, взяли ее, передвинули, потом прибили. Часа че-



тыре возились вчетвером. Наконец, стали поднимать щиты. Только с двух сторон успели закрыть — нагрянул сам начальник участка.

— Чем вы тут занимаетесь, мастер, — с ходу начал он кричать, — на что смену угробили?

Плотники подошли ближе, ожидая комедии.

— Да я вас, понимаете, за такое безобразие...

— А вы разберитесь, — спокойным голосом (что там в ней бушевало, в счет не идет) посоветовала она. — Возьмите и разберитесь.

Начальник остановился, словно набежав на стену, и замолчал. На мгновение. Потом он стал ругать ее пуще прежнего. Это было известно на участке: в крутую минуту начальник не может никого слушать, пока не выкричится. Как все добродушные, в сущности, люди, он боялся потерять запал и смягчиться до срока. Но она не дала ему смягчиться...

— Я сделала правильно и могу доказать.

— Еще раз повторится — выгоню.

— Вы лучше докажите, что я не права.

Он круто повернулся и зашагал прочь.

Плотники разочарованно разошлись. Шура перевела дух.

Все... С этого дня она перестала вздрагивать, как самозванка, когда ее окликали: «Эй, мастер!»

Окликнули ее, наверное, двадцать раз в день. Мастер же! Только позже Шура сообразила, что хорошего в этом мало: значит, она не успевала за всем уследить, все учесть, и ребята ее подстигивали.



☆

Обязанностей пропасть. Эти штукатуры изнутри железобетонную трубу. В ней, как в тоннеле, темно и прохладно. Зайди, посмотри, распорядись. Эти работают по бетону на трапециевидной стене — портале перехода, на самом солнцепеке. Поднимись, проверь. И смогри, чтобы был раствор, и чтоб лес был, и чтоб «фронта» хватало всем, и чтоб было качество.

— Эй, мастер, а что нам делать? Стоим!

Надо быть готовой и к этому.

— Вы быстренько идите штукатурить колодец. Вы — заделывать щели! — И все она волнуется, чтоб не ушло время: это же производительность, и срок, и заработок. А так девочка как девочка. Во время перерыва ходит с бетонщицами в ближний лес собирать ландыши, танцевенным шепотом обсуждает с ними нехитрые девчачьи проблемы, с удовольствием поет сентиментальную «Беризоньку» (хотя и уверена, что любит только героические песни).

«Кожен вечір виглядаю —
Вийдеш ти чи ні...»

Но дойдет до дела, и с нее требуют всяческих совершенств: мастер — центральная фигура, как пишут в газетах. Надо быть такой фигурой, раз уж взялась.

Поехала Шура в ДОК получать доски. ДОК — автономная республика, от него зависят все, они ни от кого не зависят.

Кто вступил на его заповедную территорию,

полную дразнящих запахов ошкуренного и свежераспиленного леса, тот сразу превращается в покорного просителя. Самые гордые мастера льстиво заглядывают в глаза кладовщику: «Дядечку, не уходите ще минуточку, вот только нарядик». Завкладом вечно пропадает где-то, а без его подписи нельзя. Чуть что — ответ один: «Подождите, не пожар». По полемени приходится ждать, пока замерят лес, оформят, подпишут пропуск.

Шура посмотрела на эти порядочки — и кинулась в бой.

— Откуда ты така взялась? — весело спросил кладовщик. И ушел. Она побежала к заведующему. Тот послал ее подальше. Она стала грозить комсомольским штабом. Тому явно не хотелось попасть в «Тревогу», куда-нибудь в статью «Позор срывщикам» или «Безобразия на ДОКе». Он позвал кладовщика, сказал «Учти» и обещал «со своей стороны принять меры».

Так Шура ему и поверила! Она стала допытываться, где тут ДОКовские комсомольцы (должны же быть в этой шарашкиной конторе комсомольцы!), и побежала к ним ругаться. И все, кто покорно маялся в ожидании, вдруг зашумели, зачертыхались. Начался, так сказать, малый бунт, отголоски которого дошли и до начальства и до партбюро.

Нельзя утверждать, что склад на ДОКе с того дня стал образцовым учреждением. Образцовым учреждением он не стал. Но часы ожидания сократились — это факт. И складские деятели теперь опасались уходить со своих мест.

Когда Шура приезжала за досками, ее встречали с подозрительной радостью: «А, товарищ Броваренко, давай-давай, получай!» И голоса у них были такие, какими разговаривают с опасным начальством.

— Вот какая ты, — то ли уважительно, то ли осуждающе говорила Маруся (та самая соученица, которой так не везло вначале). — Чересчур ты принципиальная...

Разве можно быть принципиальным чересчур? Это ерунда. Настоящий человек, когда он прав, должен стоять насмерть, как двадцать восемь панфиловцев. Ведь самое страшное, что может случиться с человеком, — это если он привыкнет отступать. Понимаете, тут немножко отступит, на самую малость, там немножко уступит, здесь промолчит. И потом будет отступать всю жизнь.

Какой ей, в сущности, убыток от того, что какой-то дурак матерится! Не зря же говорят: «Он ругается», то есть ругает себя. Но она бы перестала себя уважать, если б стерпела. Человек не смеет привыкать к тому, что он считает свинством, хотя бы оно называлось «строительной традицией» или там «временными неурядицами».

Шура как-то попросила прораба поставить для каждой бригады бачок с питьевой водой.

— Не до того, — отмахнулся Василь Кириллович. — Сами знаете, что творится, не маленькая.

Шура знала. Но когда люди так работают, как сейчас на гидроучастке, так выкладываются, просто преступно не позаботиться о них. Правильно?

— Правильно, — вздохнув, согласился он. И ушел. И забыл, замороченный согней дел.

Но он еще плохо знал Шуру. Через неделю она при всей смене снова устроила разнос начальнику из-за этих бачков. Ее поддержали. Но не все. Какие-то стоворчивые души вступились: ничего, мол, перетерпим как-нибудь.

А зачем, спрашивается, терпеть? Зачем кор- мить чье-то равнодушие?

Пристыженный прораб с неожиданной горяч- ностью взялся в это дело, потом и начальник участка занялся им, и сам Козлов из стройуправ- ления. Оказалось, что бачков нет. В лучшем слу- чае можно получить, разумеется, под расписку ответственного лица, ведра с кружками.

— И каждый будет лазить кружкой в ведро? Не годится.

— Ну, как хотите.

Как Шура хочет? Шура хочет, чтоб все было хорошо. Чтоб трудности были самые большие, но только (она искала слово) природные, а не созданные чьим-то равнодушием, будь оно про- клято!

Она требует от других того же, чего требует от себя, не больше.

Правильно, она сердилась на мастера, холодно встретившего весной ее, новенькую. Но, когда сегодня она сама мастер и к ней пришла с запи- ской из отдела кадров Маша-гуцулочка, полнень- кая, застенчивая, в угрюмом платке, надвинутом на глаза, будьте уверены, прием был оказан со- всем другой. «Як ридна маты!» — простодушно восхищалась гуцулочка. Хотя какая там «маты»! Ей семнадцать, а Шуре девятнадцать.

Тогда, давно, на практике у Каховского моря, когда Шура кричала на начальство: «Чтоб был бетон, чтоб был фронт!» — она знала, что когда сама станет мастером, с нее ничуть не мягче бу- дут спрашивать, даже если это от нее не будет зависеть (объективные причины и прочее). Чест- ное слово, она это точно знала!



На том собрании, о котором я уже говорил, выступал товарищ Айзбеков — главный инженер строительства. И через каждые двадцать слов повторял: «Докладываю вам, то- варищи комсомольцы...» Слово бы отчитывался перед ответственными товарищами, словно бы нуждался в их визе. Иначе бы зачем от текущих дел, входящих, так сказать, в рабочую компе- тенцию, он то и дело забирался в большую стра- тегию? Он докладывал о комплексной автоматизации («Вспомните, ребята, ваши ведра и носил- ки!»), о сокращении производственных площа- дей, о высокой сборности и о правительствен- ном курсе на мощные электростанции. И Шура понимала и весь зал, наверное, понимал, что это говорится не просто «для расширения круго- зора».

Но право быть хозяином всего имеет только тот, у кого есть что-то свое. Шура исповедует та- кую веру: человек вообще лишь тогда имеет смысл, когда у него есть это свое... Не имущество, конечно, а... как бы это объяснить... собственно- ручное, личное, неделимое вложение в то, чем богат и счастлив мир. Понятно?

Вот читаешь: «Уважаемые товарищи потом- ки...» — и думаешь: «Маяковский»... Видишь, в небе с ревом проносится чудная серебристая стре-

ла — и думаешь: «Туполев». И это относится не только к знаменитым людям, чьи имена печатают- ся на обложках книг или выводятся аршинными буквами на фюзеляжах самолетов. Шура считает: это относится и к тем, кто упоминается просто в «списке рабочих», если только у них стоящее дело.

Когда строили канал Каховское море — Кривой Рог, она думала: «Дам бате воду». Кривой Рог с его глубокими рудниками был неотделим в ее представлении от отца. Или вот вчера она бе- жала по площадке насосной станции, и вдруг словно кто-то ей крикнул в самое ухо: «Валя!» Это она увидела трансформатор...

Валентин — самый лучший ее друг, «мой маль- чиска», как по-школьному называла его Шура, — работал в Запорожье, на трансформаторном заво- де. Запорожский трансформатор — значит, Ва- лин. Шура даже погладила нагретые солнцем чер- ные его ребрышки...

Быть может, и он теперь, когда встречает в газете слово «ЗмиевГРЭС», вспоминает ее. Она уже немножко имеет право на это. Каждая кап- ля воды, которая потечет из Донца в Змиевское море, не минует ее; Шурино, канала, ее колод- цев, ее труб.

Вот Валя пишет о «прозе жизни». Шура может показать письмо, хотя извиняется за плохой по- черк: ее мальчишка с самого пятого класса и до третьего курса учился вечером, без отрыва от производства, как говорится, и некому было на- учить его писать красиво. Так вот письмо.

«Работать тебе трудно — я знаю, — зато пой- мешь, почему фунт лиха, а то у вас, «дневников»¹, слишком туманное представление о труде — зна- чит, о жизни. Может, ты даже любишь свою рабо- ту. Но мне за тебя обидно. Когда-то, проходя мимо строящегося дома, я взял в руки вибратор и по- пробовал, как он действует. Признаться, приятно- го мало. Обидно, понимаешь: с одной стороны, наши знаменитые ученые лезут на Луну, соби- раются на Марс и Венеру, а с другой стороны, еще на каждом шагу полно тяжелого ручного тру- да, от которого у рабочих хребты трещат».

Все правильно, Валя! Наша колонна растяну- лась на десять тысяч километров, в ней идут и ракетчики, вооруженные послезавтрашней техни- кой, и бетонщицы с носилками, доставшимися от бабушек, возводивших Волховстрой. Но ведь эта двухсотмиллионная колонна шагает в одном на- правлении. И Шура шагает в этой колонне, а не стоит на обочине. Скоро и бетонщикам будут по- могать автоматы — сам главный инженер докла- дывал Шуре об этом. Но и сегодня, без автома- тов, она делает стоящее дело — строит людям электростанцию, и Валя уже может говорить о Змиевской — «Шурина ГРЭС», и Шура уже мо- жет петь самые гордые песни, не спрашивая себя: «Чи маю я право?»

Змиевская — Комсомольская ГРЭС,
Харьковская область.

1 «Дневники» — студенты дневного отделения тех- никума.



ЭХО

Октября

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новую эру в истории человечества. По всей планете прокатилось эхо исторического выстрела «Авроры». Во многих странах вслед за Россией вспыхнули революции, восстания, забастовки. Россия дала народам мира предметный урок, как надо бороться за свободу и счастье трудящегося люда. И не случайно вождь китайских революционеров Сун Ят-сен писал в те дни: «Если в дальнейшей революционной борьбе наша партия не будет учиться у русских, она не добьется победы».

В залах Государственного Музея Революции бережно сохраняются документы и реликвии — свидетели славной революционной борьбы народов мира в 1917—1920 годах. Некоторые из них мы воспроизводим на страницах нашего журнала.



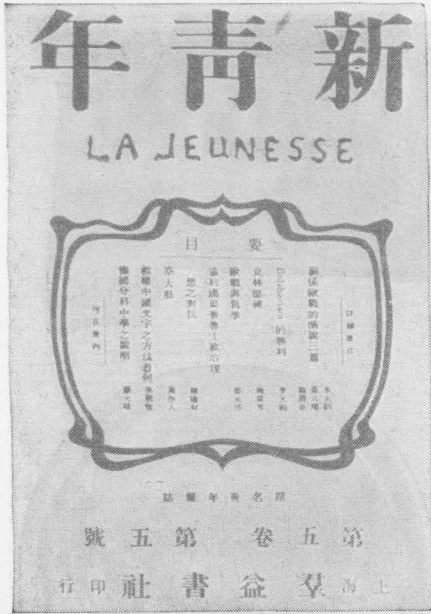
21 марта 1919 года Венгрия была провозглашена советской республикой. Перед вами венгерский плакат «Вперед, пролетарий!».

Proletárdiktatura!
Éljen az oroszokkal
szövetséges magyar
SZOVJET
KÖZTÁRSASÁG

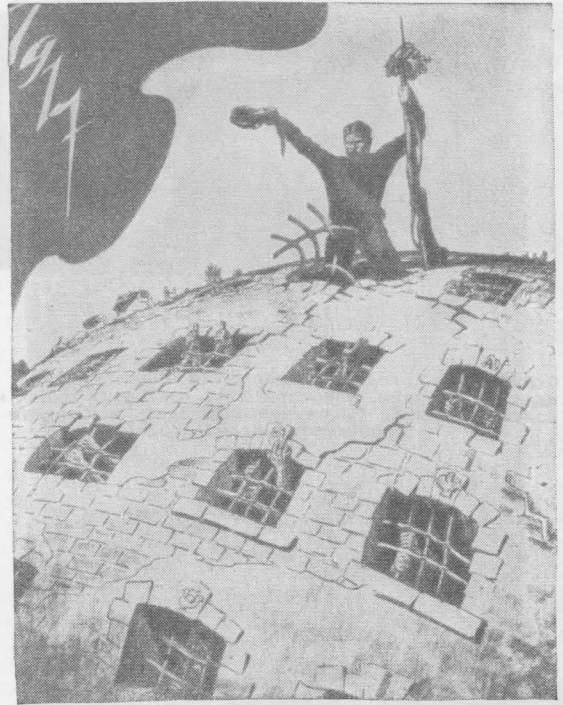
Венгерская листовка 1919 года: «Диктатура пролетариата! Да здравствует союз Венгерской и Российской советских республик».



28 января 1918 года в Берлине в ответ на грабительские условия мира с Советской Россией, выдвинутые германским нацистским правительством, началась политическая стачка. На снимке: зная бастующих.



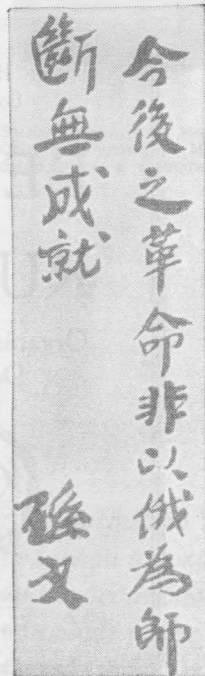
Номер китайского журнала «Юность» за 1918 год, где была опубликована статья «Победа большевизма».



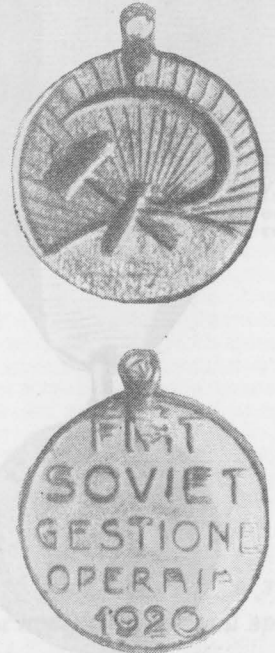
Плакат итальянского художника Гриффеля, приветствовавшего Великую Октябрьскую революцию.



Обложка китайской брошюры о рабочих, проливших кровь во время забастовки на Пениньской железной дороге в мае 1923 года.



Автограф Сун Ят-сена о необходимости учиться у русских.

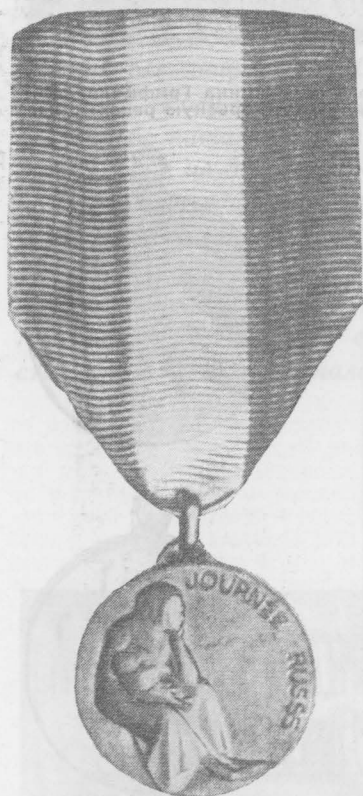


В августе 1920 года в Италии началось движение рабочих за захват заводов и фабрик. Две три недели крупнейшие предприятия были в руках трудящихся. На фото — знак рабочих завода «Фиат».



Осенью 1917 года в Финляндии были созданы отряды Красной гвардии. К январю 1918 года в их рядах насчитывалось около 80 тысяч человек. Здесь вы видите повязку финского красногвардейца.

А это значок бойца Красной гвардии.



Международный пролетариат оказывал посильную помощь молодой Советской России. На снимке — медаль, выпущенная во Франции в 1921 году в ознаменование «Дня помощи русскому народу».

National "Hands Off Russia" Committee.

PEACE WITH RUSSIA

Organised Labour's Demand.

MANCHESTER:
THE NATIONAL LABOUR PRESS LIMITED,
30, Blackfriars Street.

FIRST WORKERS' LOAN TO SOVIET RUSSIA

Loan Bonds 10s., £2 and £5.
Interest 5 per cent per annum. Repayable by 1st Jan. 1933. Interest and principal guaranteed by Russian Soviet Government.

Applications and communications to be addressed to The Secretary, International Workers' Relief for Soviet Russia, Industrial and Trading Co. Ltd., (Incorporated in Germany), 26, Bedford Row, London, W.C.1.

Обложка английской брошюры «Мир с Россией», изданной в 1920 году обществом «Руки прочь от России!», и листовка о выпуске рабочего займа в помощь Советской России.

С Л Ы Ш И М ТВОИ ГОЛОСА, МОЛОДОСТЬ М И Р А!



В будущем году в Москве устраивается Всемирный форум молодежи. Посланцы юношей и девушек всех континентов в свободной дискуссии обсудят важнейшие проблемы современности. Как бы предвестием форума воспринимаешь специальный номер журнала «Иностранная литература» (№ 10, 1960 год), целиком посвященный молодежи мира — ее жизни, ее надеждам, ее борьбе.

Японский писатель Есихиса Кацура отчетливо помнит день, вошедший мрачной датой в летопись нашей эпохи. Он, подросток, работавший со сверстниками-школьниками на одном из заводов окраины Хиросимы, идя утром на смену, увидел, как солнце внезапно выросло в десятки раз, а потом все исчезло во мраке и адском грохоте. Три дня и три ночи горела Хиросима. По реке плыли трупы, земля покрылась руинами.

Беспощадна правда, которую Кацура хочет довести до миллионов умов и сердец. Школьник стал писателем. Он и сегодня живет в Хиросиме. И он знает многих девушек трагической участи. Они были обручены, но замуж не вышли, потому что, «как только их женихи узнавали, что они побывали в тот день в Хиросиме, помолвки расторгались». Есихиса Кацура спрашивает: «Кому эти девушки могут жаловаться? Да и поможет ли это?» Не простой агита-

ционной фразой, а выстраданной мудростью, страстным призывом звучит вывод тридцатилетнего писателя: бороться во имя будущего, не допустить третьего атомного взрыва.

Манфред Грегор — ровесник Кацуры. Немец из ФРГ. Журнал публикует главы из его романа «Мост».

Последние дни войны. Горстка мобилизованных в гитлеровскую армию юношей остается выполнить приказ сбежавших офицеров — прикрыть мост через большую реку от наступающих американских войск. Защитники моста гибнут один за другим.

Геронзма нет, есть бессмысленность гибели.

Реалистическая кисть Грегора ничего не подкрашивает. Мы понимаем, как глубоко проникла в душу его героев страшная шовинистическая зараза. Поколение Грегора воспитывалось на оголтелой фашистской песенке: «Сегодня нам принадлежит Германия, а завтра — весь мир». Читая «Мост», мы еще острее сознаем, чем грозят миру сегодняшние боннские реваншисты.

Ненависть к войне, к идеологии милитаризма, расизма, колониализма ярко окрашивает многие материалы номера.

В повести «Леопард» (ее написал молодой писатель Виктор Рид) мы знакомимся с мыслями и чувствами юного африканца Небу из угнетенного колонизаторами племени кикуйю.

Небу знает, что белый захватчик — бвана — беспощаден. Подобно леопарду, бвана нападает из-за угла и убивает раненых и ослабевших. «Бваны пришли из других стран, богатством которых они похваляются. Почему бы им не вернуться назад и не оставить нам эту страну, которую они оскорбляют и высмеивают?» Небу не только размышляет, он действует, как и сотни его темнокожих братьев, действует, несмотря на огромную личную драму: его сын, которого родила ему белая женщина, издевается над ним и оскорбляет его. Могуч дух Небу. Выносливость и невероятная физическая сила вступают в схватку с хитростью пришельцев, владеющих оружием. Повесть Рида жестока, трагична.

Небу гибнет. Но гибнет он, как настоящая борца: последним усилием воли направляет смертельный удар в сердце врага.

С драматизмом иного рода мы встречаемся в цикле рассказов американского писателя Джека Керуака «На дороге».

Молодая женщина, мать ребенка, ушла от мужа, потому что он избивал ее. Молодой человек, изувечившийся во всем, презирающий цивилизацию, считающий свою жизнь искалеченной, бесцельно слоняется по дорогам Америки. Случайная встреча этих двух потерянных душ. Жарко вспыхнувшая любовь. Попытка построить свое счастье в мире, где никому нет дела до другого, где над всем властвует только доллар. И крушение этой попытки... Таково содержание рассказа Керуака «Мексиканочка».

Черной тоской отчаяния, безысходности, отращения к действительности проникнуты и рассказы «Джаз разбитого поколения», «По горам и долам Вселенной».

Понять причину настроений некоторой части американской молодежи, которые не без таланта выражает Джек Керуак, нам помогают те страницы журнала, где дана подробная запись содержательной, богатой фактами и мыслями дискуссии «Молодой человек середины двадцатого века в жизни и литературе»; ее провела в стенах редакции «Иностранной литературы» группа советских критиков и литературоведов, тоже преимущественно молодых. Рядом помещены раздумья о молодежи видных зарубежных деятелей культуры, таких, как английская романистка Памела Хэнсфорд-Джонсон, датский писатель и художник Ханс Шерфиг, старейший ирландский писатель Шон О'Кейси.

Мы узнаем, что Керуак не одиночка. В странах буржуазного Запада существует целая литература «разбитого поколения», или «рассерженных молодых людей». Керуак рисует духовно свихнувшихся юношей и девушек, отрицающих все и вся, кроме джаза, бунтарей без цели. В Соединенных Штатах их называют «битниками». Не «битники», конечно, определяют лицо поколения даже в странах капитала. Америка, Англия, Франция знают совсем другую молодежь — мыслящую, борющуюся, отзывчивую к великим

идеалам нашего века. Но от «битников» нельзя просто отмахнуться. Как ни уродливы формы протеста «битников» против общества, но сам этот протест имеет своим корнем осознание бесперспективности бесчеловечного строя капитализма.

Быть с народом, а не откалываться от него. Мыслить и знать, а не опьянять себя наркотиками всякого рода. Борься, дерзай, а не пассивно созерцать зло и мириться с ним. Эту душевную настроенность подлинно передовой молодежи эпохи особенно ясно ощущаешь, когда в разговор вступают представители стран, строящих социализм.

Берет слово румынский писатель Василе Никорович. В его очерке мало страниц, но вложены в них большие чувства. Как будто случайно встреча молодого нефтяника Тоадера с лебедчицей Сорицей. Но любовь этих молодых людей не гаснет и не выдыхается, как у персонажей Керуака. Наоборот, чем больше вместе борются на стройке Тоадер и Сорица, тем крепче становится их любовь.

Вместе с героем повести чешского писателя Яна Прохазки, недавним студентом Ондреем, мы покидаем спокойную работу в научно-исследовательском институте и едем в глухой, заброшенный сельский угол, на животноводческую ферму «Зеленая Горка», где все запущено и откуда до Ондрея сбежало немало специалистов сельского хозяйства. В день приезда на ферму он читает записку предшественника: «Если даже забьешь сеном каждую дыру, все равно не хватит. Зима здесь длится шесть месяцев... Смывайся отсюда, приятель...»

Отнюдь не идиллична картина, которую рисует молодой чешский литератор. Болит душа Ондрея, когда он видит, как расхищается народное добро, как пережитки собственнических взглядов наносят ущерб делу строительства. Рядом с честными людьми он видит и жуликов, и мещан, и тупиц. Он и сам еще не выработал в себе многих человеческих качеств, каких требует служение народу. Подчас он ошибается при оценке сложных человеческих взаимоотношений. Но самая главная черта героя Прохазки — активность. Бездействие ему противно. Он спорит,

доказывает, вступает в борьбу. Даже угрозы, даже ранение, полученное при схватке с темными элементами, не могут поколебать жизнеутверждающего мировоззрения Ондрея: «Он вновь обрел силу духа, а это главное в человеке. Хребет человека — это не просто кость, это его мозг».

В той дискуссии, о которой мы упоминали раньше, приводились высказывания некоторых литераторов Запада, направленные против героя, против героического человека. Нередко это отрицание проводится под флагом прославления «религии сердца». Мол, самое важное в человеке — чувство, сердце. А разум... можно обойтись и без него.

Нет! — отвечают миллионы таких, как Ондрей, как Тоадер, Сорица. Мы любим жизнь всем сердцем, нам дороги все истинно человеческие чувства: любовь, дружба, гуманность. Но именно поэтому мы прославляем разум. Ибо только разум позволяет нам увидеть пути грядущего обновления мира.

Интеллектуализм, как важнейшую черту облика молодого человека наших дней, подчеркивает в своем выступлении и такой вдумчивый писатель Чехословакии, как Людвик Ашкенази: «Не надо забывать, что ни в одну эпоху дети не были так образованны, как наши. Молодежь не поверхностна, она требовательна и разборчива, потому что ей есть из чего выбирать».

Поздним октябрьским вечером, дочитав номер журнала, более интересный, чем роман с самым увлекательным сюжетом, я включил радио и услышал такие слова:

«...Будущее принадлежит молодежи, и от вас, ее представителей, во многом зависит, что принесет это будущее человечеству».

Передавалась телеграмма, посланная из Нью-Йорка Никитой Сергеевичем Хрущевым в Багдад: там, в столице Ирака, открывался шестой конгресс Международного союза студентов.

Раздумья, вызванные чтением, как бы кристаллизовались в этих значительных словах, посланных с переднего края битвы за мир.

Будущее принадлежит молодежи. И она делает его самым сияющим временем во всей истории человечества!





С. ГУЦЕВ

НАУКА
И ТЕХНИКА

СМЕЛЕЙ,

Фото Б. Парамонова.

АВТОМАТЫ МОГУТ ВСЕ!

-Рашен мун! Рашен мун!..
Где-то высоко, в безоблачном небе Египта, над пирамидами плыла крошечная звездочка, маленькая «русская луна». Прохожие на улицах Каира выхватывали у мальчишек газеты и тут же, задрав голову, глазели в небо: не пропустить бы!..

Кто-то сказал:

— Смотрите! К нам приехали русские!

И мы моментально оказались в кольце людей, которые принялись хором кричать:

— Спут-ник! Спут-ник!..

Так в 1957 году я узнал о запуске первого нашего искусственного спутника и навсегда запомнил этот день.

Мы приехали в деревню. По пояс в нильской воде, теплой, мутной, кишашей микробами, стоял смуглый крестьянин — феллах — и примитивным, допотопным «журавлем» перебрасывал воду из реки на поле. Вместо ведра — корзинка, обмазанная глиной. Как четыре тысячелетия назад..

Вряд ли он знал, как устроен спутник и что такое реактивное движение, но, услышав, что мы из Москвы, восхищенно причмокнул:

— О! Спутник!..

Для него это была волшебная сказка. Прекрасная, но... ничего

не менявшая в его личной жизни. И через минуту, сосутившись, он вернулся к своим делам, которые, что ни говори, были ему все-таки ближе, потому что давали насущный хлеб..
Ведь спутник, как он ни прекрасен, не спустится с небес на землю и не станет работать за крестьянина...

«Впрочем, как знать!» — думаю я сегодня, вспоминая ту встречу.

Прошло три года, и космический корабль впервые благополучно спустился с небес. Он приземлился необыкновенно точно, как раз там, где его ждали. И если бы, скажем, надо было срочно доставить колхозникам в дальний район врача и медикаменты, ракетный корабль мог бы за несколько минут пересечь всю страну и примчаться на помощь тем, кто его вызывал..

Такого сверхскоростного сообщения между нашими городами и областями, между материками земли пока еще нет, но со временем оно появится.

Потому что автоматы могут все.

Успехи, достигнутые в космической технике, решительно влияют на многие отрасли нашей обычной, «земной» техники. Каким же образом?

В советских ракетах собраны воедино лучшие достижения

наших металлургов, химиков, нашей радиотехнической промышленности. Особенно сложный экзамен приходится держать автоматике. В принципе быстродействующим электронным машинам безразлично, чем управлять: полетом ракеты или работой домы. Поэтому все лучшее из автоматических систем управления, что создается для космических полетов, годится и для автоматизации промышленности на земле.

Автоматы спустятся с небес на землю.

ВРЕМЯ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ...

Мы бросили монету, и автомат на улице сам наливает стакан газированной воды. Новинка?

Что вы!

Двадцать веков назад, в I веке старой эры, Герон Александрийский по просьбе жрецов соорудил подобный, правда, более простой, автомат, который за плату выдавал струйку «святой» воды. Ею омывали руки перед входом в храм.

В своих книгах «Пневматика», «Механика», «Театр автоматов» Герон описал более 100 автоматов древнего мира.

Почему же автоматика, появившаяся, как видим, еще до нашей эры, не облегчила уже в те времена жизнь людей?

АВТОМАТИКА!

Потому что она не использовалась в производстве.

Неужели до этого было так трудно додуматься?

Совершенно не трудно, но в применении автоматов тогда не было прямой нужды. Зачем ломать голову над машинами, когда хватает рабов!

Много воды утекло с тех пор. Человечество, развиваясь, прошло через феодализм, капитализм и вступило в эпоху социализма. Совершенствовались средства и производительность труда в промышленности и сельском хозяйстве. Только производительность труда, более высокая, чем у капитализма, обеспечит быструю и полную победу социализма на земле. Только вырабатывая все больше продукции, человек сможет рассчитывать на изобилие во всем.

Появилась острейшая необходимость применять систему машин, работающих непрерывно и без прямого участия человека. Ведь к 1965 году наша промышленность должна выпускать продукции примерно на 80% больше, чем было в 1958 году. Мы хотим более чем удвоить выработку электричества, утроить химическую продукцию, в пять раз поднять производство приборов, счетных и математических машин...

Если бы нам пришлось выполнять эту семилетку, не прибегая к широкой автоматизации, то промышленность не достигла бы нужных темпов роста. А сейчас, в решающий момент экономического соревнования двух лагерей, двух миров, за-

держка в росте для нас недопустима.

Время, работающее на коммунизм, дороже денег. Время требует: «Даешь автоматику!»

Потому что автоматизация производства — мощное средство ускорения технического прогресса.

Производственники (и в первую очередь молодежь) стараются сейчас быстрее проектировать и внедрять автоматические станки. Особенно хорошо получается это у комсомольцев Украины, Москвы, Башкирии, у свердловчан, сталинградцев и пермяков.

Расчищая путь автоматике, куйбышевские комсомольцы, например, поставили себе задачу — на всех предприятиях города за семилетку отказаться от ручного труда.

Но чем сложнее автоматы, тем труднее их применять.

ГДЕ ЖЕ ВЫСШИЕ АВТОМАТЫ!

Почему вершина автоматики — электронные машины вот уже лет 10—15 владеют умами многих людей, но еще не овладели промышленностью? Они блестяще управляют ракетами, предсказывают погоду, кое-где ведут даже мартеновские и доменные процессы, но еще не стали ведущей силой в автоматизации производства.

Только недавно налажено серийное производство электронных машин типа «Урал». Ос-

ваивают производство станков с программным управлением Горьковский и Дмитровский заводы фрезерных станков, Ленинградский завод имени Свердлова. За семилетие появятся тысячи станков-автоматов с электронным «мозгом».

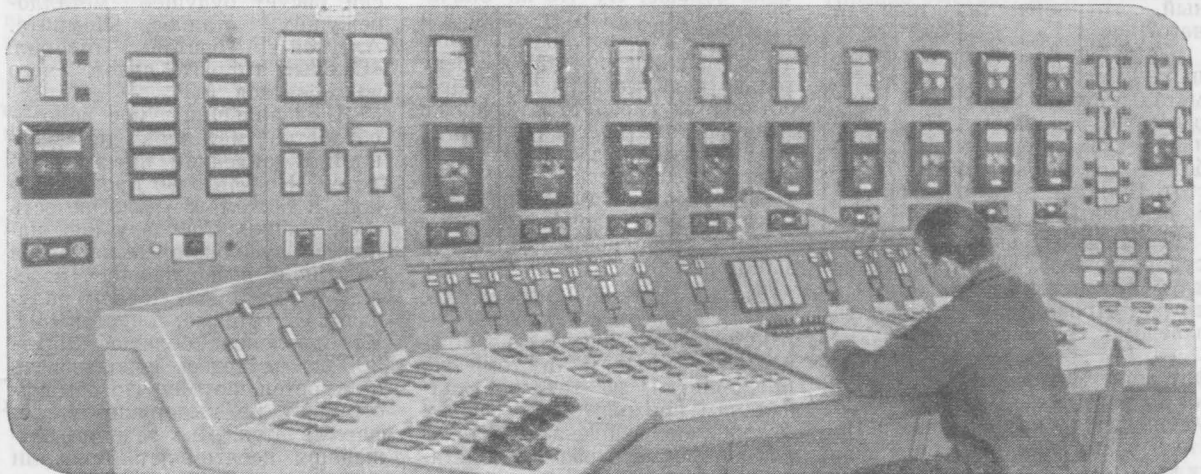
И все же это капля в море.

Не так-то просто, оказывается, заменить человека у станка электронным устройством. Чтобы связать воедино новую машину-управитель со старыми машинами-исполнителями, нужны передаточные механизмы, специальные датчики и другие приборы. Новые хлопоты...

Никто не спорит, что все управление станками, заводами и даже целыми отраслями промышленности в будущем возьмут на себя электронные машины. Но у высшей автоматики оказался довольно своеобразный характер. Например, она не желает идти туда, где мало машин и управлять ей буквально нечем.

Электронные быстродействующие установки не уживаются и со старым, малопроизводительным оборудованием. К чему им тогда быстродействие?

Хочешь не хочешь, подсказывает электроника, придется обновлять весь парк станков и машин, выпускать машины, управляемые автоматически. Такие, чтобы автоматика могла командовать ими и на рабочем месте и издали, на расстоянии. Не сразу, конечно, это произойдет. Поэтому надо разобраться, с какими из нынешних станков автоматика подружится, а с чем ей не по пути.



Пульт управления одной из установок нефтеперегонного завода.

СТОИТ ЛИ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ РЕЗАНИЕ!

Увлечение резанием металла в промышленности, кажется, стало исчезать. Какой смысл перегонять металл в стружку, когда можно сделать почти полностью готовые детали на штампе, на машинах точного литья? Но что поделаешь, если из всего парка металлообрабатывающего оборудования у нас более 80 процентов основаны на резании. Сказывается и привычка, инерция.

Открываю технический журнал:

— Ленинградский металлический завод расходует на турбину тонны проката, из них половина идет в отходы...

И тут же неожиданный вывод:

— В Ленинградском совнархозе из металла, снятого в виде стружки, в прошлом году можно было изготовить тысячи токарных станков...

Почему токарных? Зачем? Чтобы снова гнать стружку? Ведь и так у нас в стружку уходит огромное количество металла.

Грустные мысли должен был я, видимо, услышать в Комитете по автоматизации и машиностроению от Аркадия Ефимовича Прокоповича, руководителя управления автоматизации и средств производства для машиностроения. Замечательный специалист по металлорежущим станкам, он посвятил свою жизнь этой проблеме. Каково ему сейчас слышать, что резание — метод не прогрессивный, что пора отказаться от него?!

— О нет! — говорит инженер. — Лет через 15, я убежден, металла будет идти в стружку в десятки раз меньше. Но удельный вес резания в металлообработке, может быть, даже вырастет. Понимаете, не уменьшится, а вырастет!

Я поражен. Все-таки здесь государственный комитет, а не клуб фантасстов... Не собирается же Прокопович отстаивать заведомо неправильный путь?

— Не беспокойтесь, — говорит он. — Уже к концу семилетки доля токарных станков у нас уменьшится на целую треть. Но что это значит?

Меньше будет грубой обдирки металла. Мы рассчитываем получить из кузнечно-прессо-

вых цехов заготовки, очень близкие к форме будущего изделия. Вот вам и уменьшение стружки!

Но резание не исчезнет. Оно превратится в тонкую, по существу, доводочную операцию. Появится множество точнейших металлорежущих станков. Ведь в технике пока еще очень мало, кроме механической обработки, других способов обеспечить изделию точность до 1 микрона.

Не думайте, что я слепо ратую за резание... Ведь техника будущего — это очень точно сделанные, как правило, быстроходные машины. За прошлые 20—30 лет автомобили, шедшие раньше по 3-му и 2-му классам точности, перешли в основном во 2-й и 1-й класс. Повысился класс точности и у тракторов. Видите, сколько работы прибавилось резцам, сверлам, фрезам, шлифовальным кругам!

— Значит, вы думаете, автоматике имеет смысл дружить с металлорежущими станками?

— Бесспорно...

— Не слишком ли много автоматических линий запланировано у нас на семилетку? Успеем ли мы ввести их в строй?

— Откровенно говоря, количество «не меньше 1300 линий», запланированное на семилетие, кое-кому сначала казалось огромным. Но промышленность так быстро идет вперед, что уже сейчас, по предварительным подсчетам, видно: к концу семилетки будет сделано не менее 4 тысяч линий. У американцев, как известно, пока больше. Ну что ж! Сначала догоним, а потом можно и обогнать. Уже в ближайшие годы в машиностроении (я беру только цехи механической обработки) будут работать десятки тысяч автоматических линий.

Из всего парка станков у нас пока только несколько сотен тысяч работают с полной автоматикой, без человека. Что же мешает полной автоматизации?

Сама техника. Развиваясь, она требует от станков расширения технологических возможностей. На одном и том же предприятии, на тех же станках нам приходится из разных материалов выпускать различные по форме и размерам детали. Вот почему станкостроительная промышленность взяла курс на выпуск машин, которые

легко могут быть встроены в автоматическую линию.

Но что сейчас происходит: кончили выпускать серию деталей — останавливай линию, настраивай ее на выпуск новой детали. Хорошо, если такие переналадки не часты. Но обычно в промышленности девять десятых всех изделий выпускаются мелкими сериями. Станки не столько работают, сколько переналаживаются. Производительность завода падает. Выход только один — автоматизировать переналадку линий. Так, чтобы можно было прямо с центрального пульта дать команду по проводам сразу всем станкам. Например: «Приготовиться к выпуску детали ВД-368».

Оператор наберет эту команду на диске, похожем на телефонный, — и включается программа, заложенная в электронное устройство, «мозг» всей линии. Через несколько секунд станки примут исходное положение для изготовления новой детали.

Линии, управляемые электроникой, помогут полностью решить проблему мелкосерийного производства. Создание их — задача нашего времени.

СТАНКИ В СКАФАНДРАХ

—Н е понимаю Прокоповича, — сказал Евгений Павлович Унков, директор ЦНИИТМАШа, когда я рассказал ему о нашей беседе. — Аркадий Ефимович, мне думается, слишком оптимистически рисует будущее металлорежущих станков. Помните, Алексей Толстой говорил: «Смелый тот, кто знает, чего надо бояться...»

Я «давилизик», мое дело — обработка металлов не резанием, а давлением, прессом, молотом. Но и в этой прогрессивной, в общем, технологии есть свои тупики. Сейчас у нас, например, усиленно развивается холодное выдавливание изделий из металла. Детали получают готовые, чистенькие. Но давление больше 250—300 кг/мм² здесь использовать не удастся, потому что сам инструмент не выдерживает, деформируется. И в течение ближайших десяти лет вряд ли удастся в массовом порядке поднимать прочность инструмента.

Так стоит ли направлять

главные усилия на автоматизацию этого участка с довольно ограниченной перспективой? Не лучше ли обратить внимание на магистральный путь?

Я имею в виду горячую обработку металла. Уже при давлении 50 кг/мм² горячий металл послушно меняет форму. Здесь нет «потолка». Можно добиться любой пластичности. Но зато форма заготовок получается грубее. Приходится (с расчетом на остывание и на окалину) делать побольше припусков.

Все это — дело поправимое, надо только подойти к нему с умом. И обязательно звать на помощь автоматику!

Мы очень многого ждем от применения в горячей штамповке защитных атмосфер. Слышали, верно, что это такое?

Сталь, железо покрываются на воздухе окалиной. А некоторые металлы вообще теряют прочность, если их обрабатывать на воздухе (например, редкие металлы — молибден, ниобий). Чтобы избежать этого, англичане на одном своем заводе поступили так: надели на станки «одежду» с прозрачными оконцами, откачали изнутри воздух и наполнили внутреннее пространство инертным газом. Станки стали походить на астронавтов в скафандрах.

Я думаю, можно было в таком цехе поручить обязанности людей автоматуке. Или еще проще: покрыть металл пленкой защитного вещества и давить прессами прямо через пленку. Так однажды мы поступили с лопатками турбин. Покрытые тонким слоем алюминия, они вышли из горячего пресса как новенькие, даже не потемнели.

Путей много. Надо только понять главное: то передовое, что сегодня применяется в атомной, ракетной технике, завтра распространится всюду. Штамповка расплавленного и полужидкого металла, литье под давлением, прецизионное литье, впрыскивание жидкого металла в форму — все это не только допустимо, но и требует автоматизации.

А теперь два слова о моей самой большой заботе, — продолжал Евгений Павлович. — Я не против того, чтобы увеличивать выпуск станков. Но как их? Тех, что помогают нам быстро выпускать штамповый инструмент. Ведь наша задача — насытить промышлен-

ность кузнечно-прессовым и литейным оборудованием.

У нас кузнечно-прессового оборудования пока меньше, чем у американцев. Но мы строим сейчас и даем заводам только новейшие, автоматизированные прессы. К тому же модернизируются многие из старых машин.

Недавно я был в Англии и видел, как ловко обновили англичане самый обыкновенный гидравлический пресс. Обычно им вручную управляет кузнец, машинист. Идет так называемая свободная ковка. Но человека заменили автоматическим программным устройством с манипулятором. И пресс безошибочно обрабатывает коленчатые валы с точностью до 1 миллиметра!

Если бы такое сделать и у нас, то токарным станкам осталось бы обдирать с вала не 10 миллиметров металла, а только 1 миллиметр. Я слышал, что в Горьком, на «Красной Этне», комсомольцы решили поторопиться с модернизацией оборудования и семилетку по модернизации выполнить в пять лет. Это замечательно.

Наш Центральный научно-исследовательский институт технологии и машиностроения не занимается автоматизацией машин. У нас другая задача — подготовить к автоматизации новую технологию, найти новые способы обработки металла. Создание станка-автомата — это заключительный этап работы. А по существу, подготовка к автоматизации начинается гораздо раньше.

Сутками остывают в земле крупные детали, вынутые из печи. Трогать их, ускорить охлаждение мы все как-то боялись. Чуть неравномерно охладилась деталь — она может потом или сразу же лопнуть, как горячая бутылка от холодной воды. А вещь-то дорогая!

Все же решились. Замерили в разных местах температуры, подсчитали, какие где возникают напряжения, а потом подвели трубки с водой и добились быстрого, но очень равномерного остывания. Теперь так (вдвое быстрее) охлаждаются детали на Ново-Краматорском заводе. Пока все регулируется вручную. А хорошо бы весь контроль за равномерным охлаждением автоматизировать!

Иногда посмотришь свежим глазом на привычные процессы

и думаешь: а почему бы не сделать иначе?

Сваривают, например, из двух половинок крупную деталь, а потом начинают термическую обработку, чтобы снять, ослабить в металле внутренние напряжения, «перекосять».

И сварка автоматизирована и термообработка. Два хорошо изученных процесса. А что, если слить их в один единый процесс? Совместить то и другое? Заложить автоматизацию в природу самого процесса? Кто изучит и осуществит этот новый прием? Кто ускорит и упростит производство? Кто создаст для него автомат?

Молодежь. Те, у кого есть терпение и исследовательская жилка...

Директор ЦНИИТМАШа, может быть, и не подозревает, как глубоко он прав. Ведь только за прошлый год молодежь помогла внедрить 6 300 автоматических и поточных линий и модернизировать 93 тысячи машин и механизмов...

«ТЕМНОЕ ЛИЧИКО»

Инженер Ольга Владимировна Спасская из Комитета по автоматизации и машиностроению однажды рассказала мне, как решительно переменилась вся жизнь в городе Павлове, под Горьким, когда производство здесь было переведено на полуавтоматические станки. Бывший центр кустарей-металлистов, пребывавший в глубоком застое, словно пробудился от спячки. Вилки, ножи, ножницы, которыми слывлось Павлово, делаются теперь гораздо быстрее, да и качеством стали лучше.

Влияние автоматизации глубоко и благотворно. Теперь, когда старики говорят «парелка» вместо «полировка», молодые только улыбаются. А ведь прежде так все здесь говорили! Даже в нарядах писали: «темное личико», «светлое личико», то есть хорошо отшлифовано изделие или не очень. Шлифовали-то на руках. Вот и посматривали на свое отражение, как в зеркало, светлое оно или темное...

Старые, кустарные цехи, которые лет сто назад, может, и были хороши, сломали. Построили новые — с автоматикой, с гидравликой...

Я слушал инженера и думал: а не станут ли специалисты лет через 20 иронически разгляды-

вать предприятия нашего, 1960 года, не покажется ли им здесь кое-что слишком старым? Ведь даже на хороших заводах сейчас нет-нет да и мелькнет «темное личико» кустарщины...

Интересно, что сказал бы человек 1980 года, если бы ему удалось сегодня заглянуть на завод «Калибр»?

— Измерительный инструмент вы делаете неплохой. Но почему мало автоматизации? Универсальный станок, если им управляет человек, а не автомат, — это далеко не прогрессивно!

— Как мало? — обидятся инженеры «Калибра» и «Оргстанкинпрома». — Мы, во-первых, сейчас получаем специальные станки-автоматы, а во-вторых, приспособляем к автоматике универсальные станки. Пристраиваем к ним бункера, магазины, механические «руки». Даже детали со станка на станок передаем по трубе — воздухом...

— Мало! — скажет человек из восьмидесятого года. — Вот вы наготовили деталей. Что вы с ними сделаете?

— Собираем изделие — микрометр, штангель...

— Как?

— На конвейере.

— Вручную?

— Да.

— Плохо! Ведь на сборку-то уходит больше половины всего труда рабочих. Вам надо прежде всего автоматизировать сборку. Иначе не получится у вас «цепочки», не будет комплексной автоматизации...

— Знаем, — ответят инженеры. И расскажут, как на «Калибре» решают эту головоломную задачу.

Есть такая игра — «15». Можно часами передвигать в коробочке пятнадцать одинаковых косточек, пока они не станут по порядку от 1-й до 15-й.

В микрометре 12 деталей. Все они разные. Как, чем заставить их соединиться в нужном порядке? Без глаза, без

человеческой руки собрать прибор. Мыслимо ли это?

Автоматы на «Калибре» уже сами собирают, — нет, не весь микрометр, а пока только узелок стопора. Это 3 детали.

Другой станок собирает трещотку микрометра. Это еще 5 деталей...

— Молодцы! — скажет «восьмидесятник». — Вы на верном пути. Только зачем вам в микрометре 12 деталей? Придумайте что-нибудь попроще... И форму деталей измените. Пусть ничто не мешает автоматической «руке»...

— Так чем же нам сначала заниматься? — спросят инженеры. — Станки автоматизировать или всю конструкцию микрометра переделывать?

— А вы и над тем и над другим подумайте, — скажет гость из будущего. — Меняйте все: и конструкцию, и материалы, и способы обработки. Ищите лучшее решение. Слов нет, трудно. Это не в «15» играть. Но вы это сделаете, я знаю...

«ЧТОБЫ ПЛЫТЬ В РЕВОЛЮЦИЮ ДАЛЬШЕ»

Появление человека из будущего на наших заводах не кажется мне фантазией. Это не просто литературный прием. За семилетку в СССР будет создано не менее 50 опытно-показательных комплексов механизированных и автоматизированных заводов. И работники этих заводов, как гости из будущего, смогут прийти на обычные, «старые» заводы и подсказывать из своего опыта, как скорее подойти к комплексной автоматизации. Сюда, в осуществленное будущее, станут выписывать командировки специалисты с обычных предприятий. Как маяки, встанут по всей стране новые заводы. По ним будут ориентироваться промышленность, наука, весь народ, «чтобы плыть в революцию дальше».

Так было задумано на XXI

съезде КПСС. Тысячи советских заводов и предприятий будут внедрять у себя методы и машины, проверенные на автоматических заводах-лабораториях. Такой государственный размах, такое дальновидное планирование и целеустремленность возможны только при социализме. Ни одна даже самая крупная капиталистическая корпорация не способна на что-нибудь подобное. Все люди на земном шаре скоро увидят, как быстро растут преимущества социализма.

Краснодар... В этом году здесь пущен автоматизированный завод «Сельхозмашцепь». Один из тех, что станут опытно-показательными. Он уже сейчас втрое производительнее обычных заводов, а управляют им не 300 человек, как прежде, а всего 18.

Автоматизировано все. На линию поступают полосы металла, а с линии выходит готовая цепь. И так 500 тысяч метров в год...

Станки-автоматы заставляют совершенствоваться человека, который имеет с ними дело. Заводы-автоматы требуют перестройки, улучшения всей промышленности. Раньше те же цепи, например, делали более 100 заводов. Но это была для них не основная продукция. Теперь производство всех цепей отдано 16 крупным специализированным заводам-автоматам. Так промышленность концентрирует свою ударную силу — автоматикой — для нового наступления...

Понадобились миллионы лет, чтобы тонкий хрящик ланцетника, жалкой слепой рыбешки, развился в крепкий позвоночник человека. Это сделала сама природа. Пройдет 20—25 лет — и автоматические линии, заводы окрепнут, станут хребтом, основой всей промышленности.

Это будет скоро, потому что за автоматизацию производства не пугаясь трудностей, вплотную взялся советский человек.



- Сорок тысяч писем из семидесяти стран.
- Новые экспонаты Музея Революции СССР.
- Двенадцать миллионов воспитанников школ трудовых резервов.

МОЛОДЕЖЬ МИРА УЧИТСЯ В МОСКВЕ

Недavno в газетах и журналах были опубликованы необычные фотоснимки: боевые корабли Военно-Морского Флота — крейсера и эсминцы, разрезанные автогенем на металл. А сегодня москвичи, да и не только москвичи, но весь мир стали свидетелями еще одного символического явления. В здании, где недавно еще размещалась военная академия, открылось высшее учебное заведение с сугубо мирными целями — «Университет дружбы народов».

В начале этого года Никита Сергеевич Хрущев, будучи в Индонезии, заявил о решении Советского правительства создать в Москве специальный университет для подготовки будущих ученых и специалистов стран Азии, Африки и Южной Америки.

О том, с каким энтузиазмом было воспринято это известие, свидетельствуют письма. Обыкновенные письма, написанные на разных языках, разными почерками, но с одним общим адресом: «Университет дружбы народов». Они прибывали поездами и самолетами. Их набралось около сорока тысяч из семидесяти стран. И в каждом: «Прошу зачислить меня студентом...»

Больше всего писем пришло из Индии, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Ирака, Японии. К письмам приложены табели с отметками средней школы и рассказы, почему авторам их очень хочется учиться в СССР, как живут их семьи, кем работают родители и приходилось ли им самим работать. Пользуясь

этими сведениями, комиссия университета отбирала кандидатов для приемных испытаний. Но трудностей было много. Надо было решить, кому отдать предпочтение. Ведь предстояло принять всего пятьсот человек.

Вот просят принять их бразилец и житель одного из африканских государств. Может, у них почти одинаковые отметки, но ведь система образования и уровень знаний совсем различные. Из Индии очень много писем, а с Кубы значительно меньше. Но ведь и сама Куба меньше, и количество ее населения не сравнить с населением Индии. А желание учиться у молодежи обеих стран одинаково сильное.

Премущества предоставлялись уроженцам стран, особенно нуждающихся в нашей помощи, людям из малообеспеченных семей, семей рабочих, батраков и безработных.

Были проведены приемные испытания — не экзамены, а длительные собеседования. На них определяли образовательный уровень студентов. Определяли, сколько времени человек должен учиться на подготовительном отделении. Два-три года придется здесь заниматься тем, у кого большой перерыв в учебе.

Первый год студенты учатся на подготовительном отделении, чтобы овладеть русским языком. Их разбили на небольшие группы по пять человек и к каждой прикрепили преподавателя. Занятия русским языком проводятся ежедневно, чтобы студенты скорее овладели им.

Ведь в дальнейшем все лекции будут читаться по-русски. Оборудованы специальные лингвфонные кабинеты. Каждый студент сможет записать свой голос на пленку, потом вместе с преподавателем прослушать свою речь, устранить неправильности в произношении.

В университете принято также шестьдесят советских студентов из числа успешно выдержавших приемные испытания в наши вузы. Это представители многих национальностей, населяющих страну. Первый год, пока иностранцы изучают русский язык, советские студенты будут обучаться английскому, французскому и испанскому.

Факультетов шесть: инженерный, медицинский, сельскохозяйственный, физико-математический, экономики и международного права, историко-филологический.

Зарубежные студенты университета обеспечены стипендией, их проезд в Москву и обратно на родину после окончания учебы оплачивается нашим правительством. К их услугам удобное, благоустроенное общежитие (кстати сказать, тоже в здании, некогда принадлежавшем военному ведомству), лаборатории, оборудованные по последнему слову техники. Студенты имеют право создавать свои землячества, выбирать и быть выбранными в совет университета. У них только одна обязанность — хорошо учиться. И мы не сомневаемся, что эту обязанность они выполнят.

Н. ИРИНИНА

ИСТОРИЯ ПИШЕТСЯ СЕГОДНЯ



Всюду висели большие лозунги, написанные крупными красными буквами: «Построим комсомольские шахты и домы!». Эти призывы звучали на собраниях и были напечатаны в комсомольских путевках. Было это в 1956 году в украинском городе Сумы.

Конечно, такое можно было увидеть и услышать не только в Сумах, но здесь речь пойдет о них. Как всегда бывает, одни приняли этот призыв с энтузиазмом и готовы были ехать хоть завтра; другие — впрочем, таких оказалось мало — полагали, что их это вовсе не касается.

Но вот группы были составлены, и сумчанам сообщили место их стройки: Ворошиловградская область, Ворошиловский район, станция Фащевка. Когда приехали самые первые — сто два человека, — в степи лишь торчали колышки да хлопала под ногами жирная грязь. Дул пронизывающий ноябрьский ветер, и кое-кто из молодых строителей с грустью вспомнил о теплых, родных Сумах.

Затем побежали горячие рабочие дни. Комсомольцев целиком захватили дела стройки. Днем во время работы некогда было ни о чем думать, а вот холодные вечера порой настраивали юношей и девушек романтически. И иногда кто-нибудь тихо говорил:

— А что, ребята, ведь мы немного похожи на комсомольцев двадцатых годов.

На снимке вверху: дневник сумских комсомольцев — строителей шахты.

И каждому вспоминались любимые с детства образы, вспоминалась история. Тогда не удалось, что через несколько лет их дела тоже станут историей, что музейным экспонатом будет добытый на их шахте первый уголь и что их дневник — летопись строительства Сумской комсомольской шахты — приобретет Музей революции в Москве.

В этом году музей послал на Украину одну из многочисленных своих экспедиций. Ее целью был сбор материала о комсомольских стройках пятидесятых годов.

Дневник сумских комсомольцев — один из многих документов о героических делах комсомола, привезенных экспедицией. Это правдивый рассказ о жизни и работе молодежи наших дней.

В первые месяцы стройки комсомольцы жили в окрестных деревнях и каждый день проходили по 10—15 километров. Мешали дожди и туманы, грязь и морозы. Но, несмотря на все трудности и невзгоды, молодежь продолжала с энтузиазмом трудиться.



Первый чугун доменной печи № 3 «Ждановская-комсомольская».

Из Сум постоянно приходили письма, а иногда и посылки. Они шли не только от родных и друзей, но и от молодежи тех предприятий, где комсомольцы

работали до отъезда, а подчас и от людей совершенно незнакомых. А однажды строители получили стихи, не очень складные, зато искренние,

Знаю, нелегко вам поначалу
Было и приходится сейчас.
Может, кто и струсил у причала,
Свой корабль направив на
Донбасс.—

писал автор. Но хорошо, что они не спасовали перед трудностями, что их много и они дружны, что работа для них, как и для большинства их друзей, — большое счастье.

Стихи тоже вклеили в дневник. Туда же вставили несколько своих фотографий, исписали десятки страниц и на последней сообщили: «Родина получит от нашей шахты дополнительно 200 тысяч тонн угля в год». Вот и все. Работали, как сотни и тысячи других.

Первый уголь и первый чугун всегда шли в тот город, откуда были строители шахт и домен. Это уже стало традицией. Музей революции СССР скоро выставит небольшой кусок угля, первого угля, добытого комсомольцами Сум.

Но это не единственный вещественный свидетель истории наших дней. Рядом с углем лежит еще один экспонат — слиток чугуна, выплавленного киевскими комсомольцами. На слитке такая надпись:

«Киевському ОК КП України від будівельників доменної печі № 3 «Ждановська-комсомольська». 1 грудня 1958».

Музей выставит и бобину искусственного волокна, подаренную Киевскому обкому строителями вискозного комбината. С Украины привезены комсомольские путевки и значки, грамоты и «боевые листки». Теперь это все экспонаты музея.

Ведь история — это не только далекое прошлое, это и наши дни!

И. НЕНАРОКОМОВА

12000000 ПАР ЗОЛОТЫХ РУК

Помните, у Грибоедова в «Горе от ума» Фамусов говорит: «Все врут календари...»? А ведь доля истины, наверное, есть в этих словах. По календарю Трудовым резервам исполнилось двадцать лет, а на самом деле в двенадцать раз больше — 240 лет.

В 1720 году по указу Петра I на Урале были созданы первые школы для подготовки опытных горных рабочих. Отдельные ремесленные училища существовали в России вплоть до Великой Октябрьской революции, но владели они жалкое существование.

В начале 20-х годов партия решила всерьез заняться подготовкой квалифицированных рабочих кадров. По инициативе Надежды Константиновны Крупской и Феликса Эдмундовича Дзержинского в стране начали открываться школы ФЗО — фабрично-заводского ученичества.

Молодому социалистическому государству были необходимы инициативные, хорошо знающие свое дело молодые строители, шахтеры, металлурги, машиностроители. В 1930 году было принято решение: создать при строительстве каждого крупного предприятия свою техническую школу.

Шли годы. Промышленные гиганты выросли на Украине, Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. По всей стране высились леса новых гигантских строек, а в производственном обучении по-прежнему царил «местничество» — при каждом заводе своя школа. Единая система обучения отсутствовала.

И вот 2 октября 1940 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О Государственных Трудовых резервах». По указу в стране были созданы профессионально-технические школы трех типов: ремесленные училища с двухлетним обучением, готовящие кадры для промышленности; железнодорожные училища также с двухлетним обучением и, наконец, школы ФЗО, выпускающие

рабочих массовых профессий. Немного позднее были созданы художественно-ремесленные училища. Там готовили высококвалифицированных лепщиков, керамистов, краснодеревцев, альфрейщиков. И срок обучения в этих училищах уже был четырехлетний. С тех дней и появилась в нашей стране хорошо всем знакомая и привычная фигура подростка в форменной фуражке и черной шинели, аккуратно перехваченной широким ремнем с буквами «РУ» или «ЖУ» на медной пряжке.

Первым, самым суровым и самым трудным экзаменом для питомцев школ Трудовых резервов была Великая Отечественная война. Мальчики и девочки в черных шинелях, сменив своих отцов и старших братьев, встали к станкам и машинам. Подчас новые рабочие вынуждены были подставлять к станку ящики: не хватало роста, чтобы дотянуться до ручек управления. До отказа растягивался широкий пояс: трудно было в те дни с продовольствием. Но выпуск продукции для фронта все время увеличивался.

Война окончилась нашей победой. Предстояло поднять из руин разрушенные города и предприятия, и опять в первых рядах строителей шли юноши и девушки — выпускники школ Трудовых резервов. Когда в 1947—1948 годах выполнение плана добычи угля находилось под угрозой срыва, по призыву партии и правительства на шахты отправилась около 600 тысяч воспитанников Трудовых резервов.

Каждый год жизни нашей страны вносил свои коррективы в работу школ и училищ Трудовых резервов. На заводах и фабриках появлялась новая, совершенная техника, и в ремесленные училища принимали молодежь, окончившую не меньше семи классов средней школы.

На сентябрьском Пленуме ЦК КПСС в 1953 году были вскрыты недостатки в подготовке кадров механизаторов сельского хозяйства. И в системе Трудо-

вых резервов были созданы специальные училища механизаторов. Начиная с 1954 года их окончил более 1 миллиона 200 тысяч человек. Четыреста тысяч из них уехали работать на целинные земли.

Пожалуй, именно цифры убедительнее всего могут рассказать о жизни Трудовых резервов. За двадцать лет подготовлено 12 миллионов квалифицированных рабочих. Это равно населению всей Чехословакии! Восемьдесят воспитанников удостоены звания Героя Социалистического Труда. Десятки тысяч награждены орденами и медалями. Двадцать бывших ремесленников стали депутатами Верховного Совета СССР. Тридцать три воспитанника Трудовых резервов стали лауреатами Сталинской премии.

Технический прогресс породил новые, неведомые ранее профессии. И сегодня в ремесленных училищах обучаются будущие монтажники жилых зданий, машинисты угольных комбайнов, наладчики автоматических линий. Обучение новым специальностям сочетается с особенно полезным трудом. Только за прошлый год учащиеся Трудовых резервов изготовили 6 тысяч металлорежущих станков, миллионы всевозможных инструментов и приспособлений.

Всесторонне развитыми выйдут в жизнь выпускники школ и училищ Трудовых резервов. Многих из них можно встретить на сценах театров, концертных залов, в списке прославленных спортсменов. Немало воспитанников этих школ и училищ стало знаменитыми конструкторами, изобретателями. На прилавках книжных магазинов можно увидеть сборники стихов и рассказов, созданных людьми, некогда носившими форму Трудовых резервов.

В системе Трудовых резервов гармонично воспитывается современный рабочий класс, которому предстоит строить коммунизм и жить в коммунизме.

И. СИМАНЧУК

ФАКЕЛЫ РИМА

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ ОЛИМПИЙСКИЙ БЛОКНОТ...

Берусь за эти заметки с некоторым волнением. Об Олимпийских играх написано уже много. Сейчас пришла пора разобраться во всей красоте и сложности цифр, каждая из которых смиренно стала в строгую протокольную шеренгу рекордов и навсегда теперь отдана спортивной истории.

Но события, да и цифры, их украшающие, еще пока живы в памяти и способны подсказать детали волнующей борьбы, человеческих страстей, драматических ситуаций, то возвышающих победителя до пьедестала почета, то толкающих побежденного в толпу неудачников.

На олимпийском стадионе приходилось видеть всякое: радость и слезы, несдержанный восторг и столь же несдержанные, судорожные, трагические удары головой о землю.

Одному из таких олимпийцев, не владевшему своими нервами, судья остроумно заметил:

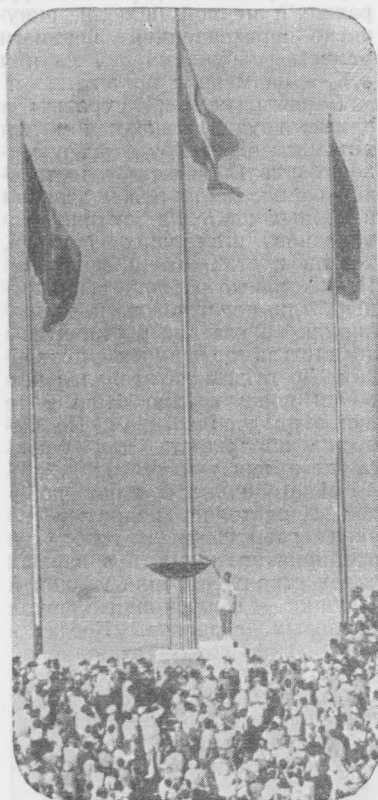
— Успокойтесь. Побежденный присоединяется к большинству.

Эти чисто внешние проявления не заносятся в судейские протоколы, остающиеся в веках, но они рисуют характер человека, степень воспитания, его моральную мускулатуру.

Немыслимо запомнить все детали олимпийской борьбы, оставшиеся за бортом протоколов. И зная, что даже хорошая память хуже выцветших чернил, я прибегаю к своему блокноту, где торопливой рукой записаны слова и знаки, способные не только воскресить, но и раскрасить события не так давно минувших дней.

И первое, что бросилось мне в глаза в листках блокнота,— это строки о нашем государственном флаге, поднятом над олимпийским стадионом и реющим в голубом римском небе. Очарованный этим зрелищем, я сначала подробно

описывал, как он медленно поднимается по центральному флагштоку, как падают на него оранжевые пятна олимпийского огня и как застывают в почетном карауле итальянские моряки.



На флагштоке взвился олимпийский флаг. Игры начались.

Затем эта торжественная церемония выражалась в двух-трех словах, наконец, я привычным жестом рисовал прямоугольник с серпом и молотом, который в моем сознании раскрашивался в красный цвет советского государственного флага. Весь блокнот

Фото В. Светланова.

наполнен этими прямоугольниками — милыми моему сердцу знаками римских побед. Их много. Красный флаг поднимался над стадионом чаще, чем флаги других стран, и каждый раз он вынуждал капельмейстера в погонах и аксельбантах взмахивать палочкой, чтобы вновь рождать звуки нашего величественного Гимна.

Не все мне удалось увидеть: Да это и невозможно. Утром нужно было гадать, куда пойти. На олимпийский стадион, где сегодня будут бежать Ливио Берутти, Р. Нортон, А. Сей, П. Рэдфорд (одно перечисление фамилий возбуждало интерес до предела), где будет метать молот Василий Руденков, где выступит, наконец, непобедимая «черная газель» Вильма Рудольф?

Или пойти на гимнастику? Ведь там идет не только борьба эластичных мускулов, но и психологическая схватка Такаси Оно с Борисом Шахлиным. А может быть, на матч травяного хоккея, где пакистанцы «замахнулись клюшкой» на самых вероятных чемпионов — спортсменов Индии. Но ведь можно еще поехать на полигон Умберто I и насладиться искусством меткого попадания наших стрелков или на Луто Виваро, где Сергей Филатов показывает высший класс выездки лошадей!

Наконец, программа зовет вас и в Неаполитанский залив, на пристань яхт-клуба «Молосильо», чтобы посмотреть, как в «звездном классе» показали «золотое мастерство» рулевой Тимир Пинегин и матрос Федор Шутков. К тому же Неаполь в эти дни горит в огнях иллюминаций и фейерверка: сто лет назад Джузеппе Гарибальди высадил свои войска в городе и освободил его жителей от непрощенных чужестранных гостей.

Но вопрос о том, куда пойти, волнует нас и вечером, который начинается тут же после обеда и кончается далеко за полночь. Можно посмотреть футбол на стадионе «Фламминио», борьбу в базилике Массенцио, бокс или

баскетбол в красивейшем, легком, прозрачном Дворце спорта, построенном недавно по проекту знаменитого итальянского архитектора Луиджи Нерви.

Куда же пойти? Ведь есть еще и Колизей, и Капитолий, музеи, где хранятся подлинники Микеланджело, Тициана, Рафаэля, Собор святого Петра, базилика Санта Мария Маджори, Сикстинская капелла. Куда же пойти? Часто ли бываешь в Риме?

Вот почему мне пришлось ограничить свои олимпийские интересы, локализовать их вокруг легкой атлетики, гимнастики, ну и, конечно, футбола. В конечном счете эти «три слона» занимали командные высоты на римском форуме.

Блокнот мой отметил и еще одну черту Олимпийских игр: высокие результаты по всем видам спорта. Блестящий состав участников провел небывалый штурм рекордов по всему фронту таблиц.

Если взглянуть на таблицу технических результатов, то можно заметить поразительную их плотность, когда показатель спортсмена, занимающего пятое или шестое место, мало чем отличается от показателя победителя. И еще — грани между женскими и мужскими результатами начали стираться: Вильма Рудольф бежала «в мужских секундах», а Иоланда Балаш достигала в прыжках «мужской высоты».

Борьба за золотые медали проходила с предельным напряжением сил. На наших глазах бесспорные, казалось, победители на последних метрах дистанции теряли золотые, а то и серебряные медали, до которых было буквально «рукой подать». И наоборот: бронзовый финиш переходил в серебряный и кончался золотым.

Эта «игра медалей» выражала не только силу спортсмена, но и черты его характера, спортивный нрав. В этой связи мне хочется сказать

О НАШИХ РЕБЯТАХ

Честь спортсмена рождается смолоду. Характер его складывается в школьных кружках, в первых встречах юных бегунов и метателей, затем он формируется в труде, в тренировке, в минуты состязаний. Спортсмена воспитывают педагог, наставник, товарищеская среда, зритель, который реагирует на его успехи и неудачи.

Общество влияет на молодого человека. Он чувствует себя его частицей, его полпредом в спорте.

Он в ответе перед ним за метры, секунды, забытые мячи.

Я это почувствовал с исключительной ясностью, сидя на трибунах римских стадионов. Одна черта, определяющая все поведение человека, — скромность — отличала наших ребят от других, таких же молодых, сильных и ловких, но воспитанных в духе крикливой рекламы и дешевых, банальных похвал.

Кому-кому, а нашим ребятам было чем похвастать на Олимпийских играх. Между тем именно советские спортсмены нашли высшую красоту своей большой победы в спокойном шаге к пьедесталу почета, где их ждала золотая медаль и слава.

Я помню день, когда римское солнце пощадило спортсменов и серенький денек нет-нет да и плакал мелким, не очень заметным дождем. Стадион «Форо Италико» переполнен. Сегодня большой день: финалы эстафет, метание копья, прыжки, а главное, бег на десять тысяч метров — двадцать пять кругов по четыреста метров, бег, собравший сильнейших стайеров мира.

Мы пережили восхитительные и волнующие моменты. Сами посудите: Петр Болотников ведет бег, в это время Виктор Цыбуленко метает копьё, а в стороне Иоланда Балаш ставит планку на небывалую доселе высоту. И каждый раз, когда копьё совершало в воздухе кривую линию полета по траектории, а Балаш одолевала очередную высоту, стадион вздрагивал.

Но все же бегуны приковали к себе внимание. Уж очень красив был их бег, рассчитанный с математической точностью. Среди них Гордон Пири, Ихарош, Гродоцки, Кшишковяк — звезды первой величины.

Я смотрю на Болотникова, и мне вспоминается бег Серафима Знаменского, Феодосия Ванина и Владимира Куца. Конечно, тонкий глаз специалиста, наверное, найдет в каждом из этих бегунов свои, только ему присущие черты, но мне кажется, что всех их объединяет одна, переходящая, как эстафетная палочка, манера бега, которая родилась, росла и наливалась соками мастерства на наших гаревых дорожках и которую можно было бы назвать советской стайерской школой.

Петр Болотников не видел, как бегал Знаменский, но и до него дошла эстафета эластичности, красоты и расчетливости в беге — этих замечательных спортивных

качеств, покоровших удивленных и затаивших дыхание зрителей. Только стремительный полет копья, пущенного сильной рукой Цыбуленко, на мгновение переключил внимание трибун на зеленое поле, куда вонзился тонкий и длинный спортивный снаряд, оставив в тылу флажки, до сих пор гордо стоявшие на страже рекордов.

Но вот немецкий бегун Ханс Гродоцки обошел Болотникова, и трибуны ахнули всей мощью тысяч голосов. Однако спурт не принес немцу успеха. Он отдал много сил (и это видно было даже зрителям), чтобы оторваться от этого настойчивого лидера и захватить «голову бега».

Но мы не волнуемся: видно, как Болотников «сел на пятку» Гродоцки и контролирует его бег. Еще спурт, и снова москвич «на пятке». И так несколько раз. Немецкий турист, сидевший рядом со мною, не без горечи заметил:

— Так кошка играет с мышкой.

После паузы он добавил:

— И ловит мышку.

И вскоре Болотников, словно включив какую-то особую скорость, легко (как казалось нам) обошел соперника и неудержимо пошел вперед, к манящему финишу. Мы видели, как растет скорость его бега, а вместе с ней и разрыв между ним и Гродоцки (остальные были далеко сзади). На трибунах рождаются аплодисменты, сначала робкие, а затем окрепшие и все заглушающие. В этом неистовом шуме восторга финишировал Болотников, подняв правую руку так, как это делал обычно Куц. И этим жестом он словно говорил: «Задание ваше, друзья, выполнил»... А мы в ответ ему скандировали: «Спа-си-бо, спа-си-бо...», — но он, наверное, не слышал нас. В этот момент к победителю подошел Куц, и они обнялись. Это было поздравление с новым олимпийским рекордом. Старый принадлежал Куцу.

И вот все успокоилось. Победитель мерным шагом идет через все зеленое поле. Кажется, что слышен шорох травы, по которой ступает он. Стадион замер. Но Болотников уже на высшей ступени пьедестала почета. К нему, прихрамывая, подходит вице-президент Олимпийского комитета, одетый в красный пиджак. Три девушки в серых платьях на вытянутых руках несут подносы с медалями.

Золотая, на длинной цепочке из металлических лавровых листьев, достается советскому стайеру. Оркестр играет Гимн, и красный

стяг поднимается по флагштоку. Наступают сумерки, а потому оранжевые пятна олимпийского огня видны на нем отчетливей.

Болотников прыгнул с пьедестала и, окруженный друзьями, ушел в раздевалку.

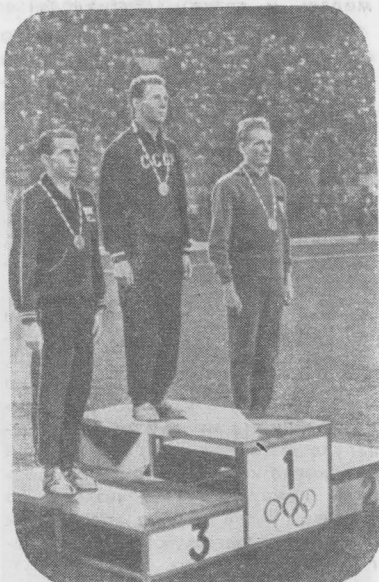
Как это не похоже на поведение других спортсменов! Атмосфера легенды создана вокруг отличного итальянского спринтера Ливио Берутти. Он действительно добился выдающегося успеха на коротких дистанциях — бежит легко, красиво и внешне непринужденно. Он первый отвоевал для Европы и родной Италии двухсотметровую дистанцию, на которой долгие годы безраздельно господствовали американцы. Все это хорошо. Но молодой, интеллигентный парнишка — кумир римских любителей спорта — настолько уверовал в свою легендарность, что потерял почву реального мира, его окружающего. Берутти превратился в капризного «душку-актера». Он нехотя сошел с пьедестала почета, отягощенный золотой медалью и славой. Он шел по полю не как человек, а как спортивный бог. Время от времени его останавливали, и тогда он принимал определенные позы, на мгновение превращаясь в монумент.

После бега, который длился двадцать секунд, Берутти около часа не покидал поля, привлекая к себе внимание то игрой перед фотообъективом, то небрежно расписываясь на чужих программах, то давая интервью, то снова становясь в позу. В общем, он не давал зрителям передышки. Двадцать секунд успеха — этого было слишком мало для его шумной славы. Француз А. Сей, обладатель бронзовой медали, ходил вдоль ограды поля и получал записные книжки или программы, расписывался в них и отправлял их обратно любителям автографов... ударом ноги. «Зафутболенная» книжка, растопырив листки, падала в публику. И Сею это доставляло удовольствие. Его поза: расставленные ноги и «руки в боки» — показывала, что этот молодой мулат искусственно возвышал себя над людьми, которые искренне радовались его удаче. Он надсмехался над ними. Зрители были обижены. Они больше не просили его автографа.

Итальянский велосипедист Санте Гайардони, слава которого равна славе Ливио Берутти, тоже вел себя, как провинциальный циркач. Его выход на поле трека был обставлен дешевой помпезностью: сначала некий служитель

вынес станок для велосипеда, затем появились тренер Гуидо Косто, массажисты и, наконец, ослабленной походкой вышел чемпион мира. Он долго играл с полтенцем, поправлял носки, разглядывал свои туфли. Очарованная публика следила за каждым его движением, а неистовые его болельщики скандировали: «Санте, Сан-те!»

После долгой подготовки Гайардони начинает разминаться на станке. Тут же его обступают фотокорреспонденты, наводят на него лучи «юпитеров», и он, довольный, улыбается и театрально позировует. Затем он легким дви-



На пьедестале почета победители забега на 10 000 метров П. Болотников, Х. Гродоцци, Д. Лауер.

жением зовет к себе массажистов и доверительно подставляет им свои бицепсы. Гайардони скоро выйдет на старт!

Знаменитый американский прыгун Джон Томас, который недавно покорила любителей легкой атлетики своим феноменальным взлетом над планкой, считал, что у него нет конкурентов на Олимпийских играх в Риме, поэтому, когда на тренировке Томаса наш молодой прыгун Валерий Брумелль принялся фотографировать красивые движения талантливого атлета, тот не без иронии заметил:

— Снимай, снимай, это поможет тебе когда-нибудь победить меня...

Судьба надсмехалась над Томасом. Спустя несколько дней он встретился с советскими атлетами

в «открытом бою» на «Форо Италико». Роберт Шавлакадзе и Валерий Брумелль прыгнули на два сантиметра выше Томаса. Это была сенсация, которая несколько отрезвила американского прыгуна.

Можно рассказать о многих случаях, когда капризные чемпионы показывали свой нрав, не стесняясь ни живых свидетелей, которые сейчас только плодировали им за отличную победу, ни миллионов телезрителей, которые вынуждены были смотреть на кураж опьяненных удачей олимпийцев.

Так они воспитаны.

Мы снова вспоминаем наших ребят. Они сделали больше друзей, но никто из них не уронил человеческого достоинства и никто не ставил себя выше реальной высоты пьедестала почета.

ПОДВИГ ПОЛИНЫ АСТАХОВОЙ

Гимнастику называют азбукой физического воспитания. Но спортивную гимнастику, доведенную до вершин совершенства, можно назвать высшей математикой спорта.

Такая мысль пришла в развалинах грандиозных бань императора Каракаллы. Это историческое место, такое же, как Колизей, Капитолий, как Собор святого Петра, превращено в театральные подмостки, где выступают оперные певцы. И, как бы подчеркнув близость гимнастики к искусству, организаторы Олимпийских игр представили Термы Каракаллы для спортивных выступлений.

«Битвой мускулов и нервов» назвали журналисты встречу японских и советских гимнастов. Несколько дней шла здесь эта битва. Сотые, а иногда и тысячные доли балла решали судьбу медалей и судьбу командного первенства. Японцы Т. Оно, С. Цуруми, М. Токемото — великолепные представители новейшего гимнастического племени, которое на равных началах сражается с Б. Шахлиным, А. Азаряном, Ю. Титовым.

Все же японцы одолели наших спортсменов в командном зачете. Но в личном первенстве вновь нужно было показывать свое высшее мастерство по всему «гимнастическому фронту» — на брусьях, коне, перекладине, кольцах, наконец, в вольных упражнениях. Снова началась битва, в которой и мускулы и нервы, техника и воля выступали сообща и выводили вперед того, кто исполнял гимнасти-

ческие формулы безукоризненно. А безукоризненно их выполняли все. Сами посудите, речь шла о золотых олимпийских медалях, до которых охотников было много. Только тонкий глаз судей мог уловить фальшь или брак в движениях гимнастов. А глаз у них точный. Он подмечал все, что ускользало от нашего внимания.

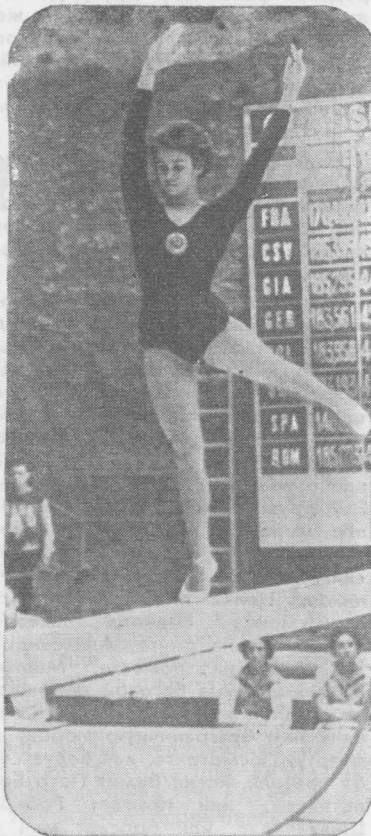
Судей несколько. Они важно восседают за столом и после каждого выступления поднимают над своими головами белые щиты с цифрами. Это их оценка. По мудрым законам судейства, самая низкая из них, как и самая высокая, отбрасывается, не принимается во внимание. Из всех остальных извлекается средний балл, который и отражает истинную оценку с точностью до одной тысячной доли.

На каждом спортивном снаряде шла своя битва. На одном победил Шахлин, на другом — Азарян, на третьем — Оно. Вся печать единодушно отдавала предпочтение японскому спортсмену. Портреты Такаси Оно мы видели всюду: то он улыбается, то показан в движении, то любитесь Римом. Еще не выиграв олимпийского многоборья, которое дает звание абсолютного чемпиона, он уже пожинал бумажные лавры, подброшенные ему журналистами. Придавало ли это ему уверенность? Трудно сказать. Японец работал на всех снарядах хорошо, но ему не уступали и наши ребята, и прежде всего Борис Шахлин. Он избавился от той скованности, которую можно было видеть в соревнованиях командного зачета. И вот два великодушных мастера гимнастического искусства скрестили свои шпаги. Это была поистине психологическая битва при равных показателях мастерства. Выиграл битву Борис Шахлин. Он опередил своего японского соперника на... пять сотых балла.

На следующий день в этом своеобразном спортивном зале выступали наши девушки. Женская гимнастика пластична, грациозна, тонка. Техника исполнения предельно высока. На олимпийский помост собралось созвездие лучших в мире гимнасток. Кроме наших, пользующихся всеобщим вниманием, здесь еще Ева Босакова, знакомая нам по выступлениям в Москве, Тачова из Праги, Иован из Бухареста и Икеда из Токио. Все они выступают, как нам кажется, легко и непринужденно. Кажется, что они раз и навсегда выработали в себе пластику и теперь больше не думают о ней.

Мы сидели, зачарованные красивыми, тонкими движениями, и, дай нам волю, мы бы каждой поставили высшую оценку — 10 баллов. Но всякий раз нам показывают разные цифры, и мы принимаем их как закон, подписанный высшей спортивной властью — судьями.

Наши гимнастки уже выиграли командное первенство, но и сейчас, когда выступают в так называемом личном зачете, они действуют коллективно. Спорный прыжок выиграла Николаева, а рядом



Тамара Люхина выполняет упражнения на бревне.

с ней оказались Муратова и Латынина. Вольные упражнения выиграла Латынина, а рядом оказались Астахова и Люхина. И только в упражнениях на бревне наши девушки уступили золотую медаль Босаковой, но отстояли серебряную и бронзовую.

Наиболее интересной была битва (здесь тоже была битва) на разновысоких брусьях. Каждая гимнастка показывала сумму красивых, технически сложных рит-

мичных движений, которые в сумме своей создавали великолепное «гимнастическое сооружение» — легкое, пластичное, достойное того, чтобы запечатлеть его в рисунке. Во время выступлений в зале было тихо. Слышно, как потрескивают уключины брусев. И вот соскок, взрыв аплодисментов, судейские баллы. К снаряду подходит Кейко Икеда — маленькая, хорошо сложенная японская гимнастка, известная уже зрителям по выступлению в обязательной программе. Она уверенно провела свою «формулу движений» и вызвала шумные аплодисменты. Судьи оценили мастерство Икеды достаточно высоко — 9,7 балла. Но вдруг в зале раздаются крики, свист, голоса возмущения... Темпераментные любители стучат ногами, вскакивают с мест, размахивают руками. Эти стены за всю свою историю, наверное, не видели столь неорганизованного и малопривлекательного выражения чувств. Попытки радиоинформатора объяснить правила, по которым никакой крик не может подействовать на решение судей, не имели успеха. Римские «тифози» дали волю своим нервам, и тут уже никакая полиция ничего не могла сделать.

Следующей должна выступать Полина Астахова. Она вышла на помост и стала рядом с брусьями. Шум и свист не прекратились. Стройная, высокая, красивая советская гимнастка, подняв голову, стоит одна в этом разбушевавшемся море необузданных страстей. Она ждет. А свист и шум не утихают. И тогда Астахова подходит к снаряду, кладет на брусья обе руки и начинает свое упражнение с таким спокойствием, красотой и легкостью, что мы диву даемся не только ее мастерству, но и мужеству и волевой стойкости. Да, это был подвиг.

И вдруг шум начал затихать. Уже не слышно ни свиста, ни выкриков. Так бывает, когда волна разбивается о скалу и, разбрасывая бризги, уходит в море, унося с собой и треск удара и шум камней, потревоженных ею. Каждое новое движение Астаховой как бы приглушало еще ноющий где-то шумок, а затем и вовсе его подавило.

Мы уже слышали только треск уключин для брусев. В зале стало тихо. Полина Астахова лепит свое «гимнастическое сооружение» на глазах теперь уже победенных и притихших людей, которые, затаив дыхание, следят за эластичностью ее движений. Наша

радость доходит до сердцебиения. И... снова грохот. Это аплодисменты в адрес нашей девушки из города Сталино. Судьи вынесли свою оценку, и Полина Астахова, усталая, счастливая и гордая, взошла на пьедестал почета, чтобы получить золотую олимпийскую медаль.

Что же сказать еще? Наши девушки получили 11 медалей из 12 возможных. Молодцы!

НОЧЬЮ НА «ФОРО ИТАЛИКО»

Кончился футбол. Югославы выиграли у датчан и впервые после долгих попыток стали олимпийскими чемпионами. Мы покидаем стадион «Фламинио» около одиннадцати часов вечера. Тысячная толпа быстро расходится. Напротив, в «Палаццетто делло спорто», идет «железная игра» штангистов. Там должен выступать Юрий Власов. Но у меня нет билета, и я сажусь в трамвай и еду через Тибр на стадион «Форо Италико». Он уже спит, спят и сторожа, а мне хочется проникнуть внутрь, посидеть под чашей с олимпийским огнем и помечтать. Пустят ли меня? Поймут ли?

К моему счастью, я встретил лишь одного старичка — ночного сторожа, который дремал у единственного открытого входа на стадион. Он не знал русского языка, а я итальянского. И это мне помогло. Я молча и с напускной важностью показывал ему различные удостоверения, на которых были слова «pressa» и круглая печать с пятью олимпийскими кольцами, а он уважительно ощупывал их. Наконец он понял, что я принадлежу к беспокойному племени журналистов, но никак не мог понять, что нужно было мне в полночь на стадионе, где не было ни души.

А мне нужен был олимпийский огонь.

И вот я на огромном пустом стадионе. Смотрю на часы: 23 часа 45 минут. В Москве уже далеко за полночь. Половинчатая луна бросает свой голубой отсвет на пустые трибуны, на флаги, на зеленое поле и гаревую дорожку. Справа на холме видна освещенная лучом прожектора золоченая мадонна. Я поднимаюсь к высшим рядам трибун и любуюсь оттуда мерцающими огнями ночного Рима.

Вот и треножник с чашей и олимпийский огонь, о котором столько писали мои собратья по

перу. Он спокоен. Ночь тиха, и ветры его не тревожат. И откуда только у итальянского неба столько тепла и покоя! Невольно мысли уходят в далекое прошлое. Не так-то легко пробраться сквозь тьму веков и искать там героев Олимпийских игр. И лишь идея игр и этот вот огонь, что плещется в чаше, сохранили в себе традиции. Так же, как и много веков назад, зажжен был этот огонь на развалинах храма Зевса от лучей солнца, с помощью большого увеличительного стекла. Согласно традиции греческие легкоатлеты, передавая факел друг другу, донесли его до Афин, а затем такая же эстафета протянулась от берегов Сицилии и до этих вот ступеней, куда вбежал итальянский атлет Карло Пирис с горящим факелом в руке.

И я думаю сейчас о множестве медалей, полученных нашими ребятами на всех римских стадионах, на озерах и в заливах и вот на этой беговой дорожке, на зеленом поле и желтом песке.

Вспомнились мне и учителя наших сегодняшних героев. Их труд не пропал даром, и они достойны упоминания в дни больших праздников. Ветераны кладут руки на плечо молодому спортсмену так, как в эстафете один лыжник, пройдя свой этап, кладет руку на плечо товарища, идущего дальше. Эту дружескую руку чувствуют все молодые спортсмены. Закономерно, что на смену Знаменским явились Куц и Петр Болотников. Целая плеяда способных спортсменов сменила Виктора Михайлова на ринге, Александра Бухарова — на помосте, Марию Шаманову — на беговой дорожке. Мы любим и помним их. Они привили нам безграничную любовь к спорту. Посмотрите, как ведут себя зрители, когда бежит Петр Болотников, или прыгает Роберт Шавлакадзе, или бросает мяч в корзину Круминьш. Стадион живет этим событием, шумит, рукоплещет, кажется, желает прибавить силу спортсмену, который уже доходит до финишной черты.

Глядя на картину всеобщей взволнованности и радости, невольно думаешь о народности нашего спорта. Именно она рождает гордость советского человека за победу и горечь за поражение, она заставляет по-хозяйски следить за стрелкой секундомера, за полетом ядра, за планкой, установленной для прыжков.

Все секунды, метры, голы — на

строгом народном учете. Но любители спорта следят не только за рекордами и золотыми медалями. Они знают и о том, что этим летом на вершину Эльбруса взошли 1380 рабочих, колхозников, служащих; что 50 тысяч пловцов участвовало в эстафетном проплыве по реке Кубани к Азовскому и Черному морям; знают, что в Сибири, в г. Киселевске, доселе неизвестный спортсмен А. Вахонин побил рекорд всемирно известного штангиста В. Стегирова. А сколько подобных, пока безвестных молодых людей выступает сегодня на заводских спартакиадах, на студенческих играх, на гимнастических фестивалях! Это не поддается учету, но это гарантирует появление новых достижений во всех видах спорта.

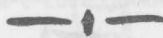
Медали, полученные нашими олимпийцами, — это награда только за один этап нашей спортивной жизни, этап, пройденный от Мельбурна до Рима. В тот момент, когда спустится флаг Олимпийских игр, начнется подготовка к играм в Токио. И вот, сидя здесь, под олимпийским огнем, я размышляю: мне представилось, что наши ребята будут бегать быстрее Армина Хари и Ливии Берутти, побеждать на борцовских коврах, на боксерских рингах, на байдарках, на водных дорожках, на футбольных полях, в общем, побеждать всюду.

Это так и будет. Логика развития нашего спорта ведет к победе на всех участках олимпийского фронта.



Аень закрытия Олимпийских игр запомнится одним эпизодом. После того, как прешли знаменосцы и были произнесены официальные речи, после того, как на электрическом табло вспыхнули слова: «До свидания в Токио 1964 года», — олимпийский огонь, судорожно вздрагивая, постепенно погас. А в это мгновение на трибунах вспыхнули маленькие факелы. Это зрители жгли газеты, программы, бумажные колпаки, которые днем спасали их от солнца. Огни этих факелов росли ежеминутно, и, когда на стадионе погас свет, тысячи факелов горели в ночи, как свечи огромной елки.

И эта торжественная минута, это незабываемое зрелище горящих факелов говорили о том, что огонь олимпийской дружбы будет всегда согревать сердца людей и никогда не погаснет.



ОТ РЕДАКЦИИ:

В 8-м номере «Юности» за этот год мы обратились к «бодрым задирам» с призывом присылать для нашего «Пылесоса» рассказы, фельетоны, эпиграммы и темы для карикатур. «Бодрые задиры» не заставили себя ждать и прислали много материалов. Редакция благодарит всех товарищей, приславших свои произведения. Не у всех, правда, получилось. Но ведь попытка не пытка. Так что вешать носы не следует. Помогайте своему «Пылесосу», друзья-сатирики! Ждем новых материалов! На эти страницы мы выпускаем первый десантный отряд «бодрых задир» в составе рассказчика Михаила Андраша и поэтов Леонида Чернышева и Виктора Борисенко.

Мих. АНДРАША

МОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

У нас в стране околота национальностей.

Я не знаю, в какой стране живет больше. Сто разных национальных характеров и, клянусь, миллион привычек. В таком пестром обществе я, навсрное, единственный человек, который не может совершенно определенно сказать: «Я якут», — или: «Я чукча». Как же я могу сказать, что я чукча? Кто в это поверит? Национальность — мое большое место.

До сих пор я не удосужился выяснить свое происхождение. Все мои ребята из бригады говорят, что у меня уже такой возраст, что в любой момент меня могут выбрать депутатом в Верховный Совет.

Пока не поздно, я решил выяснить: от кого же я все-таки произошел?

Говорю, думаю и оформляю наряды на малярные работы я по-русски. Строю дома в старом русском городе Новгороде. В паспорте записано, что я русский. Но что мне паспорт, когда я с каждым днем все явственнее различаю голос моей разноплеменной крови, как герой одного интересного романа! Другой на моем месте только бы радовался, а я не радуюсь, потому что не знаю, чей же я все-таки унаследовал характер, чьи национальные черты впитал

в себя, как губка, опущенная в краску. Я не знаю своих родителей и только подозреваю о них. Одно могу сказать в свое оправдание: я потерялся во время блокады Ленинграда.

Директор нашего детдома, украинец Тарас Иванович Политыко, был мне отцом родным и даже дал отчество. Наша любимая воспитательница, еврейка Ася Абрамовна Котляренко, была мне родной матерью и дала мне свою фамилию. Так и собрали мне в детдоме имя, отчество и фамилию — Михаил Тарасович Котляренко.

Когда детдом находился в Казани, наша медицинская сестра — татарка бабушка Галия — называла меня своим внуком.

Я учился в ленинградском ремесленном училище и жил в одной комнате с эстонским пареньком Куртом. Это мой самый лучший друг. До сих пор он пишет мне письма, которые подписывает так: «Целую тебя, твой брат». Ну, разве с такой родней я могу точно сказать, кто я?!

Кроме того, что меня могут в любой момент выбрать в Верховный Совет, я каждую минуту могу встретить девушку, которую полюблю на всю жизнь. Не могу же я сказать ей, что не знаю своей национальности! Это противостоительно и смешно.

Я решил выяснить все до конца.

Ребята из моей бригады посоветовали: «Съезди в свой Ленинград, в Публичную библиотеку, поройся в научной литературе, может быть, там говорится, как в подобных случаях можно установить свою национальность».

Я взял отгул за три дня, закрыл ребятами наряды по сорок пять рублей в день и поехал в Ленинград.

В библиотеке мне выдали «Листок читателя» и попросили заполнить. Я написал, что я мужчина, по профессии — маляр, приехал в библиотеку для расследования своего происхождения. И только в графе «Национальность» оставил пустое место.

Я протянул листок девушке, которая записывает читателей, и сердце мое часто забилось от предчувствий. А вдруг это та девушка, которую я могу встретить каждую минуту?

Тут кто-то крикнул ей:

— Лена! Шевченко!

Лена Шевченко ушла в другую комнату, а мой листок так и остался лежать на столе.

Лена Шевченко! Она, наверное, украинка! Я почувствовал, как во мне заговорил директор нашего детдома Тарас Иванович Политыко. Я прислушался. Это говорил он!

Рисунки Е. Медведова.



Самое лучшее, когда свои выводы проверяют на практике. Я загадал: если Лена Шевченко придет, прочтет мою анкету, возвратит и скажет: «Вы забыли указать свою национальность», — значит, во мне течет украинская кровь, а Лена Шевченко — моя судьба.

Я стал ждать.

Лена Шевченко вернулась и, ни слова не говоря, выписала мне читательский билет. Она протянула его, даже не посмотрев на меня, и сказала: «Следующий».

А мне хотелось, чтобы она кричала на меня, топала ногами, размахивала руками и ругалась: «К нам, молодой человек, без национальности вход воспрещен!»

Лена Шевченко не обратила на меня внимания. Значит, я чей-то другой голос принял за голос Тараса Ивановича Политыко.

В читальном зале я обложился книгами и стал изучать.

Я решил начать с изучения рас.

Мне нужно найти вначале свою расу, а там дело пойдет. Энциклопедии мне рассказали, что имеется всего лишь три расовых типа: монголоидный, негроидный и европеоидный. Я обрадовался: три — это не сто!

Негроидный тип характеризуется темной кожей и курчавыми волосами, средним волосяным покровом тела, умеренным выступанием скул, широким, слабо выступающим носом и толстыми губами.

Я попросил у библиотечарши зеркальце и стал разглядывать себя.

Моя светлая кожа и совсем

некурчавые волосы говорили, что я не могу отнести себя к негроидному типу. У меня также нигде не было желтой кожи и сильно выступающих скул, как у монголоида. Следовательно, я европеоидный тип, который характеризуется светлой кожей и слабо выступающими скулами.

Однако чем больше я рассматривал себя, тем больше убеждался, что не могу полностью отнести себя к европеоидному типу. У меня лицо было широким и слабо выступающий нос и толстые губы. Может быть, я негроид? Я потрогал свои волосы и убедился, что они прямые и жесткие, как у монголоидного типа. Я закатал рукава и посмотрел на свои руки. Ну, конечно! Слабый волосяной покров негроида! Я не мог отнести себя ни к одной из известных рас!



Это подтверждало мои подозрения: я невероятная смесь.

Я сдал книгу и вернул зеркальце библиотечарше.

На контроле старушка подозрительно посмотрела на мой читательский билет и сказала, чтобы я подошел к окошку регистрации новых читателей.

За окошком сидела Лена Шевченко.

Увидев меня, Лена Шевченко обрадовалась, как можно обрадоваться только при виде родного человека.

— Как хорошо, что вы не ушли! — воскликнула она. — Вы забыли написать свою национальность!

Не знаю, побледнел я или покраснел от этих слов, только почувствовал, что кровообращение во мне прекратилось. Моя разноплеменная кровь похолодела.

Когда я пришел в себя, мне захотелось обнять Лену Шевченко. Расцеловать ее. Как самого близкого мне человека! Но я сдержался.

— Лена Шевченко, — негромко сказал я, — я не забыл свою

национальность. Я просто пока не знаю ее.

— Не знаете? — удивилась она. — Как не знаете?

— У меня были родители, но я не помню их.

Лена Шевченко внимательно прочла мою анкету и сказала:

— Вы же типичный украинец! Михаил Тарасович Котляренко! Я тоже Тарасовна и тоже кончаюсь на «ко». Вы же типичный украинец!

Я мысленно прыгал от радости.

— Правильно! — закричал я. — На «ко» все украинцы: Шевченко, Котляренко, Политыко... Во мне течет украинская кровь!

Лена Шевченко посмотрела на меня и рассмеялась.

— Конечно, вы можете поставить любую национальность, — сказала Лена. — Это ваше личное дело. Но я бы посоветовала выбрать украинскую.

Я написал так, как советовала мне Шевченко.

В тот же день я встретился с Леной Шевченко еще раз. Мы пошли в кино. Неожиданно в киножурнале нам показали лучшего таллинского маляра. Этим маляром оказался мой Курт. Лене Курт очень понравился. Я был горд.

Вечером мы сидели в зале филармонии на концерте Зары Долухановой. Она пела о том, что ее родина — самая солнечная страна и что Арарат ближе всех к солнцу...

Где бы мы ни были в этот день, я чутко прислушивался к голосам своих родственников.

Самое замечательное было то, что никто из них не сказал мне, что ему не нравится украинка Лена Шевченко. Наоборот, все в один голос хвалили ее.



Леонид ЧЕРНЫШЕВ

Ох, уж эти сердобольные!



Бездельник, хам и грубиян
Юлил перед собранием:
— Не помню драку я. Был пьян.
Но коль уж есть такой изъян,
Нельзя без наказания...
Он бил себя фуражкой в грудь
И обливался потом.
Он роль играл не как-нибудь,
А, так сказать, по нотам!
И сердобольный наш местном,
Начавши фразой жгучей,
Елейным кончил голосом:
— Простим... на первый случай!..
А дебошир, покинув цех,
Домой шагал с ухмылкой.
И отмечал такой успех,
Как водится, бутылкой.
Потом скандалил в горсаду.
Порвал кому-то брюки,
Потом покаялся суду:
— Я виноват... Попал в беду!..
И взят был... на поруки.
Опять хихинал он:

— Смотрю,
Легко мне жить на свете:
Я где-то что-то натворю,
А цех за все в ответе!
И натворил. Вот с ним идет
Сержант до отделенья.
А он и ухом не ведет:
Он верит снова, что народ
Пошлет ему прощенье,
Сыграй лишь, как в спектакле...
А так ли?

Рисунок И. Бронникова.



Виктор БОРИСЕНКО

Характеристика

Листая страницы прочитанной книжки,
Мы видим — читатель пил чай:
Здесь крошки от пышки,
Варенье с коврижки,
Упавшее невзначай.
Читатель на сорок четвертой страничке
Нелегкий свой труд отложил
И вместо закладки
Горелую спичку
Между страничек вложил.
И на последнем потрепанном листике —
Селедочная чешуя.
Да!
В книжке оставлена характеристика.
Читатель! Она не твоя?



НА ТУРНИРЕ



Засчитайте им ничью: они давно спят!

Рисунок Ю. Макаренко.

ПЕРЕСТРАХОВЩИК



Рисунок И. Бронникова.

Вадим СЕМЕРНИН

ЭПИГРАММЫ



МУХА-КРИТИК

Носом
ткнул —
и не поймет,
где тут мед,
а где... помет.



ПРИЗНАНИЕ БАСНОПИСЦА

Ослу
бич
басен
безопасен:
ослы ведь не читают
басен...



УЖАСНЫЙ ЗАЗНАЙКА

Уж не узнал
Ужа
в Уже...

Сам полз,
а важничал у же!..

Рисунки В. Гальдяева.

ЮНОСТЬ

№ 11
НОЯБРЬ
1960

В НОМЕРЕ:

Я. ВИКТОРОВ. Битва за мир	3
З. ВОСКРЕСЕНСКАЯ. Домик на скале. (Из рассказов о Владимире Ильиче Ленине)	5
Николай ДОРИЗО. Имя мое — человек. (Из новой книги стихов): Гимн коммунизму. «Не в бомбы атомного века...». Одиночество. Баллада о кружке пива. Море. Баллада о козе. Из записной книжки	11
К нашей вкладке	
А. ГАСТЕВ. Четыре мастера	15
Анатолий КУЗНЕЦОВ. Ясная Поляна. 1960. (К 50-летию со дня смерти Л. Н. Толстого)	17
Евгений ШАТЬКО. Дорога в цветущие долины. Рассказ	23
Семен СОРИН. «Наутилус». Могила неизвестного солдата. «На планету дальнюю, иную...». Мюнхен. 1960 год. Бонн. Стихи	36
САТ-ОК. Земля Соленых скал. Повесть. (Перевод с польского Ю. Стадниченко)	38
Илья ЗВЕРЕВ. Шура. Очерк	81
Эхо Октября. (Из экспонатов Государственного Музея Революции)	90
У книжной полки	
Мих. ЗЛАТОГОРОВ. Слышим твои голоса, молодость мира!	94
Наука и техника	
С. ГУЩЕВ. Смелей, автоматика!	96
Заметки и корреспонденции	
* Н. ИРИНИНА. Молодежь мира учится в Москве	
* И. НЕНАРОКОМОВА. История пишется сегодня	
* И. СИМАНЧУК. 12 000 000 пар золотых рук	101—103
Спорт	
Мартын МЕРЖАНОВ. Факелы Рима	104
«Пылесос» (Страницы сатиры и юмора): * Мих. АНДРАША. Мое происхождение. * Леонид ЧЕРНЫШЕВ. Ох, уж эти сердобольные! * Виктор БОРИСЕНКО. Характеристика. * Вадим СЕМЕРНИН. Эпиграммы. * Рисунки Е. МЕДВЕДЕВА, И. БРОННИКОВА, Ю. МАКАРЕНКО, В. ГАЛЬДЯЕВА.	

На 1-й и 4-й страницах обложки — рисунок художника А. КОШЕЛЕВА.

На 2-й странице обложки рисунок художника М. РОЙТЕРА «Москва предпраздничная».

Оформление
И. Оффенгендена

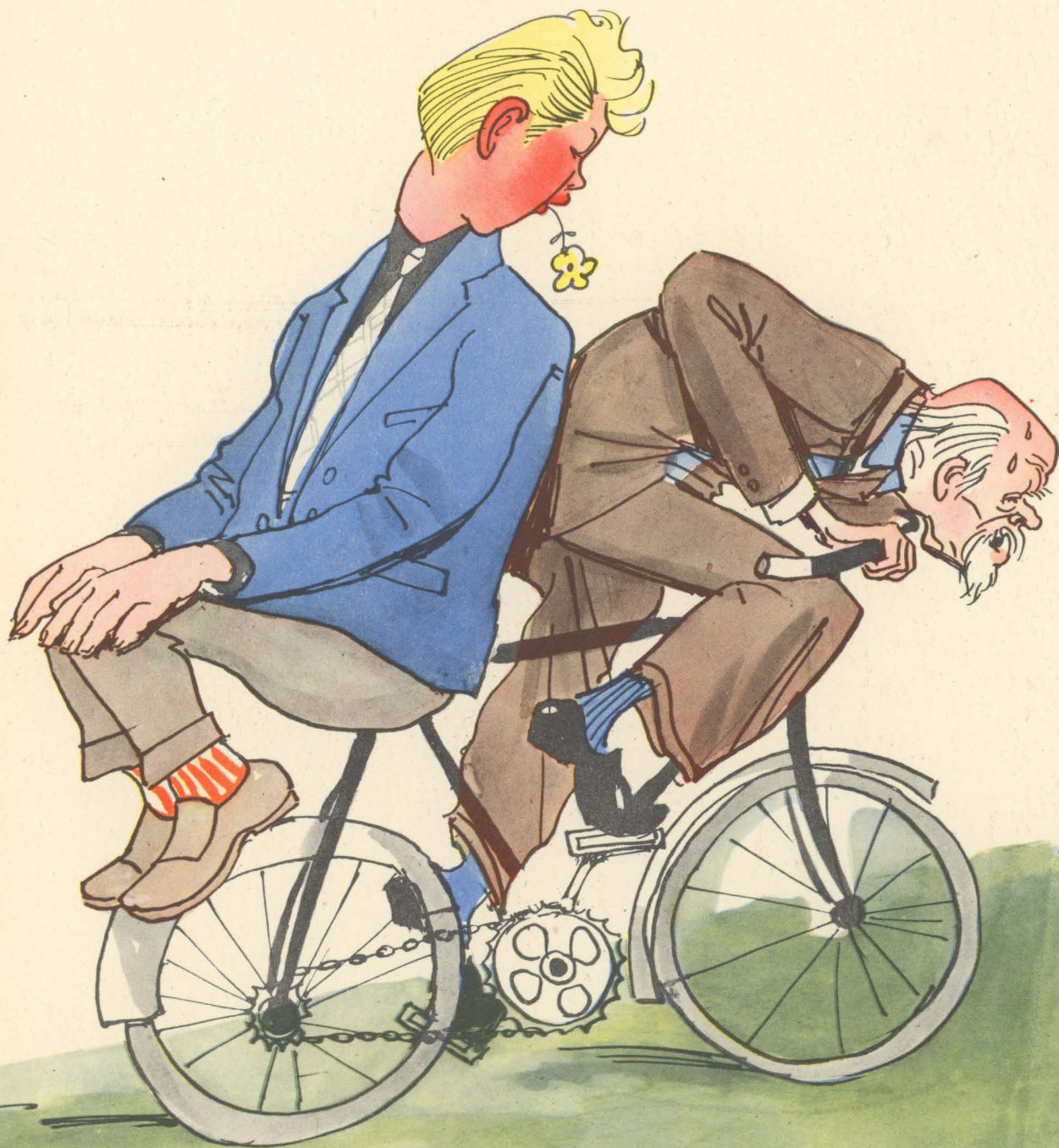
Технический редактор
Л. Зябкина

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52, Телефон: Д 5-17-83.
Рукописи не возвращаются.

А 06460. Подписано к печати 26/Х 1960 г. Тираж 500 000 экз. Изд. № 1826.
Заказ № 2667. Формат бумаги 84×108¹/₁₆. Бум. л. 3,63. Печ. л. 11,89.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина,
Москва, ул. «Правды», 24.

ЕГО «ПОЗИЦИЯ»



К.

— Жми, папа! Труд облагораживает человека!..

Рисунок А. Каневского.

81/10

Цена 4 руб.

Главный редактор В. П. КАТАЕВ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: И. Л. АНДРОНИКОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ [отв. секретарь], С. Я. МАРШАК, Г. А. МЕДЫН-
СКИЙ, Н. Н. НОСОВ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.